ГЕОРГИЙ ГРЕБЕНЩИКОВ

ЕГОРКИНА ЖИЗНЬ

Георгий Гребенщиков

ЕГОРКИНА ЖИЗНЬ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

СЛАВЯНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ
Southbury, Connecticut

1966

Набор и печать Славянской Типографии
(бывшей Типографии Г. Д. Гребенщикова)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Георгий Димитриевич Гребенщиков скончался 11 января 1961 года. Эта книга — его последнее произведение, законченное им незадолго до постигшей его тяжелой болезни. Его желание увидеть выход ее в свет в полном и окончательно обработанном виде так и осталось неисполненным при его жизни. В разное время были напечатаны в разных периодических изданиях только отдельные главы, и это посмертное издание — первое издание «Егоркиной Жизни», как цельной повести.

В этой книге Георгий Димитриевич описал ранние годы своей жизни, когда он был никому не известным деревенским мальчиком Егоркой. Описываемые события и даже имена не вымышлены, а взяты из действительной жизни. И хотя Егорка участвует во всех этих событиях, не он является главным действующим лицом повести. Его жизнь — скорее только предлог для описания жизни тех людей, среди которых он вырос. О них, собственно, и написана эта книга, и поэтому все повествование ведется в третьем лице. Жизнь эта описана такой, какой автор ее знал, беззлобно и беспристрастно, без желания кого-то очернить, а кого-то обелить, что не так часто встречав автобиографиях и воспоминаниях. Описаны не только светлые, но и теневые стороны этой жизни, но безо всякого осуждения — не свысока, и не со стороны, а тем способом, которым, кажется, только и можно верно писать о своих родных и ближних: снизу вверхъ, через детские глаза, чуждые всякого предвзятого осуждения. Не случайно то, что эта книга написана въ конце жизни автора. Очевидно, понадобился опыт всей его трудной и богатой впечатлениями жизни, чтобы вполне понять то, чего «не поймет и не оценит гордый взор иноплеменный». В этом несомненное достоинство этой книги. Выпуская ее в свет, будем надеяться, что, наряду с другими книгами, описывающими русскую жизнь по впечатлениям детства, она послужит к лучшему пониманию русской жизни в ее целом, маленькой, но неповторимой и неотъемлемой крупинкой которой была Егоркина жизнь.

Издательство Славянская Типография.

Георгий Димитриевич Гребенщиков в 1906 году.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Сей плод любви к родной стране я посвящаю каждому,
Кто ценит мудрость жизни в простоте,
Кто озарен или томим духовной жаждою
И кто способен угадать богатство в нищете.

С ребяческой, как у Егорки, светлой верой,
Мечтаю я, чтоб книга эта, как-то и когда-то,
Дошла до Родины моей и не была изъята
Из той среды, покорной, бедной, серой,
В которой жизнь Егоркина была зачата.

Георгий Гребенщиков

I

ЧТО ПЕРВОЕ УВИДЕЛИ ГЛАЗА

НЕ надо мудрствовать и придумывать особенные качества в характере и в поведении Егорки для объяснения причин, побудивших написать биографию его детства, отрочества и отчасти юности. Посмотрим на него, как на одного из миллионов Егорок, Мишек, Гришек и прочих, ничем не замечательных парнишек, как и Машек ·и Палашек, пренебрежительные имена которым надавала и увековечила сама наша русская история с древних времен. Пришедшие в жизнь непрошенными и не всегда желанными и ушедшие из нее никому неведомыми, они, однако, были и все еще являются объектом беспокойства для избранных и более счастливых и даже, за последние столетия, причиной споров и забот так называемых освободителей народа и с ними народных бедствий и волнений.

О самом раннем младенчестве Егорки можно было бы и не говорить, тем более, что в эту пеленочную пору, он Егоркой еще и не был. Молодая его мать, наверное, называла его Егорушкой, а может быть и никак не называла. Просто: милый да хороший, да ни у кого такого нет. Родился он не первенцем, а третьим из детей. У матери не было досуга отдавать ему ласки и заботы, а все же, кормя его грудью, не могла она хоть изредка не улыбнуться ему и не ждать, когда и он впервые улыбнется влажными от молока губами. Дождалась и первых зубов, почуяла их той же грудью, когда уже пора было от груди отсаживать. Кому из матерей не жаль было отвыкать от тяжеленькой теплоты ребенка, когда он тянется к груди и плачет и когда, суя ему в рот соску, мать спешит утешить и успокоить его колыбельной песенкой? А когда заснет, обманутый и убаюканный, смотрит мать, не насмотрится на него, а если есть кому ее слушать, расскажет, какой это особенный, не по возрасту догадливый ребенок. Поэтому, должно быть, и имя ему выбрала геройское — имя Егория Храброго. Да оно так и было, на Юрьев День родился. Не раз рассказывала и о том, как произошло его рожденье.

— Встала я в то утро чуть свет-заря; пока умылась, помолилась, вышла корову подоить... В ту пору у нас уже своя Белянка доилась. Подоила, солнышко уж показалось из-за сопки. Погнала я ее в коровье стадо, к пастухам; только выгнала из двора, в переулок завернула, соседка, бабушка Колотушкина, своих коров выгоняет. Ой, говорит, девонька, на тебе лица нету!.. А я и вправду солнышка-то уже не вижу... Тут она бросила своих коров и повела меня назад, в нашу избу. А я-то не могу. — В этом месте рассказа, лицо Елены выражало страх, который, по мере описания родов, переходил в радостное торжество победы жизни над смертью. — Ну, вот схватило меня мукой смертною и не отпускает. Померк мой свет. А бабушка, хоть и не была повитухой, а рука у нее легкая... Уложила меня тут же возле стенки, на полынь траву. Как сейчас помню запах... И вот родился, часу не мучилась. Бабушка забрала его в подол и довела меня в мою избу. Старшенькие-то и проснуться еще не успели, как этого им принесли. Ревел-благим матом, разбудил обоих. Миколе-то уже четыре было, а Оничке два годика.

Любила Елена рассказывать и про то, что было после. Приятно было вспомнить, как лежала она три дня в постели и как бабушка Колотушкина и соседки, и даже из дальнего конца села добрые женщины, пришли наведаться, нанесли ей пирогов и всякой всячины. И уберут в избе, и детей накормят. Митрий за девять верст пришел пешком с работы — шахтер он был тогда. На другой же день услышал о рождении второго сына — пришлось самому все доедать. Такого в доме никогда не водилось — столько нанесли.

— А на четвертый день поднялась. Перепоясала живот полотенцем потуже да и за работу. Взялась за работу, потому что трое их у меня стало, да и не городская барыня. Это в городе, сказывают, как чуть что приключилось, тут тебе няньки и мамки. А в нашем быту и хуже моего бывает. Другой женщине на поле, либо на покосе, приключится, а мужик посадит роженицу в телегу, растрясет по дороге, и рожай, как хочешь. А мне, как Бог послал бабушку Колотушкину, дай ей Бог здоровья!

А бабушка-соседка и впрямь показала свое доброе сердце не только тем, что приняла новорожденного, но и тем, что нет-нет и забежит к Елене, совет подаст, малого понянчит и старшеньких постережет, когда Елене надо отлучиться из избы. Бывало, что и

днями у себя Егорку няньчила, когда Елена у кого-либо на жатве в поле, либо платье шьет псаломщице. Шить научилась еще в девичестве от матери, вдовы-казачки.

Егорка так часто оставался с бабушкой Колотушкиной, что она к нему привыкла, и расставаться жалко было, когда мать приходила с работы или с поля и уносила Егорку домой. Не родная была бабушка, а заботилась, как о родном. Потому-то он и выжил, а то без матери да без догляда, рос бы, как сиротка. Но вот и год исполнился — Егорка ползает — живет. И радоваться нечему, а он смеется. А перед тем, как подошел второй Егорьев День в Егоркиной жизни, случился еще грех. Подскользнулась Елена на льду, на проруби в Великий Пост, чуть не утонула: был март, все уже таяло, прорубь-то и обвалилась. Еле пришла домой и родила недоноска, мертвенького. А Егорка и вторую зиму, студеную, и весеннее половодье перенес, когда и взрослых-то болезни косят как траву, а малюток? То и дело видишь: опять на могилку чей-то отец несет под пазухой игрушечный гробик. А Егорка выжил, переборол самую хилую пору младенчества. Встал на ножки, ходит-колобродит. А сколько раз был на краю могилки. Как-то вечером, схватил свечку прямо рукой, обжегся, выронил, упала свечка на пол, подожгла ему подол рубашки. Да на счастье, рубашенка оказалась мокрая — не загорелась, только зауглилась, успели погасить. А то сгорел бы и избу бы сжег.

Много было с ним беды, всего не перескажешь. Однажды зимой Елена посадила его на печку, наказала сидеть смирно и даже дала ему кусочек пирога, рот заткнуть. Самой нужно было спуститься в подполье за картошкой. Только что открыла западню, стала спускаться, а он бух: — прямо ей на спину. Тем и спасся, что не на пол слетел, а как-то ухитрился «костыгнуть» в подполье без опасности. А тут еще и старшенькие меж собой подрались, кричали, унять не могла.

Но не все же были беды и тревоги, были и хорошие с ним случаи, которые и мать и сам Егорка запомнили на всю жизнь.

Складки и морщинки, наложенные рассказами об ужасных случаях, на лице Елены разглаживаются, оно молодеет, проясняется улыбка и, сквозь матовую бледность на щеках, пробивается румянец.

Не раз рассказывала она про то особенное утро, когда она, в Егорьев День, впервые понесла Егорку в церковь для причастия.

— Ходить он, как следует, сам еще не мог, да и как его по сырой земле босого поведешь, а уж двух лет, тяжеленький. На руках несла.

— Сшила ему новую рубашечку, поясочек из ленточки, головку вымыла да причесала, кудрявенькую, белокурую. Обхватил меня за шею ручонками, крутит головёнкой во все стороны, видно, что впервые видит Божью благодать и радуется вместе со мной одною радостью.

Кажется, Егорка и сам помнит и никогда не забудет все, что впервые увидели его глаза в то утро. Прошло это как сон, а не бесследно, и этот сон уж не могли затмить никакие затемнения позднейших дней и лет, ни голод, ни обиды, ни слезы детские. Нет-нет и выплывет опять большим, большим, широким светом неба и земли. А иногда только мелькнет далекой, синей-синей, еле уловимой, небылицей.

Да, это был яркий, радующий, почему-то как бы стыдящий свет, тихого, весеннего утра, тот самый свет, который для одних — первое прозрение, а для других погибельное ослепление. Погибельное потому, что некому помочь открыть глаза, некому так рассказать о свете, как умела рассказать Елена.

Не память, но Егоркины глаза запомнили, что голову и плечи метери покрывала большая, светлая, в ярких цветах, новая шаль. От этих цветов пахло свежим воском и еще чем-то пряным — не обонянием он принял аромат материнской шали, а тоже как будто глазами. Глаза были так жадно и широко раскрыты на все, что озаряло солнце.

Какая даль, даль, даль сейчас же за плечами матери. И радость полная и острая, щекочущая зрение, потому что она была первая, неведомая, неосмысленная радость... Так радуется всё, что ничего не знает. Так радуется первый желтый цветок-одуванчик, когда он впервые раскрывает свой венчик перед солнцем. Во всей его круглой рожице тогда раскрывается огненная, неугасимая улыбка. Так он с улыбкой и живет всю жизнь, пока не облетят все лепестки и пока вместо них не появится круглый пуховой шарик-одуванчик. Но вот дунет ветер, и отдельные пушинки, крошечные воздушные парусинки, полетят, полетят кто куда, высоко, далеко... Так уносятся от одуванчика окрыленные

семена, чтобы зачать новую жизнь где-либо в пыли при дороге или на притоптанных скотом лужайках. Имеются ли у этих пушинок глаза? Нет! А сколько радости, сколько красоты даже в слепом полете к новому воплощению семени!

А если безглазое и неразумное радуется и веселится и несется в пространстве и во времени, так как же широка и просторна жизнь для зрячей, для окрыленной мечтою души человеческой! Когда она отцветает на земле и, невидимая, переносится через великие пространства, в новые миры, в верхние в нижние, смотря по прежним заслугам, как много она может увидеть необъятной, безграничной радости!

А разве этот земной мир можно обозреть даже в течении целой долгой жизни? Разве можно все изведать, все увидеть, все понять?

Ничего не понял и Егорка, он только видел. И увидел он впервые небо, но не наверху, а внизу, под ногами матери. Мать с младенцем шла как будто между синими небесами, ни к одному не прикасаясь. Небеса эти были очень далеки одно от другого: верхнее — высоко-высоко, нижнее глубоко-глубоко. Ребенок не понимал, что мать его переходила по доскам и камешкам через весеннюю лужу. Он не знал, что небо всею синевой отражалось в весенней луже, сделавши и лужу такою же лазурною, такою же бездонною, как небо.

Запомнили глаза Егорки, что мать тогда пошатнулась на шаткой доске через весеннюю лужу и вскрикнула:

— Ой, ой! — И увидели Егоркины глаза, как все нижнее голубое небо сморщилось и обнажило на дне лужи песок и грязь.

И хотя в голосе матери, вместо испуга, была шуточная, молодая бодрость, все-таки ребенок еще крепче обхватил ручонками шею матери и близко-близко заглянул в ее повеселевшие глаза... Как хорошо, что это так случилось! Как хорошо, что она вскрикнула и что он заглянул в ее глаза. Он увидел и навсегда запомнил, что в глазах матери была твердыня безопасности и одна ласка, одна незыблемая любовь... Могла провалиться или уйти из-под ног земля, могло упасть небо, но в улыбке материнских глаз — полная сохранность, и руки матери, прижавшие к груди ребенка, не могут его выронить... Значит, вот тогда впервые и на всю жизнь, в улыбке матери, запомнилась и утвердилась вера в вечность жизни, как в бессмертие.

Несла Егорку молодая мать куда-то к приближавшемуся колокольному звону. И звон тоже запомнился не слухом, но глазами: он был голубой, как небо, золотой, как солнце, радостный, как улыбка матери и веселый, как зеленая молодая травка.

Нельзя все описать и перечислить что увидели в тот первый день глаза. Но все это было раз и навсегда собрано в одно большое, радостное слово — Весна...

Егорке пошел третий год. Год длился долго. Все проходило мимо памяти. Глаза искали только то, что питало его тело и к чему тянулись руки с жадностью всегда голодного и часто плачущего ребенка. Но вот новою весной, впервые сытому пасхальным изобилием Егорке, опять вымытому и причесанному, ласковый голос матери позволяет:

— Ну, теперь беги, побегай по травке.

Егорка никогда еще не бегал по зеленой травке. Босые его ножки щекочет мурава своей прохладою, как нежной щеточкой. От быстрого разбега в эту радость, Егорка падает. Со смехом, с визгливым детским хохотом, он пытается подняться, но снова падает и нос его, уткнувшись в траву, втягивает в себя тот самый запах родной земли, от которого пьянели сказочные богатыри. Так сладко, весело и опьяняюще пахла земля, что ему не хотелось вставать. И тут, перед самыми глазами мелькнуло нечто светлое, как звездочка, далекая, вся в многоцветной радуге, такое разноцветное оконечко раскрылось сквозь всю толщу земли. Медленно, как к волшебному перу жар-птицы, Егорка протягивает ручонку, чтобы схватить это сокровище, но голос матери испуганно предупреждает:

— Не трогай, ручки порежешь... Это стекло!

Отдернул руку, оторвался он от очарования иным, невиданным миром, сотканным из радуги и лазури.

— Это солнышко в нем отсвечивает, дурачек! — поднимая осколок стекла, объясняет мать и помогает Егорке встать на ноги.

Только теперь он поднял голову и, увидевши настоящее, слепящее солнце весеннего полудня, зажмурил глаза и с неохотой согласился.

— Солнышко?

Лишь много лет спустя, в путях жизни, он сравнит подлинное небо, отраженное в луже и настоящее солнце, отраженное в об-

ломке стекла. Потому что память будет оживать, а неопытное, пробуждающееся сознание будет искать ответов на всякое движение полевой былинки. А пока протекало лишь начало детства, беспечного, богатого невероятной нищетой.

Все шире раскрывались глаза навстречи каждому дню. Длинны и скучны приключениями были те дни. Долго тянулась весна, еще дольше жаркое лето, еще дольше дождливая, непогожая осень, и целой вечностью была сибирская зима.

Бесконечно длится зимний день, когда не в чем выйти посмотреть на снег. Бесконечно длится целая неделя, когда отец ушел в шахту в воскресенье к ночи, а в субботу ночью обещал принести сдобный калач от белого зайчика, а заяц калачик сам с'ел и обещал прислать в другую субботу... Кто поймет эту тоску и ожидание долгими часами, когда светлый день где-то за замерзшими окошками идет, идет, идет? И, наконец, проходит мимо и опять уносит не только белый заячий калач, но и черствую корку...

Многие-ли знают и кто может понять, какое острое любопытство останется на всю жизнь у ненасытных глаз к белому рису с изюмом?.. Егорка еще не пробовал, а только видел, как богатая соседка в Родительский День, после Пасхи, разносила в чашечке кутью с изюмом и давала старикам и старушкам по ложечке за упокой души ее сродников... Ах, Боже! Почему малютка не родился стариком?.. И почему в доме его матери не было ни бабушки, ни дедушки?.. У них как нибудь бы капельку попросил-бы и попробовал.

Зачем даны глаза ребенку, у которого никогда в детстве не было ни шапки, ни сапог, ни синих бархатных штанцов?.. Для того-ли даны ему глаза, чтобы всю жизнь с завистливой улыбкой молча любоваться, как другие дети, как цветики полевые, украшают улицу села на празднике?.. Для того-ли?

Нет, не для того, никак не для зависти даже к детям Кириллы Касьянова, что живут напротив, через улицу. Дом у них полная чаша, все одеты и обуты и не знают, что такое быть голодным и дрожать в нетопленной избе. Никогда и после никому Егорка не завидовал. Не было этого в обиходе бедноты быть может потому, что на селе были люди даже беднее Митрия. У соседки, вдовы

Анны Маркеловны, трое сирот, мал-мала меньше и ходят с холщевою сумой через плечо, побираются Христовым Именем. Елена никогда не отпускает их без ломоточка хлеба, а от других, даже богатеньких домов, нищие уходят после оклика: «Поди-подите: Бог подаст!..»

Да и мал был еще Егорка, чтобы кому-то позавидовать. Привык к тому, что было, и на ум не приходило, что могло быть лучше. Вот и четвертый год миновал и опять прошло жаркое и дождливое и долгое лето и опять ненастное, низкое небо осени засыпает деревню желтым листопадом; а у Егорки — «цыпки» на ногах: набегал их по дождливым лужам да по суховейной улице. В потрескавшиеся босые ноги в'елась пыль и вся кожа превратилась в сплошную черную коросту. Не дают спать по ночам, плачет он, другим спать не дает. Намажут ему коросты подгорелым салом, утешают:

— Не плачь, до свадьбы заживут.

И к первым снегам зажили. Зимой сидит он на большой печи, зароет ноги в подсыхавшую там для мельницы пшеницу. Молчит и ждет, когда дадут поесть. Отец всегда где-то работает, мать вечно занята, одна на всех. Пождет-пождет и заноет-заревет. Голоден. И поиграть нечем. Первые игрушки — «бакулочки», ровненькие отрезки дерева, подобранные на постройке нового амбара у Касьяновых, принес ему старший брат Микола. Хорошие, пахнут обновами, так бы и нюхал их все время, но сыт ими не будешь. Складывает он их так и эдак, сопит всегда мокрым носом, что-то говорит с самим собою. Как и где он научился говорить, никто не спрашивал, не удивлялся. Говорил и даже не картавил, все слова по слуху повторял за старшими, точь в точь.

В Филиппов Пост, перед Рождеством, в ковровой кошевке, на паре лошадей, приехали и ворвались в их бедную избушку три краснощекие с мороза девочки, племянницы Елены, дочки старшей сестры Лизаветы из Таловского рудника: Ольга, Саша и Лиза Жеребцовы. Все были одеты тепло и пахло от них меховыми шубками и согретыми под мехами новенькими платьями. Приятно было, когда поочередно обнимали тетку Елену и трогали по волосам Егорку. Ольга, старше всех, почти невеста, показывала картинки в красках. Там была. «Под вечер осенью ненастной, в пустынных дева шла лесах...» Там был «Полкан Богатырь» — могучий человек с лошадиными ногами и еще какие-то. Купили в лавке у Зырянова, привезли похвастаться. И вот тут-то Ольга

поднесла к самому носу Егорки картинку: «Ступени жизни человеческой» и поднесла ее тем самым уголком, в котором, позади человека, стоит скелет смерти, с дырками вместо носа и глаз, с косою над голым черепом и вся в белом саване, и поднесла не просто показать, а напугать и при этом, вместо слов произнесла:

— У-у!..

Отшатнулся и упал на спину Егорка. Так закричал, что все в избе переполошились и больше всего мать Егорки. Никогда такого не было с парненком. До смерти перепугался. Ольга даже сама испугалась и заплакала. Этого никак не забудешь.

Егорка всех этих двоюродных сестриц любил и любил, когда они приезжали — такие они все хорошие, веселые, красивые, но почему Ольга так недружелюбно ткнула ему смертью в нос? Тогда он этого не понимал, но мать поняла: не было у нее для него времени, помыть причесать, одеть чистую рубашку. И рубашки не было, а что-то от старшенькой сестрицы, вроде старой кофточки, с грязными на животе заплатами. Как-то по неволе вышло так, что Ольга ткнула в нос Егорки смертью на картинке с явным пренебрежением к неопрятности. Дескать: «Вытри ты свой грязный нос, видеть я этого не могу!» В тот же вечер Елена вымыла Егорку, хотя и очень ему было больно: — нос распух от насморка. А потом, при коптилке сального жировика, — свечка стоила три копейки — села она починять Егорке рубашку и стала петь такие грустные, такие горестные песни. Сидела, пришивала заплатки, пела и потихоньку плакала. Капали крупные слезинки и расплывались пятнами по синему полю, среди желтеньких цветиков старого ситца.

Может быть поэтому незабываемым стал и другой случай, когда уже весною, пятой или шестой в его жизни, бегал он по улице среди других детей, такой же опять грязный, в испачканной на животе рубашенке — не умел он еще есть, как взрослые, проливал из ложки щи и молоко. И тот же грязный нос, с хроническим для бедных детей насморком, который длился и зимой и летом: играл и засмотрелся на проходивших мимо двух девушек. Такие они обе были чистые, нарядные — глаз не оторвешь... Смотрел, а нос вытереть не догадался, и слышит: одна из них, что пониже ростом, скривила лицо, отвернулась и говорит той, что повыше:

— Ой, какой грязный парнишка!

А та, что была повыше, подошла, взяла конец разорванной Егоркиной рубашки, вытерла ему нос и говорит своей подружке:

— Ничего! Хлеб выкормит, вода вымоет! — и когда вытерла Егорке нос, еще прибавила: — А может быть этот сопливый будет и нас с тобой счастливее.

Только позже узнал Егорка имя девушки. Это была Аринушка, дочка местного лавочника, Григория Евстафьевича Зырянова.

Да, Егоркино детство богато было не только нищетою, но и тем многообразием простонародия, которое не может уместиться в книгу и картину — такое это необ'ятное, непревзойденное искусство: жить деревней, целой волостью, уездом, всей губернией! Всей массою народной! Даже тот маленький мирок, всего лишь в несколько домов, окружавших избу Митрия, перед прохожими и странными людьми, не раскроется. А если бы раскрыть все до конца, да нарисовать картины, можно ими целый городской музей заполнить. Да кому это нужно и какая в этом для народа польза? На смех людей выставлять! А в Николаевском руднике сто сорок дворов. Каждый человек с глазами, все видящими зорко и открыто или с прищуркою и молчаливой хитрецой, а слова у всех скупые, осторожные. Чего вам, странным людям, нужно? Пришли на горести наши поглядеть-позабавиться, али богатствами своими похвалиться? Тут каждый по своему умен, а если и дурак, так пойди да посмотри на Анимпадиста — есть у них такой, но другого такого дурака во всем свете не сыщешь.

А послушать хочешь — есть в селе и стрекотуха, бабушка Аксинья, слепая. Кого угодно так отчитает, что и с умом не соберешься. Так ее все и зовут: Евангелистка. Да и говорят здесь всяк по своему: один скороговоркой, другой с растяжкою на «о», третий, самый крупный ростом, с женским провизгом, а четвертая, баба с колокольню ростом, скажет мало, басом, да как в конце присвиснет — прямо Соловей Разбойник. Хоть высока, а два зуба малорослый муж все-таки, вприскочку, умудрился ей выбить. Тут подумаешь: отнеси Господи с такой связаться! А дойди-ка до сердца, растрогай душу, если умудрен таким талантом — раскроется такое и в словах и в жестах, что никакой актер, не смог бы передразнить. И это только вот тут, в соседстве от Митриевой избы, а возьми-ка всех их! Уж не будем говорить

об окрестных деревнях и селах, где что ни наречие, то и неписанная этнография. Да где же это все по настоящему представить в драме, в картине ли, в песенном ли мастерстве? Как подвыпьют два-три мужика, как сомкнут вместе бородатые головы, как быки бодаются, да как запоет один, да как вольются в его голос другие — камень зарыдает. А когда кое-какие господишки из города заедут — все, мужики и бабы, как воды в рот наберут, каждый дураком притворяется.

Мораль из вышесказанного вот какая: избрали мы Егоркину жизнь не потому, что он сын бедняка и что жизнь его полна будет обидами и нищетой, а потому, что, как и предрекала Аринушка Зырянова, хлеб его выкормит, вода вымоет, а что из него выйдет — гадать не будем. А главное потому, что повезло Егорке родиться в той среде, в которой он рос, как в бурьяне, пропахший горькою травой-полынью, а полынь, как известно, даже и коровы не едят, а блохи от полыни скачут во все стороны.

II

ОТЕЦ БЕРЕТ ЕГОРКУ НА ПАШНЮ

Малолетство Егорки протекало перед концом двадцатого века. Разберемся в обстановке и вглядимся в два корня, ветки от которых, случайно-ли или по предназначению, соединились и дали плод, сам по себе незначительный но все же плод жизни, — Егоркину жизнь.

Еще современник Петра Великого, Акинфий Демидов, разведал, что алтайский хребет, отгораживающий сибирские равнины от монгольских, богат золотом и серебром, медью и углем и всякими иными богатствами, а мы сами знаем про красоты диких высот Алтая и его бесчисленных, почти-что сказочных, молочных рек с кисельными берегами. Не столько золото и серебро привлекало на Алтай насельников из центральной России, сколько эти молочные, всегда пенящиеся от быстроты, реки и пустынные их долины, где могли найти убежище, и беглые от наказания грешники, и взыскующие скитского уединения праведники старой веры, насельники таинственного Беловодья. А когда, позже, стали разрабатываться рудники, пришли туда вольные и подневольные шахтеры, старые и молодые, больше всего мужское население. Русских девушек-невест был недостаток. Местная, калмыцкая или киргизская женщина дичилась, сторонилась русских. Не легко было обучать ее языку и христианской вере, а таких случаев не было, чтобы русский человек из-за женщины переменил бы веру и обасурманился. А старообрядцы не смешивались, не только с местными инородцами, но и с русскими не ихней веры. Потому их род сохранился и размножился на Алтае в чистоте и крепости до-Петровской Руси. Но горняки-шахтеры, в поисках семейного начала, иногда женились на инородках. Или брали в зятья инородцев, но в этом случае, невеста-ли, жених-ли, должны были креститься и совершенно обрусеть. От такого смешения и поныне лица некоторых русских в Сибири отличаются высокою

скулой, темным цветом кожи, узкими глазами и коротким носом.

Правда, тип дедушки, Луки Спиридоныча, Митриева отца, был особенный. Не то, что на калмыка, а скорее на старого индуса был похож, зато уж бабушка, Соломея Игнатьевна, по всем чертам лица и по речи и по привычкам, была русская из самых русских.

О происхождении дедушки и о его предках по отцовской линии, сам он не рассказывал, но о том, что дедушкин дед был калмыком, в народе были слухи. Тут уже вина, а может быть и заслуга, казаков, то есть той самой линии, из которой происходит мать Егорки, Елена Петровна. Тут опять надо вернуться не на сто, а может быть на полтораста лет назад, когда для охраны русских владений в Сибири от набегов непокорных, кочевых племен Азии, надо было протянуть линию казачьих застав, называвшихся форпостами, по всему правому берегу реки Иртыша и дальше, на северо-восток, по предгориям Алтая. Тут-то и понадобились казаки с Тихого Дона, люди, как и староверы, крепкой славянской кости и православной веры. Сели они прочно на больших земельных наделах, с местным населением не смешивались и не враждовали. Везде белела и поблескивала крестом церковка; грамотность была обязательной для каждого молодого казака, а от него, если не в школе, то дома, научалась читать и молодая казачка. Казачьи сотни обучались и формировались в полку, в большом городе, но подготовка казака, его коня и седла, были обязательны в станицах. Значит, позади казачьих станиц и за спиною казака, спокойнее было крестьянам и всякому рабочему люду. Так, мирное завоевание длилось больше столетия. Греха таить не надо, приходилось казакам делать набеги и на мирных инородцев. Дело это темное, точно не проверенное, но будто бы, прапрадед Митрия был богатым калмыцким ханом, владевшим сотнями лошадей и тысячами баранов, когда казаки захватили его стада во время своего набега в горы. Добычу поделили межь собой, а молодого ханского сына, Тарлыкана, не то Тарухана, бывшего среди пастухов, взяли в плен, окрестили его, выучили грамоте и женили, но не на казачке, а на засидевшейся в девках до тридцати годов дочери русского шахтера. Шутили казаки: от этой не сбежит. И не сбежал, стал сам шахтером. Жена была у него крепкого сложенья, народила ему кучу робят. Один из сыновей и был отцом Луки, по имени Спиридон.

Но не по этой легендарной причине, в четвертом поколении, сошлись две линии для брака Митрия и Елены. Причины были натуральные и обе далеки от любовной завязки.

В те времена судьбу жениха и невесты решали их родители, а в этом случае — нужда. Соломея Игнатьевна была второй женой дедушки, а Митрий и еще двое: сестра Катерина и брат Василий, родились от первой, значит росли под мачихой, а мачиха, когда пошли дети, пасынков не только досыта не накормит, а и побьет. Однажды, девятилетним, ушел Митрий из дома и поступил разборщиком руды на шахты. Тогда они жили в Николаевском руднике. Шихты еще не были закрыты. Дедушка был занят службой, в домашний распорядок не вникал, а когда хватился большака и узнал, что он работает на шахтах, неловко ему стало, упросил начальство поместить его в казенную школу с пансионом. Своего жалованья не хватало. Но в пансионе были дети старших чиновников, среди которых Митрий отставал во всех науках. И одет был хуже всех и всех дичился. Ушел опять на разборку руды. И ел и спал в казармах, домой приходил только на праздники.

Когда подрос, стал и для дома помогать и пашню для родителей поддерживать; но шахта и шахтерская среда оставались его домом и семьею. Так подошла и воинская повинность. Как старшего сына в семье, от солдатчины его освободили. Родители решили; надо бы женить, да на ком? По положению родителей, можно бы найти девицу из купечества и даже из «благородных», да кто за него пойдет? Ни грамоте, как следует, не знает, ни обхожденью с людьми не научился. Молчун, одет бедно, руки в мозолях. Крестьянку взять в дом — Соломея Игнатьевна сарафанов терпеть не могла: как-де крестьянку, ни одень, все равно крестьянкою останется. Так прошло три долгих года. Но вот услышали: Степан Жеребцов, уставщик Таловского рудника, женил своего сына, Виктора, на казачке. Говорят — боец девица, красавица собою и все умеет, шить и мыть и стряпать и на поле жница, и в хороводе лучшая певица. Разведали, откуда, чья... Снарядили сватов; самим сватать не принято. Приехали сваты обратно, рассказали: у вдовы-казачки, в Убинском форпосте, на Иртыше, еще их шесть дочерей осталось. Лизавета, что выдана за Виктора Жеребцова — первая, а за ней идет вторая, девятнадцати лет, Елена. Краля! Белая, румянец во всю щеку, грамотная, поведенья тихого, люди не нахвалятся. Вдова будет

радешенька выдать ее; у нее еще пять подростает и ни одного сына-работника в доме. Семь дочерей после себя оставил казак, по имени Петр, а по отчеству, даже не поверили: Исусович. Столяровы по прозвищу. (Имя Исус, с одним И, имеется только в сторообрядческом календаре. Возможно, что Исус Столяров, казак с Дона, и был старообрядцем.)

На этот раз повезли сваты и Митрия. Одели его почти во все отцовское, как настоящего из «благородных». Как увидел девку, спорить и слов не нашлось. Молчал, посмеивался, темную, козлиную, как у отца бородку, пощипывал. Парню двадцать четыре года, чего еще ждать? А Елена даже и разглядеть жениха, как следует, не решалась. Потупивши свои карие глаза, играла кончиком тяжелой, золотисто-русой косы. И смеяться не решалась. При чужих людях даже улыбаться неприлично. Казачки даже танцевали со строгими лицами, чтобы люди не подумали, что у девиц ветер в голове. Мать ее, Александра Федоровна, молча выслушала сватов. И дочь не спросила, согласилась. И потом четко, коротко и ясно, за дочь и за себя, жениху задачу задала:

— А ежели чему я ее не научила, то ты сам будь умным — научи!

Увезли сваты жениха к свадьбе готовиться.

...Уже одиннадцать лет прошло с тех пор, как привезли в Николаевский рудник, на отдельной подводе, приданое Елены, в двух сундуках, каждый затворялся со звоном. Это для того, чтобы, если, не дай Бог, вор попробует полезть в сундук, замок зазвенит на всю избу. Сундуки теперь уже оба опустели так, что когда Елена их открывает, звон делается еще громче, в пустоте гудит. Беличью шубку с длинной пелериной до пояса, — а беличьи хвосты свисали ниже пояса, — ребятишки, укрываясь по ночам, так истрепали, что в люди стыдно надевать. В зимнюю стужу дети спят вповалку на полу, чем их укроешь? Тянут друг на друга, рвут. А их уже пятеро.

Пока Егоркины годы тянулись медленно, как вечность, для Елены и Митрия они летели, как недели. За одиннадцать лет — пятеро, а если бы все выжили и не рожала бы мертвеньких, их было бы всех восемь. Как справлялась, как Митрий ухитрялся всех прокормить, запасти муки, дров на зиму, сена для скотины?

— Бог один ведает. Все также — с горем пополам, как и другие шахтеры. А многие и в шахте не могут выдержать. Купоросная вода сводит ноги, калечит молодых. До старости в шахте редко кто дотянет. Избавиться от шахты — вот о чем все чаще Митрий стал подумывать.

В крестьянском сословии Митрий не состоял. По паспорту он пишется: обыватель рудника Николаевского. Но многие обыватели уже давно обзавелись плугами, засевают до десяти десятин и живут, как настоящие крестьяне. Взять, к примеру Касьяновых, Будкеевых, Вершининых, Поротниковых. А Михаил Васильевич Вялков тот в шахту никогда и не спускался, а самый справный на селе. Вот и у Митрия уже три лешади да стригунок, 1) весной будет два года, третьяком станет. Один из бедняков-соседей собирался тоже уходить из шахтеров, но этот в город собирается. Безлошадному ему там легче найти работу. Продает кобылу. Кормить нечем. Да заморил так, что до весны и не откормишь, а у Митрия у самого, дай Бог, до Великого Поста своих прокормить.

Хуже всего, что с тех пор, как закрыли шахты в Николаевске, на работу каждое воскресенье под вечер надо пешком ходить в рудник Сугатовский, девять верст. Летом еще ничего, дни дольше. А зимой!.. Иной раз буран, едва добредешь; и посушиться не успеешь — уже утро. Надо в шахту. А то мороз такой ударит, что хоть всю дорогу пляши. Попробовал на Гнедчике верхом ездить, даже свое немудреное седлишко справил. Да там, при шахтах, шесть дней, негде лошадь содержать. Взял как-то, посадил позади седла девятилетнего Миколку, чтобы обратно лошадь с ним прислать; отправил домой одного — парненка чуть не погубил — такая поднялась завируха, снежная метель, да на морозе! Одет Миколка кое-как, сапоженки в дырах. Шапченка — для сорочьего гнезда годится. Хорошо, что смышленый парнишка: и дорогу не потерял и то и дело слезал с лошади. Пробежит с нею рядом, держится за стремя, согреется да опять в седло. Другой закоченел бы до смерти. Шагает Митрий, думает, а у самого ноги и горят и стынут, хоть отруби. Межь пальцами на них, от колчедана и купоросной сырости, все время

1) Стригунок, или ланшак, — жеребенок по второму году, с коротко-остриженным хвостом и с обстриженною гривой. Из жеребячьего волоса веревки вьют.

сукровица выделяется. Не заживают. В шахте еще больше промокают, а на ночлеге, в казарме, нет домашней печки, чтобы онучи просушить.

Не легко и без заработка оставаться, а калекой станешь — еще хуже будет.

Вот так больные ноги, не давали ему спать, решили судьбу Митрия: оставить шахты перед Пасхой и вскладчину с таким же бедняком, у кого есть две лошади, посеять не одну, а три десятины хлеба. Земли у него много, устала ждать пахаря, проросла, что твоя целина. От отца двенадцать десятин да и брат Василий, — однолошадник, свою тоже не пашет. Можно выбрать и для пшеницы и для овса и для ячменя — свои «толстые» щи ребятишкам будут.

Ободренный таким решением, Митрий на Рождество сторговал Булануху. И вышло ловко: мужик согласился взять лишь третью часть наличными, вторую часть полудесятиною пшеницы: а последнюю треть деньгами после сбора урожая. Сговорились, и при свидетелях-соседах, Митрий принял от продовца, из полы в полу, повод Буланухиной узды. Двадцать четыре целковых за кобылу, цена не малая, кобыла захудалая да еще и жеребая, — значит приплод... Еще одна лошадь, Бог даст, подростать будет. А когда будет шестерка — можно и одному, без складчины, пахать и боронить. А там и ребятишки подростут — своей семьей, как Вялков, и урожай снимать можно.

Елена усиленно ухаживала за мужем: всю Страстную неделю и всю Пасхальную меняла повязки на его ногах, мужик повеселел. К пахоте он твердо станет на ноги и по своей земле пойдет за собственной, кривой, однолемешной, на деревянной основе, сошкой.

Волнение всей семьи начались еще до Пасхи. Все повеселели, стали говорить и двигаться быстрее и смелее. Приготовленья шли по всем правилам заправских пахарей. Митрий не один. Миколке в Вешнего Миколу будет десять лет. Он все время, неотступно при отце и с лошадьми. Строг и важен с остальными членами семьи. Егорка с завистью смотрит как Миколка, схвативши Гнедчика или Булануху за гриву одной левою рукой, а другою размахнется вместе с босою пяткою правой ноги и — он на спине лошади. Миколка еще потому сердит и строг со всеми, что обидела его судьба: года два тому назад играл с другими ребятишками на улице. Из самодельных самострелов стрелы острые пускали в небо. Хвалились и гордились, у кого сильней

и выше улетит стрела. Один пустил свою стрелу в небо, высоко улетела стрела; поднявши лицо кверху, завидно засмотрелся на нее Миколка, а она уже летит на землю и прямо ему в глаз. С тех пор он окривел. На левом глазу бельмо, но правым зорко видит все и особенно Егоркин мокрый нос.

Егорке шесть лет. Отец решил и его взять на пашню. Не помогать, а чтобы дома было легче матери, а на пашне и ему лишняя ложка настоящей каши перепадет. И вот тут-то Миколка не давал пощады Егорке. То и дело рычал на него басом:

— Вытри нос-то!..

Недолюбливал он брата с малых лет за то, что мать и отец всегда все, что посланце — Егорке первому. И вот берет отец Егорку на пашню. Для чего? Какая от него помощь? Да никакой, только людей смешить. А Николай будет настоящим пахарем. Он уже знает, что значит озимое и яровое, что значат залежи и пустыри и что такое залог. Это целина земли, а не заклад, об который, несогнутыми ладонями, мужики друг друга по рукам хлопают, когда о чем либо спорят и божатся. А Егорка не знает еще, что такое гуж и что постромка. Куда и зачем его ни пошли — притащит что нибудь другое. А Миколка знает, как седлать и запрягать и сам уже правил всей пятеркой лошадей, когда прокладывали первую борозду на залежи. Ни разу не скривил борозды. Вот тебе и одноглазый.

Миколка-Николай знает уже все дороги и речки и названия ближних деревень вокруг села. Каждый поворот дороги знает, знает, где какой ухаб об'ехать. А ухабы есть такие, что все колесо может увязнуть. Старики об одном ухабе сказывают: малышами были, а ухаб все тот же, никто его не засыпал, не поправил. Трава возле него растет густая и высокая, его и не увидишь издали. Этот ухаб такой глубокий, можно всякий воз опрокинуть.

Это когда уже проедешь от Николаевского рудника около двух верст, переедешь речку Таловку и повернешь налево — будут узкие, глубокие колеи колесного пути.

Эти дороги с длинными грядками из сплошного дерна 1) — такая незабвенная летопись для каждого в родном поле. Куда ни поедешь — только из села выехал, только кончились «назьмы» — кучи вывезенного из дворов навоза, — как сейчас же пойдут

---

1) Дерно или дёрн — пласты земли с травой.

виться эти ровные, дернистые грядки, нанизанные на поля, будто гарусная пряжа. Тележные колеса ровнехонько их понарезали, вычесали длинную траву на грядках межь колей и слегка подчернили деготьком от густо смазанных осей. Так вот, как только проедешь мельницу Шмаковых — тут этот ухаб и есть. Он такой глубокий и всегда наполнен жидкою грязцой, тут тебя обязательно сильно тряхнет и берегись от грязи. Если девки или бабы ноги свесили — надо быстренько их приподнять, иначе все юбки окатит грязью. Понятно, тут и смех и грех — в крестьянском быту юбки задирать не полагается. А иной мужик или парень в этом месте обязательно стегнет по лошадям, ну вот он тут ухаб и веселит людей, запоминается.

А если Миколка знал всякий поворот дороги и названия земляных мостков через ручьи, то как же не запомнить тот самый Крутой Лог, длинный и глубокий крутояр, на краю которого стояла пашенная землянка, избушка, выстроенная силою Михайлы Василича Вялкова, пашни которого лежали вдоль этого Крутого Лога? В избушке этой Вялков приютил и Митрия, и других соседей по пашне. Бывало, набьются в непогожий день, так что негде и хозяину сесть. Но как-то всем хватало места для ночлега. Так оно и было: в тесноте да не в обиде.

Запомнились все лица, голоса, улыбки, шутки, армяки, сермяги, закопченные на дымных костерках чугунные, смешные чайники и черномазые котелки с помятыми боками.

Мужики тут были всякие. Вот двое молодых, но безлошадных, в работниках у Вялкова. Один, что повыше, Алеха, с черными кучерявыми волосами, был весельчак, певун, охотник, хотя ружья у него не было. Ружье он брал у Вялкова. Вялков был стрелок без промаха. Бывало, никто не углядит, когда и где — настреляет косачей или селезней, — уток весной он не стрелял и другим давал советы не стрелять; — принесет их, бросит прямо в круг, значит для всех. Также было и с рыбой. Наловит, принесет и сам же уху для всех сварит: ешьте! Алеха, когда вечером все соберутся у костра, наврет с три короба про то, как он застрелил сохатого в тайге да как обманул медведя: подбросил перед его мордою свою войлочную шляпу, тот встал на дыбы, а Алеха пырк его ножем в брюхо... Никто ему не верил, но все смеялись и сам Алеха смеялся громче всех. Но Вялков знал, чем это вранье кончится. Алеха уставится на Вялкова широкооткрытыми, черными глазами и то одним, то другим глазом, под-

мигивает. Не выдержит этого Вялков и согласится дать Алехе свое, шомпольное ружье на следующее воскресенье.

— Ружья мне не жалко да ты мне весь порох, всю дробь расстреляешь, сам я чем буду стрелять?

Но Алеха всю неделю будет работать, как лошадь, все он готов сделать, только бы, еще в субботу вечером, обвеситься припасами, сунуть в сеточную сумку краюху хлеба и уйти в знакомые, излюбленные им скрадки. Там он будет ждать, курить, осмотрит и ощупает большой бычачий рог с порохом и круглый кожаный мешочек с дробью. Все сделано «по форме», как делали столетия назад: все прилажено к ремню, и мерка для дроби, и пыжи, и огниво-кремень с трутом, чтобы во всякую погоду огонь добыть. Но заряжает он ружье не меркой, а на-глаз, горстью. Бьет его ружье прикладом в правое плечо, но плечо у ниго молодецкое, всякий синяк стерпит.

Были на стану и старики, с седыми, длинными, лопатой, бородами. Один из них, не перекрестившись, ни ложки не возьмет, ни первой борозды пахать не зачнет. И слова зря не бросит. А другой, с черною, подстриженною бородой, старый шахтер, что ни слово, то и закорючка с крепкой шуткой, но до самого низа слов не допускал: Вялкова стеснялся и щадил малых ребят. Среднего возраста пахаря, те степеннее, больше молчали, а если скажут что — оглянутся, проверят: слышали ли их и что из этого выходит?

Избушка была частью выкопана в земле, частью выложена из дерева и дерном покрыта. Вялков сам серпом срезал траву на крыше, чтобы гуще проростала и дождь бы скатывался без задержки. Некоторым мужикам, кто это видел, было неловко, они бросались помогать, да дело было уже сделано, не успевали догадаться во время.

Все это было так ново для Миколки и Егорки, что и их собственный отец казался здесь другим. Да и самая земля вокруг была для них уж не землею, черной или серой, в которую хоронят мертвых, а такой большой, подпершей небеса, такою неоглядной и холмистой, что и было зеленой и веселой пашней.

Как будто только здесь, на пашне, и лицо отца помолодело. Небольшая, клинышком, бородка на солнце порыжела, но темные волосы были намаслены и всегда гладко причесаны. На голове дешевенький картуз, выцветший и с переломленным, блестящим козырьком. Этот козырек был особенно незабываем. Все Вялков-

ские ребятишки к Пасхе выряжались в картузы с такими вот, но целыми ярко-блестящими, козырьками, хотя на пашню приехали в стареньких зимних шапках. Митрий купил этот картуз для Миколки, но тот на праздниках где-то сломал козырек и дня три не смел показываться на глаза отцу. Для него это была горькая, большая беда. Картуз был велик, его легко сносил с головы ветер и потому он пострадал так скоро. Отец отнял у Миколки картуз. Но для отца картуз был слишком мал, сидел смешно на голове, над самым лбом и набекрень. Но блеск на солнышке лакираванного козырька придавал всему наряду Митрия веселый, молодецкий вид. Только две складочки на шее, пониже ушей, изгибались, как два узенькие черные шнурочка. Это в'евшийся за зиму в шахте колчедан.

Но Митрию сидеть и слушать разговоры у костра или в избушке было некогда. Ходил он быстро, быстро ел и того быстрее бросался на работу. Забота пахаря ложилась на него монашеским молчаньем.

Пяти лошадей даже для простой сохи недостаточно. Сибирская земля крепка и тяжела, к тому же давно не пахана. У мужика, с которым он пахал вскладчину, пара лошадей была слабее его тройки, но на пяти лошадях Митрий уже был пахарь и хозяин. И хотя снасть была на деревяшках да на веревках, все ломалось и рвалось, а все же начали пахать, чуть свет вставали, чтобы не отстать от опытных хозяев. Один день на пятерке пашут, другой на двух, попеременно, боронят. Впервые Митрий ходил с мерою зерна по свежей, черной, пахучей пахоте, как настоящий сеятель.

Какая терпеливая мать-земля! Какой она заботливый и нежный друг! Для всех она весною раскрывает свои об'ятия: иди ко мне, приму и накормлю и убаюкаю раздольной трудовою песней.

Не все поют, не до песен и Митрию, но и через него проходят песней эти ранние холодные утра на пашне, с инеем на молодой траве, с румяными восходами из-за далеких синих гор, с первой и такой заливистою песней жаворонка... Ведь только пенье этих жаворонков, их медленные, певучие взлеты, их утопание в синеве небес, когда их песня все еще доносится на землю, — может напитать всякое сердце радостью до смерти. Но какая драма,

для Миколки, когда, однажды, под черным пластом пахоты он увидел, как промелькнуло и опрокинулось в борозду крохотное гнездышко с тремя яичками. Осталось принести еще только одно и птичка села бы на них и наслаждалась бы материнством.

Но и птичка пахарю это простит. Она совьет другое гнездышко и тогда опять муженек ее будет ей петь и вздыматься, петь и спускаться. И вдруг замолкнет. Значит сел, принес ей червячка. Вот диво! Дивное диво — земля!

Не все еще видел, не все еще понимнал Егорка. По траве и по кустам босому ему бегать страшно. Уже два раза сам змею видал. А до пахоты надо идти через заросли и обрывы Крутого Лога. С собой его Миколка редко берет на пахоту. «Мешаешь», — говорит. Егорка сидит один в избушке, или возле, па стану... Вот тут он и увидел, один-на-один, Михайлу Вялкова, настоящего богатыря, величественного пахаря. Пришел Вялков на стан обед варить. Его большие, голубые глаза, остановились на Егорке с мягкою улыбкой. Ни слова не сказал, только дал ему кусочек вяленого мяса. Длинная, прямая борода, спускавшаяся к поясу, легко погнулась под ветерком и легла на плечо.

Забыть такого невозможно. Чем позже в жизни, тем сильнее и красивее выростал он в памяти Егорки.

Голос его был тих и мягок, с высокими нотками. Он не был очень высок, но так широк в плечах, что между ними уместятся двое таких мужиков, как отец Егорки. Движения его были осторожны и медленны. Так должны двигаться богатыри среди множества хрупких и громоздких вещей: как бы чего не задеть, не уронить, не разбить. Вялкова никто не помнит злым. Он сам говаривал:

— Не приведи Бог, ежели доведется ударить кого. Рука моя тяжелая. — Да никто и не сердил его: причины не было. Никому не должен, никого словом не обидит. Жена, как голубица мирная, худая, от ветра упадет, а над детьми, как курица-наседка над цыплятами: их и под крылышко, им и всякое зернышко. Хорошо, всего вдосталь, а детей всего четверо: дочка, Клавочка, двенадцати лет да три мальчика: Матвею семь, а он уже в седле, по ловкости равен десятилетнему Миколке, да два четырехлетних близнеца, Иван да Николай. Михайло так и зовет их, как больших, а не Ванькой и Колькой. И оба они такие шустрые, во всем шустрей Егорки. И все три с отцом, на пашне.

Когда Михайло сварил обед, он встал на обрыв Крутого

Лога и через гулкую и обрывистую глубину и долину оврага раздался его зычный голос:

— Выпряга-ай-те-е!

Вдали за крутояром, поля его чернели сплошь, работники пахали там в два плуга, а Матвей боронил на трех лошадях. Как врос в седло сызмалетства, чернявый, в мать, — семилетний парнишка.

Все это Егорка видел и как-то молча, по своему, старался все понять: даже маленькие Вялковы все в сапогах; зипунчики, а зимой шубки — все по росту, новое и всего у них, хоть отбавляй. Мясо варят четыре раза в неделю, только в постные дни — варят чай да кашу, за то чай пьют с медом: своя пасека. Отец им мажет мед на большие ломти хлеба, не жалеет. Иногда и Егорке дает. Но Миколка этого терпеть не может и раз Егорку даже дернул за вихры:

— Стыда у тебя нету! — Сам Миколка даже не смотрит, когда другие люди едят.

Но в этот день Егорка был в избушке один, когда Вялков дал ему вкусный кусочек вяленого мяса. У них тоже есть вяленое мясо, но немного. Отец бережет на праздники. Егорка знает, как вялилось соленое мясо весь Великий Пост под карнизом крыши их избы. Чтобы ворóны не склевали, завешано мясо было старым неводом.

Но вот, когда собрались на стан пахаря для обеда и для перемены лошадей, произошла тревога, суматоха, крик. Миколка на двух чужих лошадях боронил, а Митрий сеял. Оба запоздали с едой. А все три собственные лошади паслись на зеленом склоне оврага. Булануху приманила зеленая травка к самому ручью, что пробегал по дну Крутого Лога от еще не растаявшего снега. И потянулась она к воде попить, а тут как раз глинистый ярок, вода промыла яму. Лошадь была спутана.

Пока пила, спутанные передние ноги ушли в засасывающую тину.1) Чем больше она пыталась вытащить ноги, тем

---

1) Вне табуна в Сибири, спускают лошадей на траву, на пашне или на покосе, передние ноги их путают особым толстым шнуром из конского волоса с застежками из дерева, чтобы лошади далеко не уходили, не ушли бы на посевы, где они любят валяться и портят всходы. Иногда, более строптивых лошадей даже треножат, а дорогих коней, чтобы не соблазнить конокрадов, на ночь заковывают в железные путы, с замком, вроде кандалов.

они глубже уходили в трясину и, наконец, она всем крупом завалила ручей и вода образовала перед нею пруд. Лошадь уже захлебывалась, когда Микулка увидал ее и закричал отцу. Митрий бросил кашу в котелке на костре, сбежал вниз. Кобыла громко фыркала и задыхалась. Пока сбежали вниз другие мужики, он руками и ногами рылся в глине, чтобы отвести воду, но вода и грязь все глубже засасывали кобылицу. А кобылица жеребая, «на сносях». Сама погибнет и жеребенок в ней..

Полдюжины мужиков взялись за гриву и за хвост, напрягли все силы, затянули даже трудовую — только сильней забилась, только еще глубже влипла в тину обессиленная лошадь. Но в эту самую минуту, не спеша, на широко расставленных ногах, не сошел, а скатился, как на лыжах, под косогор сам Вялков. В больших глазах его блеснули выпуклые белки, затем как будто даже налились в них кровяные прожилки. Этими глазами он быстро смерил всех людей, ручей, и берег и размеры всего несчастья. Сгибая спину, взмахнул руками, как крыльями по направлению к возившимся около тяжело стонавшей кобылицы, мужиков и не громко произнес:

— Ну-те-ка, уйдите!

Как в сказке, Егор Святогор, нашедший суму с золотом, хотел ее поднять, уперся да и ушел по пояс в землю. Так и Михайло Вялков. Замотавши на правую руку черный хвост лошади и откинувши левую, уперся так, что сразу же выше колен погряз в глинистую трясину. Но время было дорого, он уперся еще сильнее и погряз до пояса. Но зато теперь он стоял довольно прочно. Теперь он дал работу и левой руке, схвативши ею гриву лошади, и обеими руками, сперва раскачал ее на мутной воде, и сразу, как огромную суму, поволок ее слева направо, вокруг своего тела, на берег. Лошадь, мокрая и грязная, дрожа всем телом, встала на ноги. Скопившаяся кучка мужиков завыла от восторга, а Вялков, смотря из-под войлочной, пирогом, шляпы, протягивал к ним руки и тем же негромким голосом ругался:

— Какого чорта — тяните меня!.. Тут студено стоять. Вода то снеговая...

Но не так легко было вытянуть из глины. Долго возились мужики, пока им удалось помочь богатырю.

Остаток дня прошел в рассказах тем, кто этого не видел. Люди не верили своим глазам, как один человек мог вытащить жеребую кобылу из такой трясины, в которой сам увяз до пояса.

Вялкову даже надоело слушать удивленные вопросы и он просто огрызнулся:

— Да не сила тут нужна, а смекалка. Под кобылой же полно было воды. Надо было только приподнять ее. Вода подплавила ее, я и вытащил. И то ошибку сделал. Надо было налево тащить, за гриву, головой вперед, а я за хвост... Так уж второпях вышло.

Тут уж все, и Митрий радостнее всех, захохотали. Митрий готов был помириться с тем, что кобыла помяла жеребенка, непременно выкинет мертвого. А все же ночь не спал, мыл, чистил, кормил, кобылу.

Все спали вповалку, прямо на земляном полу избушки. Немножко соломы, войлок, сверху кое-какая одеженка, а главное тепло от тесноты тел. Егорке между отцом и братом даже было жарко. Он помнит этот запах старой соломы, подсохшей земли и дыма от костра. Дым этот особенно впитывился в одежду, когда одежда вымочена дождем и сушится над костром.

Утром отец Егорку обычно не будил: для помощи ему на пахоте он еще мал, и оставлял его спящим в избушке. Но он не хотел оставаться один в пустой избушке, потому что ему страшно одному в черной закопченой землянке. Иногда, в ненастную погоду, разводили здесь костер, сушились, жарили картошку — закоптили. А снаружи и того страшнее.

Вдруг волк прийдет или покойники, о которых по вечерам взрослые болтали. По утрам он просыпался, хотел быть мужиком, как все, но отец его не брал с собою и все кончалось опять ревом.

Но в это утро отец разбудил Миколку и Егорку даже раньше всех, лишь чуть зажглась заря. Голос отца был особенно ласков и тих, а лицо смеялось. Дома, в избе, он почти всегда был грубым. А тут, на поле, он смеялся...

Когда Егорка встал и выскочил вслед за отцом и Миколкой из землянки, отец повел их в сторону Крутого Лога. Егорка ничего не видел там, кроме огромного, немного почерневшего с краев слежавшегося пятна из снега, притулившегося к северному склону оврага. Но потом, когда протер глаза, увидел чудо.

Там на зеленой лужайке только что распустился черемуховый куст, весь белый, как будто его покрыли крупные хлопья снега. А под черемуховым кустом стояла Булануха, и теперь ее черные хвост и грива и весь буланый (цвета сливочного масла) круп, особенно выделялись. Точно от нее и куст черемухи стал еще белее.

Но самое чудесное — под брюхом Булануxи стояла маленькая, в блестящей, гладкой шерстке, мышиного цвета, с коротеньким, кудрявым хвостиком, лошадка. Ножки ее были такие тоненькие и высокие, что было удивительно, как на них может стоять эта лошадка. А лошадка не только стоит, но даже ходит и все время лезет мордочкой под брюхо кобылицы-мамы. А Булануха, изогнувши шею, все время нюхала эту лошадку и тихо-тихо ржала, явно говорила о чем-то и ласкала маленькое, еле державшееся на ногах, свое дитя.

Микола первым бросился к ней ближе. Булануха сердито храпнула и повела лошадку прочь от черемухового куста. Но Митрий смело к ней приблизился и, потрепав по шее, что-то говорил ей на особом, на не человечьем языке. Он как то хохокал, трукал, посвистывал и как будто даже ржал по лошадиному, стараясь передать Булануxе всю свою радость: и сама жива и даже благополучно разрешилась жеребеночком.

И как же глубоко и крепко вошла в сердце Егорки эта утренняя заря! Из-за горы она вставала, как золотой кокошник всей земли. Стреловидные лучи и ее румянец распространились на легкие крылья снегоподобных облаков. Неописуемая заря!

Так родился Карчик, лошадь, вместе с которой суждено было Миколке и Егорке вырости и принять купель крестьянского труда.

Через неделю, поля, увалы и отлогие склоны холмов вблизи и вдали, покрылись черными, пока что узкими и длинными полосами пахоты, которые медленно, но упорно расширялись и росли. И не надо этому придумывать какие-то слова. Потому что это было счастьем Егорки и Миколки, их отца и всего белого света. Отовсюду слышались высокие ноты голосов, понуждающих лошадей, чтобы легче было им тянуть плуги и бороны и телеги с семенами. Переклички взрослых и подростков, ржание кобылиц, запряженных в сохи и плуги и обеспокоенных о жеребятах, смешивались с непрерывным щебетаньем жаворонков и карканьем воронья. А позади запряжек, кое-где ходили маленькие жеребята и при всяком роздыхе вспотевших матерей, лезли им под брюхо пососать и подкрепиться...

Для маленького Карчика, Митрий намеренно подольше задерживал остановки лошадей. Овса у него не было, но он купил

три мешка отрубей, рубил топориком на мелкие частицы сено, а иногда и солому, мешал эту «сечку» с водой и отрубями и тем поддерживал тяглую силу лошадей. Но пахота их истощала, ребра у Буланухи хоть пересчитай, а жеребенок ее тянет, ему тоже нужна сила — ходить и ходить следом за сохой или рядом с матерью. Иногда на стоянке насосется, отойдет на травку, ляжет, раскинет хвост и гривку, вытянет тоненькие ножки и заснет. Но, когда вся запряжка тронется и уйдет на другой конец пахоты, а Булануха беспокойно и длительно заржет, жеребенок вспрыгивает на ноги и несется к ней напрямик, через рыхлую полосу земли. Тоже и этот малыш трудится.

Больней всего видеть это для Миколки. Но он молчит и утешается тем, что Карчик растет не по дням, а по часам и иногда, как бы дразня мать, вдруг поднимет трубой короткий хвостик и понесется кругом по полю, но сейчас же сам испугается, заржет звонко и протяжно и вернется к матери. И мать заржет, как будто захохочет от радости и нет ничего слаще для Миколки, как видеть, что после ячменя и пшеницы, отец засеял целую полудесятину овса. Уж выкормит и вырастит он себе коня!

Но тяжела земля, хоть и щедра и добра, как мать. Потрескались у Миколки под солнцем губы, поседели от пыли у отца борода и брови. До крови набились плечи у двух лошадей. Плохие хомуты. У Игреньки распухла и гноится спина под седлом, в котором ездит с утра до вечера и правит лошадьми Миколка. И нет времени залечить рану. На нее опять кладут потник и подседельник и опять давит и трет ее седло. Гнедой мерин не выносит подпруг седла, лягается. Он ходит первым в борозде, вожаком. Седлать Булануху было бы жестоко.

И болью лошади страдает пахарь, а остановить пашню нельзя. Правду говорится: весенний день — год кормит.

Щедро сыплет пахарь в землю семена, но все теперь — от неба. Вот две недели нет дождя, чернота полос посерела. Суховеи поднимают ее пылью... Поглядывает пахарь на юго-запад — не покажется-ли тучка. Как раз бы покропила всходы. Но в небе нет ни облачка... Ну, ничего. Бог не без милости. И пахарь ходит по свежевспаханной земле, щедро бросает семена — на волю Божию. А ветер разрастается, хватает на лету брошенную часть семян, уносит всторону... Меняет направление — не приноровишься, как бросать зерно. Не будет ровности в посеве, там, где нет зерна — сорная трава задавит колосок, там, где густо

бросилось — колосья будут мелкими, зерно осыплется до жатвы.

Богатырем духа и терпенья должен быть пахарь. Мудрецом опыта должен быть сеятель.

— О, Господи! Пошли дождя!

И неожиданно, на крыльях ветра, вырывается из-за горизонта туча. Но не дождь несет она, а бурю. Поднимает буря весь верхний, сухой слой земли и вместе с семенами расшвыривает на непаханные пустыри, на склоны сопок, в долины речек, в пыль дорог.

А уже потом, когда натешится и унесется в высь или провалится сквозь землю и затихнет, в тишине утра или на закате дня, покажутся из-за края земли долгожданные, небесные карабли с парусами светло-серыми, иногда темными, среди которых, сперва беззвучно, а потом с чуть слышной ворктнею грома, зазмеятся молнии.

И это будет дождь, иногда ливень, который смоет и унесет с грязью не пустившее еще ростка зерно: но все равно: это дождь, отрада земли. Сама жизнь!

III

ОДИН ИЗ СВЕТЛЫХ ДНЕЙ

ЕСТЬ-ли в другой какой либо стране, в Европе или Азии, такое название летней поры, которая в России называется страдой? И где еще на свете земледелец назывался бы «крестьянин»? Что это за приставка к слову «крест», это самое: «янин»? мы знаем, что «из'ян» есть недостаток, нечто согнутое, третьесортное, плохое. Не за этот ли крест, сгибающий его всю жизнь, крестьянин, получил в награду слово «мужик» и даже совсем уничижительное: «смерд»? И почему «страда» распространяется только на лето, а и не на дождливую, грязную, мучительную осень или на длительную, мертвящую пору зимы? А самая весна не является ли для мужика только началом страды — страдания?

И все-таки... И все-таки, как могуч и терпелив, как вынослив и непобедим мужик-крестьянин, когда он твердо станет на родную землю. С какою славой он несет свой крест, этот истинный хлебодатель и кормилец всего, сидящего на его могучих плечах, мира избранных и более счастливых.

Егорка подростал ни стыки двух столетий, не зная и не умея помышлять о том, что несет ему и всему его народу цивилизованный двадцатый век? Он не знал, что тысячи безземельных и безлошадных молодых парней из России и Сибири уйдут в Америку. Отрываясь от родной почвы, они будут копать там уголь для задымленья великих городов и для ковки стальных машин-гигантов, которые внесут свой грохот и скрежет и на мирные русские пашни. И не случится ли, что и из вольного сибирского пахаря, машины сделают опять раба и смерда?

Но жизнь великого народа — великая и многоводная река. Она заковывается льдами в зимние морозы, вздымает и ломает их весною, пополняет воды ливнями лета и осени и высыхает только в песках пустыни или на болотистых равнинах. Но коль

скоро и в песках и на болотах появится, китайский-ли кули или египетский феллах, он, и в просмоленном холстяном ведре, наносит влаги на свою полоску или выроет колодезь и примитивным, древним способом, при помощи осла или вола, накачает воду, чтобы и в пустыне вырастить его насущный хлеб и накормить детей и утвердить звенья непрерывного крестьянства. Вот почему крестьянство, даже бедное, не вооруженное великой техникою современности, переживет века и будет вечною основой жизни и надеждой всего, стоящего на краю погибели, человечества. Но неописуемо многообразие всех бед, нужды, борьбы, болезней, душевных мук и без'исходности народа русского! Панорама всей народной тяготы просто необ'ятна ни в пространстве ни во времени. Приходится брать капельки из того же океана жизни и вглядываться в них, как в малую крупицу всего целого. Но как ограничено воображение и как ничтожны его восприятия в сравнении с живой, клокочущей страданиями народной стихии!

А впрочем, сказанное выше, сказано лишь для того, чтобы напомнить, о кресте, распятии и воскресении. И что жизнь народная не так скучна и монотонна: что и у мужика есть свои радости.

С грехом пополам и с горем вперемежку, отпахались мужики, кто за неделю, а кто и раньше, перед Троицей. Была ли тяглая сила, не было ли силы, всходы яровых посевов ждать не будут. Всем им свое время и они должны созреть в таком порядке, чтобы первым жать ячмень, а перед тем не упустить покоса. Но и траве надо дать время вырости да еще разделить общественные луга каждое лето равномерно, по числу душ, так, чтобы кому в прошлом году достался плохой сенокос, нынче он мог бы получить по жребию получше и на новом месте. А и опаздывать нельзя, особенно с уборкой ржи. Поспевает она почти что вместе с ячменем, а чуть-чуть перезрела, — дунет ветер и зерно осыплется. Значит, взялся за пахарский гуж, так выдюживай и поспевай.

С сохой и с опрокинутыми боронами, с колодой для корма; с мерой для зерна, с логушкой для дегтя; со всем накопленным за шесть недель на пашне скарбом, на двух телегах, на пяти лошадях, — две из них чужие, — со стригунком без повода и с резвым жеребеночком у брюха кобылицы-матери, с обеими соба-

ками, Циганом и Булькой, с Егоркой на первом возу, с Миколкой на другом, — тронулся Митрий со своих первых распаханных, частью уже позеленевших, полос пашни, домой, в село.

Никогда еще родное село не казалось для него таким приятным на вид, когда, поднявшись из долины речки Таловки, он увидел его перед собою. Слева, первыми краснели и желтели холмы отвалов брошенной руды над огороженными шахтами, (чтобы корова или лошадь не упала в залитые водой глубокие бездонные провалы). А дальше, налево, блеснул позолоченный крест церковки, вместительной, но не высокой, потому что колокольня стоит в углу ограды, на столбах. Митрий истово, сняв картуз, перекрестился. Есть за что поблагодарить Бога: больше трех десятин для себя, полторы десятины для шахтера, доверившего пару лошадей, и полдесятины — долг за Булануху; значит шесть с лишним десятин за шесть недель, дай Бог всякому вспахать, заборонить. Правда, Ивану хлеб посеял на его земле и его семенами, но старался Митрий для него усерднее, чем для себя. Земля не соврет: если мелко вспахать и плохо заборонить, вместо хлеба выростет бурьян — что люди скажут?

По обе стороны села, с севера и с юга стояли высокими серебристыми щитами тополевые рощи. Приятно было и на них смотреть. Когда и разрослись так высоко. От лютой бури с обоих концов защищают все село и Митриеву избу.

А за рощами, вправо и влево, зеленеют сопки. Между ними текут ручьи, извиваются знакомые тропинки. Вон потихоньку с одной из сопок спускается стадо коров. Там есть две дойных да телка да двухлетний бычек самого Митрия. Слава Тебе Господи!

Устал Митрий, осунулся. Лицо и шея потемнели от загара, борода и волосы в пыли, но он весел и доволен. Поправил картуз, с усмешкой взглянул на Егорку, потихоньку затянул песенку без слов, тоненьким, бабьим голосом. Так изредка поет Елена.

Елена встретила пахарей с ведрами на коромысле, в подтыканной юбке, босая. Только что пришла из огорода и попутно принесла с ключа воды, а в воде плавали стебельки зеленого лука и желтенькие огуречные цветочки. Как знала, как раз будет окрошка, потому что есть и свежий квас на льду в погребе. Этот квас и этот лед не у всех в погребе бывает, даже у зажиточных, а Митрий умудрился навозить льду в Великий Пост перед самой Пасхой, когда лед на реке Убе — три версты на север от села — только что тронулся и разлив воды вытолкнул льдины на берег.

Немногие успели наколоть и навозить его, как он уже растаял. Ну, богатенькие лед возят еще зимой. Да и не всяк бедняк имеет время и деньги нанимать мастеров этого дела. Голыми руками льду не наколешь, простым топором за целый день и воза не накрошишь. Но Митрий ухватил денек, украл у недосуга.

С пашни Митрий приезжал много раз за провиантом, а Миколка и Егорка были дома только один раз, на праздник. Показалось Елене, что оба мальчика там выросли и загорели, как цыгане. Егорке было новостью видеть двух наседок, которые без него за это время вывели цыплят. Цыплята так шустро рылись в навозе около квочек, что их трудно было сосчитать. Они лезли под крыло матери, вылезали из-под него, быстро склевывали то, что она им находила и снова смешивались в кучу с цыплятами другой наседки, которая уже сама не знала, которые ее, которые чужие. Петух ходил тут же. Не обращая никакого внимания на молодое поколенье, он строжился над полудюжиною взрослых, разноцветных куриц и, увидев приближение Егорки, а за ним обеих собак, сердито покосился на них огненным глазом, с достоинством отошел в сторону и строго выкрикнул:

— Кто-о тут? — Потом еще дальше отбежал от собак, захлопал крыльями и заорал: — Карау-ул!

Вблизи избы успела вырасти полынь. Одно прясло зимнего пригона упало и видно, что для коров не надо открывать по вечерам ворота. Они входили и выходили сами через упавшие жерди. И не только надо было поправить это прясло. Много ждало дел для Митрия. Первым делом, в сенцах, — амбара у Митрия не было, — он заглянул в большой деревянный ящик: муки осталось на донышке. Придется опять идти с поклоном к тому же Кириле Касьянову. Придется сказать: во время страды, оба с Еленой на поле отработают. Даст, не откажет. Иногда молодой Кирила — косая сажень ростом — запивает. Старик-отец плотник, золотые руки. Спрячет пилы, топоры и сапоги Кирилы, чтобы сын не заложил, не пропил. А проснится Кирила — нет более старательного, более благоразумного хозяина и отца семьи.

Пока распряглись, разложились, подсохли лошади, в избе стоял дым коромыслом. Елена готовила «мужикам» ужин, это значит мужу и двум сынам. Егорка горячо рассказывал Оничке про невероятные события на пашне, обо всем сразу, не поймешь, врет он или все видел во сне. Оничка не очень слушала братишку, у нее были для Миколки, а не для Егорки, свои такие новости,

которых рассказать без мамы невозможно. Но когда пришли все в избу и отец помолился на иконы и все сели за стол, Елена, взяла на руки годовалого Андрюшку, чтобы попутно и его покормить кашей, спокойно и торжественно сказала:

— А у нас вчера Грушенька с мужем были. В Змеёво за товаром поехали.

Митрий ловко, чтобы не уронить крошечки, нарезал и разложил перед каждым ломти хлеба, не очень пропеченного и с отрубями, внимательно взглянул на жену и молча ждал. Как же, это должно быть важное событие.

Грунюшка, четвертая дочь Александры Федоровны, вышла замуж семь лет назад. (Третью дочь, Ирину, она выдала за казака еще раньше). Елена тогда выплакала у Митрия его согласие, что бы он повез ее на свадьбу Грушеньки. Богатый человек Павел Иваныч Минаев, молодой купец из деревни в низовьях реки Убы, а в Убинском фарпосте, где Уба впадает в Иртыш, оставались еще три младшие сестры Елены. Повез он ее, занимал и сбрую для Игреньки и сапоги для себя и денег у Вялкова. Детей — (Егорка тогда еще не был на свете) — оставили у Митриевой сестры, Катерины. Отгуляли свадьбу знатно. С тех пор не раз, Елена, с попутчиками, ездила к ним в гости. Однажды увезла с собой и там оставила простуженную Оничку. Оничка была там почти всю зиму, поправилась. От Грушеньки Елена привезла всякой всячены и для детей и для себя.

Уж ежели Елена так тихо говорит и улыбается, наверное и теперь богатые родственники не с пустыми руками приехали. И вот, после ужина, Елена открыла один из сундуков и замок его в самом деле не гудел так громко, как он гудел при пустоте. Чего только там не было! Прежде всего Митрию новая рубашка, синяя с цветочками и почти что новые штаны с Павла Иваныча. Штаны с большого роста, надо поубавить, но к Тронце Елена это успеет сделать. Оничке два новых платьица, одно на рост, когда подрастет, другое как раз впору. И башмачки, и самой Елене башмаки, правда не новые, и юбку с кофточкой. А Миколке и Егорке по рубахе, да на штаны две пестрые холстины. И платочки разные в всякого белья, не новое, но все чистое, поглаженное. Дай им Бог здоровья! Тут Елена не выдержала и заплакала... Потом вытерла слезы и прибавила:

— Сказали, что Сашеньку за Василия Быкова просватали.

Сашенька у них, у Минаевых, всю зиму жила, вроде приказчицы.

Митрий знал Василия. Сызмалетства в приказчиках у Минаевых. Высокий, мастер на все руки, только что уж очень смуглый, наверное из киргиз. А Сашенька, теперь уже за двадцать, маленькая и как все сестры, белокурая, веселая. На Грушенькиной свадьбе две сестры были еще девочками: Сашенька да Марья, обе были в белых платьях, шаферицами сестры. За Марьей идет еще Варвара, тоже подростает. Обе красавицы, и эти долго не засидятся.

— Ну, вот, — сказал Митрий, довольный всеми обновами, — не плачь! Бог даст, поправимся, на всех свадьбах отгуляем.

Елена из этого могла понять, что и на свадьбу Сашеньки удастся его уговорить поехать. Знала сама, что это им не по карману. Нельзя же бедностью трясти на чужих людях; Митрий и сам не любил побираться, а все-таки обидно, если Елена родную сестру не проводит к венцу.

Солнце закатилось, Митрий заспешил к подсохшим лошадям. Шахтор Иван на работе. Надо и о его лошадях позаботиться, Миколка уже знал, что лошадей вести в табун его обязанность. Но в какой стороне табун? Если на Березовке, то обратно на ночь глядя ему прийдется идти пешком четыре версты. Да еще все пять узд на себе тащить. Но все равно, не отца же заставлять возиться с лошадьми. При выезде из села Миколка спросил у встречного парня:

— Не знаешь, где табун сегодня?

— На Половинном, — ответил незнакомый парень и зорко оглядел костистых лошадей Миколки.

Это значит: четыре с половиною версты. Гнать лошадей нельзя, вспотеют. Надо ехать шагом. Долго ехал, долго искал табун в сумерках. Только по ржанью лешадей услышал, что табун (это общественный табун, до трехсот коней, под пастухами) разбрелся по равнине на северо-восток между гор. Надо было знать, чтобы не заблудиться: Березовские выпасы остались за горой, на юге, а пашни на юго-западе от села. В глубокой темноте, без дороги, по росистой траве, шел Миколка домой. Дырявые его сапоженки промокли от росы, онучи вылезли и тащились, он наступал на них и падал. Пальцы ног то и дело натыкались на острые колючки. Узды за спиной позвякивали удилами. Это хорошо: волки боятся железа. А если нападут?.. Он ускорил шаги и не останавливался даже дух перевести.

Ах, как все это рассказать, когда не знаешь, что рассказывать сначала, что потом? Все как будто мелочи и пустяки для тех, кого это не касается, а вжиться в эту жизнь да стать между этими людьми, все будет важно, все самое главное. Уж и так жизнь не легка и скрашивается редко добрыми людьми. Понятно, что подарки Грушеньки Минаевой, ставшей доброй потому, что выросла в сиротстве, а тут пришло счастье и достаток. Муж, Павел Иваныч, такой большой и добрый и так любит Грушеньку — рада она сделать хоть немножко счастливее и ее сестру с пятью детьми и в бедности. Вот на Троицу и будут все с праздником. А в бане вымыться опять же надо попроситься к Касьяновым. И в канун Троицы всей семьей, все семеро, маленького Андрюшку, стало быть с собою взяли, пошли и вымылись в бане. Натопили жарко, накалили каменку до бела. Как набросали раскаленных камней в кадку с водой, вода закипела. Пар в бане, никого не видно. Вымылись, напарились. Напарился Митрий до красна, всю тяжесть заботы и усталости как будто сразу сняло с его плеч и тут же в бане решил: завтра всей семьею в церковь — Богу свечку поставить.

Встали рано, коров Елена подоила — гони Миколушка в коровье стадо за селом! Митрий деготьком подчернил старые свои сапоги. Штаны от Павла Иваныча были длинны, — не успела Елена укоротить. — Заправил их в голенища, — славнецкие штаны и без поправки. Рубаха и своя была для праздника. Занялся сыновьями. Микола в церковь не пойдет. Не потому, что сапоги плохие, а потому что с вечера сговорился с двумя одногодками пойти на реку Убу, рыбу удить. Он засучил уже гачи стареньких штанов выше колен: рыбакам сапог не надо. С удочкой они забродят в воду. Ближе к рыбе. Удилища вырубили и высушили еще на пашне. Тонкие и длинные, из тальника: три привез, чтобы каждому по одному, а у товарищей есть лески и крючки. И червей накопал с вечера, тут же близь дома, в навозе. Только хлеба нужно да немного соли; рыбу будут на костре на палке жарить. Не могли его отговорить от рыбалки ни мать, ни отец. Микола-Николай задолго до звона в церковь с удочками на плече пошел. Но тут начался рев Егорки. Он тоже хочет на рыбалку, но Миколка не берет. Погнался, разревелся до кашля, с отчаяния стал плясать. Миколка вернулся, схватил его за волосы и бросил в пыль: «Сказал не пойдешь и не пойдешь!» Пришлось Елене уговаривать Егорку и в церковь босоногого вести. Но

в церковь снарядились во-время. Егорку взяла за руку Онична. Она, как ягодка, вся розовая, в розовом платьице с красной ленточкой в косичке, в новых башмаках со скрипом; от тетки Грушеньки все обновы, даже маленький платочек в руке. Митрий и Елена шли с нагрузкой. У Митрия на руках трехлетняя Фенька, а у Елены годовалый Андрюшка. Идти надо на горку, далеко. Туда идут, и Касьяновы, и Колотушкины, и соседи Поротниковы, и Трусовы с дальнего конца села. Трусова жена одета, как купчиха, а здоровается, как равная и называет Митрия и Елену по имени и отчеству. А там и другие, старые и малые идут, девушки цветы несут и зелень, обгоняют всех, спешат украсить вход в ограду церкви. Троица, солнышко ликует. У Егорки высохли слезы на глазах, крутит головой по сторонам, вырывает руку у сестры, хочет идти сам, один. От синей рубашки лицо его отливает синькой, но он смотрит не насмотрится на свою рубашку и на штанишки, трубочками, с бахрамой до пяток. Не успела мать подшить штанишки, но успела их хоть ему одному сшить. Но видит он, что все мальчики в сапожках, и даже самые малые, что на руках у матерей — в башмачках, а он босой. Он оглядывается на мать и на отца. Если они первыми войдут в церковь, можно убежать домой. Но перед входом в ограду они берут за руку Егорку и даже Оничку, чтобы не потерять в толпе. Как раз на ступенях паперти стоит ряд нищих, и среди них Апимпадист, дурачек. Высокий, борода щетиной. Народу накопилось много, все сразу даже и в церковь не вместятся. Народ привалил с заимок, с окрестных деревень, где нет ни церкви, ни священника. Вот тетка Лизавета из Таловска, с сыновьями Сашей и Ильей и с тремя дочками под'ехали на паре лошадей. Сам Виктор остался дома, хозяйство всем нельзя оставить. Егорка узнал Ольгу, она уже совсем большая, старшая из дочерей. А Лизавета — крестная Онички, увидела ее, подошла, расцеловала, похвалила платьице. Лицо Елены разгорелось от ходьбы и тяжести и от радости, что встретила родных. Но самое главное, что занимало Егорку от самого дома, это звон колокола. Он напомнил ему что-то, что было давно-давно. Но то было, как сон, а теперь все это ярче виделось и громче слышалось. Звон наростал по мере приближенья к церкви. И вот он видит при входе в ограду Матичку Плохорукого, трапезника. Тот, стоя, негнущейся, крючковатою рукою дергает веревку, протянутую на колокольню, и привязанную к языку большого колокола. Значит это он звонит. Звонит и при

каждом ударе кололола успевает кланяться входящим прихожанам. Одним, что получше одеты, пониже, другим не очень низко, а малышам совсем не кланяется. Не поклонился и Егорке, но отцу и матери поклонился низко, также, как Зырянову. За это и за что-то еще полюбил Егорка Матичку. Ах, вспомнил за что еще. За то, что на Пасхе он звонил во все колокола, все семь дней недели и так хорошо, что детвора на полянках плясала под его музыку. Много ребятишек собиралось возле колокольни и Матичка некоторым даже позволял залезть на колокольню и учил их звонить. И Миколка пробовал, но это трудно. Сам Матичка опутывал себя веревками, а их восемь от восьми малых колоколов, а от большого веревка привязана к доске и Матичка давил ее ногой, но так легонько, что когда его плечи и пальцы рук ходили и подергивались, звон большого колокола не заглушал малые звоны. И выводил он разные мотивы и даже, когда молодые парни принесли и подали ему водочки, он сыграл им «Сени мои сени...» А когда это услышала матушка-попадья и разбудила отдыхавшего батюшку, тот весело махнул рукой на звон и пропел:

— «Скакаше, играя — людие весели-итеся!» — Он сам был чуточку навеселе и пошел проспаться. Матушка потом сама об этом рассказала в лавке Зырянова, а оттуда, от тех, кто там был, слух об этом прошел по всему селу и люди веселились и многие узнали, что Матичка не так прост, как кажется. Вот за это полюбил Матичку Егорка и очень захотелось ему, когда подрастет, научиться звонить в колокола не хуже Матички.

Жил Матичка тут же, в маленькой сторожке, в ограде церкви. Зимой веревку удлинял и просовывал в отдушину, чтобы звонить из тепла, а не стоять на морозе. А звонить не только зимой, а и летом приходилось долго. Уже и время для обедни придет, а в церковь никто не идет. Приплетутся две-три старушки да какой нибудь мужик с требами, а батюшка должен служить вдвоем с псаломщиком и третий Матичка, он и кадило раздувает, и свечи продает и дрова в чугунную печку подкладывает. Вот только на Рождество, на Пасху да на Троицу людей полно, да когда свадьбу либо похороны справляют люди. На похороны любят приходить, потому что даже бедняки устраивают поминки и просят прийти всех крещеных и помянуть покойника чем Бог послал. Вот и сегодня народу полно и Матичка доволен за батюшку. Вот уже три года, как отец Петр приехал, молодой еще, и голос у него хорош, а проповедует в пустой церкви. Теперь ходит он по домам,

учит баб церковному пенью. Нашел с голосом Овдотью Будкееву. Та приводит других баб и вот приучается сам народ петь в церкви. Горняки тут все, в кабак с утра стучатся, а в церковь не идут.

Подождали, пока Елена перецеловала всех племянниц и обняла сестру.

Митрий протолкался в церковь и прочистил дорогу для Елены с детьми. Спустил на пол Феньку и отдал ее под надзор Онички. Егорка держался за юбку матери. Митрий протолкался дальше, к свечному столику. Купил две свечки и не передал их к иконостасу по плечам других, а сам прошел к правому клиросу, постоял, помолился, низко поклонился иконе Спасителя. Елена зорко наблюдала из толпы за его движениями. Когда он крестился и она крестилась, а за нею крестилась Оничка и Егорка и даже Фенька, узкоглазая, курносенькая, белокуренькая непоседа.

Крестилась она невпопад, по-католически, и весело смеялась. Андрюшка на руках матери казался херувимчиком: такой розовый, белокурый, в голубой рубашечке. Все на него засматривались, а он всем улыбался и все откидывал головку и смотрел наверх: там горело многими свечами паникадило. Он даже взвизгнул, одобряя это висячее солнышко. Иконостас был украшен полевыми цветами и зеленью. Царские врата были еще закрыты и против них, у самого амвона, стояли два высоких и прямых прихожанина. Они тут всегда стоят во время службы. Это лавочник Зырянов, сухощавый, в черном длинном, прямого покроя, летнем пальто. Прямые строгие черты лица его с благообразной черной бородой были неподвижны, когда он, скрестивши руки на груди и заложивши кисти их подмышки, ждал выхода священника и не молился. А когда, при чтении часов псаломщиком, произносилось: «Слава Отцу и Сыну», он крестился полным, точным большим крестом и кланялся низко, в пояс. Он был примером в церкви для всех, старых и малых и был он истинно-благочестивой жизни человек, хоть и лавочник. А рядом с ним, не глядя в сторону, Елена узнала Ивана Никифорыча Горкунова, важного, с достойною осанкой, высокого старика в седых бачках, похожего на Царя Освободителя, горного лекаря в отставке, жившего в казенном доме на горе у рощи. Не глядя в мужскую сторону направо, Елена также знала по движению толпы, что Митрий, поставивши свечку у левого клироса, отошел назад и стал в толпе, скромно спрятался за спины многих. Пододвинулась и она с детьми подальше влево, на женскую половину. Женщины

дали им дорогу и место, а сестра Лизавета даже приняла Андрюшку из рук Елены: поняла, что трудно все время держать на руках ребенка. Егорка посмотрел на склонившееся к нему лицо матери, оно было розовым и улыбалось, должно быть потому, что подошла во-время добрая сестра и взяла подержать Андрюшку. Елена шепнула Егорке:

— Иди к отцу. — Она была довольна, что нос Егорки был чист.

Пробираясь между ног взрослых людей Егорка пошел искать отца. Подняв голову, он не видел лиц, но видел много золотых звездочек на синем круглом потолке и слышал, как с клироса все еще несется непонятное чтение псаломщика, который, читая часы, так спешил, что многократное «Господи помилуй» выходило у него: «помилос-помилос!» Но тут кто-то из больших людей так больно наступил Егорке на босую ногу, что он присел и заревел. Кто-то взял его за руку и вывел на паперть. Так он до отца и не дошел, зато с паперти увидел Матичку, и боль в ноге его сразу утихла. Он сбежал со ступеней и подошел к Плохорукому, все еще плача. Матичка загреб его рукой, как коромыслом, прижал к столбу, у которого все еще стоял, хотя уже и не звонил, и полушепотом сказал:

— А ты не плачь! Чего заплакал? Слышь, служба Божа зачинается?

Да, Егорка услыхал отчетливый, певучий голос батюшки:

— Благословенно Царство...

— Отца и Сына и Святаго Духа — зачастил Матичка и помотал около своей запавшей груди колесообразною рукой, потом взял этой же рукою руку Егорки и с трудом, но точно, помог ему перекреститься так, как полагается и как крестится Зырянов: на лоб, живот и плечи.

В церкви открылись Царские Врата и началась обедня, без хора, так что сам священник, отец Петр, начинал и помогал тем из стоящих в церкви, кто мог петь. И видела Елена, как вышла вперед с женской половины совсем неграмотная Овдотья Степановна Будкеева и первая стала петь «Аминь», и «Господи помилуй», и «Тебе Господи», и «Подай Господи». Хорошо знала службу Елена и знала все молитвы, а так хорошо, смело

и звонко петь бы не решилась. Но и она стала подпевать... И запели другие, стал подтягивать Зырянов. Только горный лекарь Горкунов не пел, а когда крестился, то делал на своей груди чуть заметный малый знак креста. Отец Петр то и дело, после каждого своего возгласа присоединялся к пению молящихся, и это еще больше подбадривало Овдотью Степановну, Елену и других. С Херувимской хорошо не вышло: отец Петр помочь не мог, он совершал в алтаре Таинство, но псаломщик дотянул своим скрипучим, погубившим всю его духовную карьеру, голосом. Это у него жена — первая в селе модница, которой Елена помогала шить платья по картинкам.

Но под конец опять все пели вместе, и пенье это прорвалось через раскрытые двери и окна в ограду, а с паперти спустился в стихаре рыженький Ваня, гостивший у отца Петра племянник. Он держал погасшее кадило и искал глазами Матичку. Матичка сам побежал, выхватил кадило, чтобы в сторожке разжечь его и подсыпать ладану. В церкви в это время, с чашей и дискосом, из северных врат вышел отец Петр и только что произнес: «Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго», как услыхал набат. Нет, это не был набат, а похоже было на то, как колокола беспорядочно звенят во время землетрясения. Многие из церкви бросились в ограду. Священник не прервал, лишь начал снова свой возглас за царя и царицу и прочих благоверных. Народ валил обратно в церковь. Многие крестились, некоторые сдерживали смех. Елена и Митрий и не догадались, что и набат и землетрясение произвел Егорка. Митрий думал, что он с матерью, а мать, что он с отцом.

Улучив минутку, когда Матичка-трапезник вошел в сторожку, разжечь кадило, он залез на колокольню и нечаянно стал на доску с веревкой от большого колокола, а когда колокол ударил, он так испугался, что присел и раз и два качнулся на доске, а потом увидел, как он высоко, еще больше испугался и схватился за веревки от других колоколов. Когда же высыпал народ и он понял, что наделал звону, он заревел, а слезать не решился: слезать было страшнее, нежели залезть по узким перекладинкам лестницы. Матичка все понял, залез и помог Егорке слезть и теми же, похожими на коромысло, руками, обхватил его и уговаривал не плакать, а набежавшим людям и смеявшимся мальчикам резонно полушепотом выговаривал:

— Ну, што теперь? Ну, лезьте сами, вы теперь звоните, ежели завидно...

И отпустил Егорку. Убежал Егорка домой, все еще плача и запинаясь за бахрому новых, дудочками, до пят, штанишек. Дома он спрятался под крышу на избе. Больше некуда было спрятаться, как только в подполье да в погреб. Но он знал, что и в подполье очень темно, и в погребе очень холодно, да туда мать спустится за молоком либо за сметаной и найдет его. Но под крышу лестницы не было, надо было забираться по столбу на поветь, а с повети по стрехе на потолок избы. Один лоб крыши все еще зиял дырой на север, закрыть этот лоб крыши Митрию так и не удалось.

Боялся ли Егорка или было ему стыдно, но он решил остаться голодным, а без боя никому не сдаться. Над избой под крышей лежало сырое тряпье. Он сел на него, притянул к самому носу ногу, на которую ему наступили в церкви. Ноготь большого пальца был синим, но к боли он привык. Не первый раз сбивать ноготь.

Потом он осмотрелся вокруг. Под крышей было птичье гнездышко, пустое. Значит, птички вывелись и уже улетели. Вспомнил жаворонков над пашнею. Взглянул в пролет непокрытого лба крыши, по небу плыли белые облака. Засмотрелся на них, потом на рощу за домами, а дальше не видно. А от рощи посреди села ручей течет, и вдоль ручья все огороды, огороды. А ихний огород не видно. Он на дальнем ключе, у сопок. Хотелось ему есть. До обедни никто в доме не ел, и он не ел. Феньку и Андрюшку накормили, а ему не дали. Большой. В это время раздался благовест во все колокола. Понял, обедня кончилась, и это Матичка звонит, как на Пасхе. Вскоре на улицах показались люди. Послышались голоса возле избы. Хлопают дверью, входят и выходят, его ищут. Он припал на тряпки и затих. Долго так лежал, боялся даже шевелиться и вдруг забыл, что ему нужно делать. Заснул. А когда проснулся, перед ним, на корточках, сидела Оничка и соломинкой щекотала ему щеки.

— Иди в избу! — приказала она строго. — Из-за тебя все голодом сидят. Тятенька в кустах тебя по огородам ищет.

Оничка была горда, что догадалась, где он прячется и когда спустилась из-под крыши на поветь, она же закричала матери:

— Вот он где! Только вы его не бейте, дурака, а то он убежит куда-нибудь.

Никто его не тронул. Отец обрадовался, что он нашелся, но

все же снял с себя ремень и пригрозил:

— Вот я те покажу, как в колокола звонить! — Однако, увидевши, как Егорка скривил губы для рева, он снова подпоясался и строго приказал Елене: — Ну, давайте, собирайте на стол. Будет уж, помолились, прости Господи!

Все ели молча, а когда насытились, повеселели. Вышли из-за стола, все вместе, стоя, помолились на иконы. Отец сказал:

— Ну-ка иди сюда, звонарь, волосы-то как отросли. Подстричь надо. Мать, — обратился он к Елене, — где у тебя ножницы?

Егорка подошел к отцу и, склонивши голову к его коленям, слышал запах его новых штанов и чистой рубашки. И полюбил он в этот Троицин день своего отца даже больше, чем Матичку Плохорукого. Но Митрий не достриг Егорку. В окно он увидал, подъехала Лизавета Петровна с нарядными детьми на паре савраcых, кони львы. Побыла у матушки-попадьи, привезла меду, а вот и для Елениных ребят оставила две осотины.

Как бы недоверяя родителям, что поскупятся дать детям, Лизавета отрезала по кусочку для троих и Егорке достался самый большой. Мед был такой сладкий, и так много, что, когда его Егорка съел, без хлеба, ему даже язык защипало. Никогда он этого не забудет. И полюбил он тогда тетку Лизавету и всех ее дочерей и сыновей и лошадей, как никогда еще никого не любил. И как будто никто и не заметил, что голова его так и осталась недостриженной. Гости спешили домой, Митрий спешил на пашню, посмотреть, нет ли сорной травы в молодых всходах.

Елена завесила окошки темными тряпками, отворила дверь избы, выгнала своим фартуком всех мух, уложила Андрюшку в его зыбку, чтобы в темноте мухи не будили его; наказала Оничке присмотреть за Фенькой, а Егорке не шуметь и, взявши с полочки, рядом с иконами, из стопочки тонких книжек, одну с большим крестом на обложке и с двумя ангелами по сторонам креста, стоявшими на коленях и ушла на крылечко почитать. К ней подойдут и присядут соседки посплетничать или пожаловаться на мужей или соседей и читать ей не дадут. Но она, слушая их терпеливо, будет отвечать из писания, пока те умилятся и попросят почитать вслух. Не поймут всего, но будут покачивать головами и утирать украдкой слезы.

Но Оничка! (Ударение, пожалуйста, на «о».) Вот давайте-ка посмотрим, что будет делать Оничка?

Прежде всего она покачает Андрюшку в зыбке, попоет ему одним, баюкающим звуком: о-о-о! Нальет ему в коровий, сделанный отцом, рожек немного теплого молочка из печки. Андрюшка высосет молоко, рожек опустеет и в нем появятся трубные звуки, похожие на кваканье лягушки. Оничка поймет, что он уснул и займется Фенькой и Егоркой, которые терпеливо ждут представления. Она возьмет их за руки, проведет в передний угол, под иконами и, усадит их по обе стороны возле себя, отодвинет тяжелый отцовский ящичек, наполненный всякой его рабочей «стремелюдией» — молоток, долото, разные шила, гвозди, ремешки, новые подметки для сапог и все, что ему пригодится в хозяйстве, и откроет перед зрителями свое царство. Там у нее куклы.

Все они сидели рядышком, по треугольнику, прислоняясь к стенке. И так как в избе полутемно и Андрюшка спит, то говорить надо полушепотом. Оничка начинает длинную беседу с куклами и говорит за каждую из них. Некоторые из них еще не закончены, волосы к головам не пришиты, есть даже голенькие, но это не стесняет тех, которые одеты, как барыни и сидят чинно-благородно и молчат.

И хотя они не все барыни, Оничка разговаривает с ними не по-просту, а на вы:

— Да вы проходите, садитесь, кумушка. Гостьей будете!..

Это одна из барынь, из одной руки Онички, приветствует вторую, во второй руке. Но та ей отвечает:

— Ах, некогда мне, родимая моя, сидеть-то... Мой-то собирается в шахты. Сапоги починяет, сидит. А квашня у меня никак не поднимается, дрожжи-то испортились. Не дашь ли ты мне булку хлеба до завтра?

— Ах, уж не знаю, кумушка, что тебе и сказать? У нас у самих-то мука вышла... — Обе кумушки кланяются одна другой и садятся на свои места. Ясное дело, сказать им одна другой больше нечего. Но за то другая пара говорит о другом.

— Ах, какая у вас, Марья Васильевна, кофточка красивая. Почем же ситец покупали?

— Да мой-то хозяин ездил в город с углем... Продал два воза и накупил мне вся-акого ситцу... Теперь опять собирается в леса, уголь выжигать...

До недавнего времени у Онички ни одного «хозяина» среди «барынь» не было. Это Егорка ей помог. Как-то стало скучно слушать все одно и тоже — бабий разговор, он и спросил сестру:

— А когда хозяин домой придет?

Оничка не сразу поняла.

— Какой тебе хозяин?

— Ну, «мой-то». Мужик?

Оничка задумалась. Правда, что «моего-то» нету. Потом, не сдаваясь и своему внезапному недоумению, сказала:

— Мужику нельзя сапоги из тряпочек шить.

— А я сошью ему из кожи, — похвалился Егорка.

Но он так и не собрался сшить кукольному мужу сапоги, зато хоть долго шил, но сшил барина, всего из черной тряпочки, штаны и курточку из одного куска, с пояском из синей тесемочки, но блондина, со льном на голове. Только он все еще стоит, сидеть он не может, штаны твердые, не сгибаются, и он босой.

Но, управляя действием кукол, исполняя все их роли и монологи, Оничка сама все время действует. Она всегда что-либо шьет для кукол или делает новые. На этот раз, коль скоро есть уже муж и хозяин, надумала она сделать и дитёнка. Но для этого все-таки обратилась за согласием ко всему кукольному обществу:

— Хотите, я вам сошью ребеночка?

И така как куклы молчат, она их еще раз спрашивает:

— А вам какого, мальчика либо девочку? — и тут же, уже не дожидаясь ответа, но угадывая общее желание всех кукол, она решает за них: — Хорошо, я сошью вам сперва девочку.

И пока она налаживала из белой тряпочки основу для куколки, Фенька, в обнимку со своей, до черноты зацелованною куклой, лежала тут же на полу и сопела еще с зимы простуженным носиком. Егорка же набрался храбрости, открыл отцовский сундучок и стал в нем рыться. Оничка предупредила:

— Не трогай, тятенька заругается!

Но Егорка показал маленький, желтенький кусочек кожи... Очень маленький, ничего из него нельзя сделать. Оничка молчанием дала согласие, тем более, что поняла: Егорка будет шить сапоги для барина. И уже сама достала из того же ящичка шило и строго сказала:

— Только не сломай.

Егорка нашел дратву и толстую иголку, и острый ножик с обломанным концом. Он работал напряженно и отвернувшись от сестры. Оничка увидела, что он проколол себе шилом руку. Но молчал, терпел, и тут же, чтобы кровь не пропала даром, покрасил ею желтый кусочек кожи в красный цвет. Зато сапожок будет

красный, для барина же, а не для простого мужика. Но кончить сапожка ему не удалось. В избу вошла мать, и Егорка спрятал и сапожок и окровавленную руку под себя.

Оничка его не выдала. Заговор был общий.

Мать сняла с окон темные тряпки. В окошко смотрело красное, перед закатом, солнце. Троицын День еще смеялся во всю ширину улицы и горел в окнах большого дома, напротив, на крыльце которого бабушка Касьяниха сидела с внуками и что-то им бубнила грубым мужским голосом.

Оничка задвинула свой кукольный мирок тяжелым сундучком, чтобы никто, а тем более бестолковая Фенька, не разбудил его и не потревожил.

Уже было темно, когда Миколка, грязный и голодный, вернулся с рыбалки. Поймал трех чебаков да маленького окуня. Рыбки пойманы еще днем, почти что высохли. Требовали немедленной чистки и просились на сковородку. Елена их поджарила без масла, на сметане, а Миколка настоял, что это для отца и матери, а сам он предпочел яичницу на молоке, и чай с гатрушкой, остатки от праздничного обеда. Он жадно ел и подробно, горячо рассказывал о том, как у него с удочки «сорвался» матерый, красноперый язь.

— Ну, прямо с поларшина!.. Удилище согнул в дугу, вот-вот сломается. Потом как шлепнется в воду... Рот те Христос, не вру!

Ну, ладно! — оборвала его Елена. — В поларшина язей, поди и Христовы рыбаки не ловили.

Миколка надулся и замолчал. Не тегите, не надо. Он и сам себе не верил. Обидно: целый день голодом, поймал три чебака... Если правду сказать, и тех не он поймал: он поймал только окуня, а чебаков его товарищи, но отдали ему, чтобы на следующий раз Миколку отец опять отпустил с ними рыбачить. Язей и окуней, и щук в реке Убе сколько угодно. Когда-нибудь и язя поймает.

IV

ЧЕСНОК И РУДОВОЗЫ

Ни дня ни часа не посидит Митрий. До Петрова Дня (29 июня старого стиля) еще две-три недели, можно бы в шахтах поработать, да затонило шахты. Не взяли на работу. Пришлось взять Булануху из табуна, поправилась, и жеребенок налился, немножко одичал, подрос. Два мерина, Игренька и Гнедой, за неделю на хорошей траве выровнялись, но зимняя шерсть от худобы еще не вся вылиняла: пусть еще походят в табуне. На Буланухе потихоньку, каждый день по возу, привозил хвороста из-за сопок. И не хворост это, а большие корни тальника, которые потолще: высохнут, зимой дадут больше тепла и жара хлебы печь. Егорку всюду брал с собой, а Николай помогал матери: огород полоть и по хозяйству.

Уезжал рано, выкорчевывал корни из ручьев, очищал топором от веток, оставляя вдоль ручья кучками. Егорка таскал их к телеге. Делил с отцом краюху хлеба, запивая из ручья же горсточкой. Трава местами была уже высока, но ягоды еще не поспели; Митрий отмечал и запоминал, где гуще цветет клубника. Находил и угощал Егорку «пучками» и «саранками»,*) и ревнем, а дикий лук служил им для прикуски с хлебом и водою. Вкусно и питательно. Иногда Митрий нарубит длинных ровных прутьев, из комельков, которые потолще, наделает черешков для граблей, а из вершинок сплетет корзинку и Елена радуется: будет в чем огурцы или картошку из огорода приносить. Головки для граблей и зубья Митрий делал дома, под вечер. Бородкой топора даже рисунок на них сделал, и наделал граблей на всю семью, по возрастам. Егорке самые малые. Охотнее на покос поедет. Нарубили дровишек, наложили в поленницу у стен избы,

*) Пучки — ударение на «у» —род высокой травы с толстым, сладким стеблем. Саранки — род луковичных корнеплодов.

проходят люди, одобрительно качают головой. Мужик пробойный, запас дров, до Рождества хватит.

Поправил прясло, поднер покосившуюся воротину, иначе трудно запирать, волочить по земле. Привез старой соломы на лед в погреб. Спаси Христос Анемподиста, дурачка, это он выкопал погреб в прошлом году. Ничего не взял, только Елена кормила и поила его да наряжала во все свое, женское. За женские наряды он уже не один погреб, а и колодцы выкопал в селе. Босой и бородатый, с волосами дыбом, в бабьей юбке, в кофточке, а если еще фартук белый или цветной на него наденут, он становится самым счастливым человеком на селе. Ходит по сопкам, распевает песни и всем при встрече кланяется в пояс, а иногда и до земли. Выкопал Митрию погреб, три дня копал без передышки, откуда и сила берется. А копать — дело грязное, сам он обливался потом, а юбку и кофточку ничуть не испачкал. Только фартук изгрязнил. Елена наскоро сшила для него второй, для перемены.

И вот этот самый Анемподист, греческим именем которого восхищался сам отец Петр, не понимая, как такое имя могло достаться дураку, подошел к Митрию и бросил к его ногам охапку свежего, зеленого чесноку. Дурак он был безвредный, мирный и сильный работник, за что и брат его, кузнец, держал в доме, сажал вместе с собой за общий семейный стол и никогда не жаловался на это бремя.

Митрий первый поздоровался с ним, как с равным:

— Здорово, Ампанис Лександрыч! Откуда столько чесноку?

— А из-за Убы, хо-хо! Там его мно-ого, хо-хо!

— А разве вода в Убе сбыла? На лодке переплыл, что ли?

— Не-ет, хо-хо. Броди-ил... Только до пояса-а, хо-хо! А я с на-алкой, хо-хо!

Оставил чеснок и ушел широкими, враскачку, шагами, дальше по улице.

Покачал головой Митрий, подобрал чеснок, попробовал: хороший, еще не перерос. А утром запрег Буланиху, взял лопату и топор, армяк и хлеб, посадил с собой Егорку и поехал на Убу. Ехать все под горку — три версты. Солнце только поднималось из-за гор.

Вода была в том широком месте, где был брод, еще глубокая и быстрая. Дно реки здесь вымощено гладкой разноцветной галькой, тысячами лет полированною быстрой горной речкой, через

которую на всем протяжении быть может два-три разлива, где можно переброднть на лошадях, опасно пешком, а выше и ниже река идет в «трубе»*) и так глубока, что переправа может быть только в лодке или на пароме. У Егорки замерло сердечко перед грозным шумом реки. Ширина ее здесь в четыре таких улицы, как между ними и Касьяновыми, а может быть и шире. Митрий стал уже подвязывать передок телеги к оси, чтобы не сплыл кузов, как жеребенок подошел к кобыле и через оглоблю потянулся ей под брюхо пососать. Егорка робко спросил отца:

— А жеребеночек как же?

Митрий посмотрел на Егорку, потом на жеребенка, подумал и сказал:

— Верно, сынок! На жеребенке ты поедешь впереди, а я на Булануха за тобой.

Егорка понял шутку и радостно захохотал. Митрий повернул телегу вдоль реки вниз, к устью речки Таловки. Там, он помнит, тоже есть заливные луга.

В устье речка Таловка не разливалась вширь, значит мелка. Перебрели, не заамочивши кузова телеги.

Заливные луга на левой стороне Убы начинаются вдоль крутого обрыва и все расширяются. Вода весной их заливает до этого обрыва, а по правую сторону реки луга еще шире, до ряда скалистых гор, все понижающихся вниз по течению и повышающихся вверх, почти до Шемонаихи**). Трава на лугу была еще не высока, как раз вровень с гнездами чеснока, который сразу же бросился в глаза Митрию знакомым сине-зеленым оперением. Не надо и за Убу бродить. И тут много чесноку, особенно поближе к тихой, заросшей кустами и камышами протоке. Из протоки образовалось нечто вроде озера, извилистого, синего, с отлогим берегом и твердым дном из гладких галек. Тут на бережку и распряглись, и начал Митрий копать чеснок широкою железною лопатой, а Егорка стал в подоле рубашенки таскать его к телеге. Давно так вольно и охотно не трудился Митрий. Не работа, а отдых. Вытрет пот с лица, поглядит на реку, на луга, на горы вдали за Шемонаихой и опять копает. И не заметил, как солнышко на полдень поднялось. Ушел по берегу заливчика подальше от телеги. Копает и копает, но вдруг вспомнил, что

*) Фарватер реки без проток и заливов.

**) Центр всей волости.

накопал уже много куч, а Егорка не берет. Егорка не идет. Воткнул лопату, сам понес чеснок. Смотрит, в траве виднеется Егоркина рубашка. Уснул? Нет, не уснул. Егорка бледен, как мертвец. Он угорел от чесноку, вот беда!

Митрий приподнял его, голова Егорки висит, и ручонки, как плети. Умирает, Господи, спаси-помилуй! Егорку вырвало, и в жидкости показались кусочки плохо пережеванного чесноку. Острая жалость захолодила сердце Митрия. Что делать? Он покачал на руках сынишку, и того еще раз вырвало. Ну, оживет теперь. Лицо покраснело. Митрий заспешил. Положил Егорку на траву, смочил рукав своей рубахи водой из озерка, обтер лоб и щеки сына, тот застонал, открыл глаза. Тогда Митрий быстро разделся сам, раздел Егорку и вместе с ним бросился в озеро. Вода была холодная, как из родника. Егорка сразу захватил в себя так много воздуху, что захлебнулся и испугался, заревел.

— Ага, — сказал Митрий, радуясь, что парнишка совсем ожил, и вместе с ним еще раз окунулся в воду и даже потащил на глубину.

— Ой, ой, тятенька, не бу-уду...

— Не будешь, а? А ну-ка, плыви сам! — и он бросил мальчика на глубину и тут же, громко смеясь и радуясь тому, что тот впервые ухватился за отца и борется за жизнь, подхватил, вынес его из воды и, надевши на него рубашку, стал корить:

— Дурачек ты! Кто же ест чеснок без хлеба?

Выкупавшись в холодной воде и чувствуя, что он и сам голоден, Митрий пошел к телеге за хлебом. Он отломил Егорке кусок краюхи и сам стал жадно есть его в прикуску с чесноком и запивая водой с пригоршни, но Егорка на чеснок даже смотреть не мог и хлеба съел немного. Несмотря на жаркое солнышко, Егорка задрожал, и голова его повалилась на колено Митрия. Митрий прикоснулся к его лбу рукою и почуял, что голова Егорки горячая.

Он принес из телеги свой армяк, нарвал камыша, постлал на землю и, завернувши сынишку в армяк, сказал:

— Лежи, согреешься, уснешь. — А сам поднялся и пошел копать чеснок. Копал и беспокоился о Егорке. Бросил копать, собрал и уложил в телегу весь чеснок. Получилось что-то много. Подумал: не нарубить ли дровишек? Нет, надо ехать. Запрег Булануху.

Егорка встал, сам дошел и сел в телегу. И попросил:

— Я водички хочу.

Никакой посудины не было. Тащить Егорку к воде не хотел. Митрий снял картуз, пошел к озеру и зачерпнул картузом воду. Вода процеживалась через материю, но в картузе ее было еще так много, что напоивши Егорку, Митрий смочил ему голову и побрызгал в лицо.

Егорка совсем ожил.

И когда они сели и поехали, Егорка опять робко попросил:

— А хлебца не осталось?

Митрий повеселел и даже пошутил:

— А чесноку не хочешь?

Егорка слабо засмеялся. Митрий подстегнул кобылу. Ожил парнишка. Надо поспешить. Дома мать лапшой накормит.

И теперь же, по дороге к дому, надумал Митрий прокатиться с чесноком в Змеёво — семьдесят верст. Там у него тетка, дядя, с ними повидаться. Но надо накопать еще. Этот очистится, увяжется в пучки, маловато будет.

Дома, за ужином, посоветовался с Еленой, высчитали дни и недели до разгара страды. Съездили с Еленой вдвоем на полдня, накопали вдвое больше. Обрезали, очистили, связали нитками в пучки. Потратили еще полдня, наготовили товару полтелеги.

Еще через день, отослали Булануху с жеребенком в табун, привели из табуна Игреньку с Гнедчиком. Хотел даже взять с собой Елену. Да где там? Она корчаги для сусла в печь поставила, да стирка ждет. А главное: гусята. Все эти недели Елена прятала гусиху с гнездом в углу двора, в особой загородке. Только что семь гусяток, поздньшков, вывелось. Она теперь каждое утро в сите носит их на огород, гусиха идет следом. Там у воды, на травке стережет сама, никому не доверяет, чтобы не дай Бог — коршун гусенка не унес или какой глупыш лапкой за кусты не зацепился. Если бы был гусак, ему бы доверила пасти, а дети зазеваются, не доглядят. Решил Митрий взять с собой Егорку для веселья.

Миколка открыто выразил протест:

— Опять Егорку?

Отец мягко, но решительно, сказал:

— А кто вместо хозяина тут будет?

Миколку это сразу успокоило. Даже польстило. Да, его не балуют, зато он все умеет. И на рыбалку без отца можно отлучиться. Уж этого язя, живым или мертвым он добудет. А не

добудет язя, так щуку или окуня во весь котел...

— Ух! Осетра бы. Да нет, осетры в Убу из Иртыша, говорят, не заплывают...

Напекла Елена подорожников-лепешек, сорвала и уложила первые огурчики. Наварили крутых яиц — в дороге Бог простит и взрослому яичко съесть. Приоделся, причесался Митрий, снарядили и Егорку, благо легко снаряжать. Ни сапог, ни шапки, новую синюю рубашку да тесемку подпоясаться, да бахрому на штанах подшили — вот и готов. На случай ветра и дождя взяли старый, домотканный полог, а у Митрия еще со свадебной поры было пальто, «тальмой» называли, черное, редко надевал его, по праздникам: сберег. Взяли подушку, Егорке по дороге спать в телеге. Начистили лошадей, хвосты подвязали узлами, чтобы подорожная грязь не тяжелила конский волос. Подправили и телегу, разогретыми прутьями увили обочины, чтобы чеснок не растерять, подвязали к задку логушку с деттем для смазки деревянных осей. Раненько утром сел молодчиком на облучек, одна нога согнута, другая на-отлет, взял в руки вожжи, задержался еще раз, повторил Елене и Миколке наказ о распорядке в доме; надвинул на лоб картуз покрепче, чтобы ветер не смахнул. Весело затарахтела деревянная телега по селу. Два-три раза притронулся к козырьку, по солдатски — встречным отдал честь привета. Митрия все знают, удалец в работе по найму, подсобит и без денег, и хоть изба уж восемь лет стоит на одну треть непокрытая, а в окошках на зиму выбитые стекла тряпками завешиваются, а все-таки семья — пять человек детей — под своей крышей, както с хлеба на квас перебиваются.

Вот теперь поехал Митрий чесноком торговать, все уже об этом знают, но никто не осудил. Дай Бог — дети малые, а нужда велика.

День был субботний. Бабы мели и мыли полы в избах. Выхлопывали с крылечек половики. Все ребятишки на улице. Большими глазами провожают Егорку.

Лето для бедноты — благодать. Вот ребятишки бегают босые, даже и впроголодь играют. И для взрослых, ни валенок, ни шапок, ни теплых шуб не надо. Благодать!

Но вот зима придет... Как их одеть, обуть, обогреть, накормить? — Вот забота, вот беда для бедняка!

Митрий пытается не думать о зиме, но этот теплый, летний день, досужий час его выезда на отдых, уж очень резко непохож на то, что ждет его семью зимой. Встает во всех подробностях одна ночь в Филиппов пост в прошлую зиму.

Пришел он из шахты домой, уже ночью, голодный, пальцы ног обморожены. Так устал и замерз, что есть не захотел, разделся и полез на печку.

Пока согрелся, Елена приготовила ему поесть, напоила чаем, он и решил купить Булануху и подумал вот о таком, как сегодня, теплом дне на пашне. Но спать не мог. Вдруг слышит: приближается и нарастает шум. В него врываются как бы стоны и посвисты. Ночь стоит морозная, с туманом, и в глухоте ее занесенная снегом его изба спит без огней. Миколка и Егорка спят на полу, укрытые старой, вытертой овчинной шубою. Холодные струи идут не только от обледенелой в притворе двери, но и из-под переднего, с иконами Николы и Егория, угла, где под лавкою от сырости и от мороза белеет иней. От шума, необычного в вечной тишине села, Егорка тоже просыпается и слушает, как с печки падает одно слово, похожее на стон:

— Рудовозы! — в этом слове Митрия звучит зависть, покрываемая тяжелым вздохом: — Эх — ма-а!..

А рудовозы идут уже мимо заиндевелых оконец, и скрип полозьев под тяжелыми корытами с золотоносною рудою переходит в нескончаемую и многоголосую музыку. Слышно, как в ухабах по глубокому снегу повторяется одинаковый глухой удар дровней и как одинаковым усилием скользят копыта лошадей и потескивает упряжь в напряжении вытащить тяжелый воз из этих ухабов.

Вздох Митрия проникнут горем потому, что рудовозы — справные крестьяне из больших алтайских деревень, и каждый из них может запрягать от десяти до тридцати коней, имеет крепкую сбрую, надежные дровни и корыто и имеет свой овес; тепло одет в шубу с зипуном и валенки. И шапка из барашка «своего приплода», и меховые мохнатые рукавицы шерстью вверх из шкуры собственной собаки. За лето и осень сеновалы и амбары у крестьян полны. В долгую зиму для зажиточного мужика прискучит лежать на боку, и вот он ждет, когда установится санная дорога. В другой деревне хозяев тридцать выставят две-три сотни подвод и пойдут бесконечной вереницей до города Устькаменна или до рудника Зыряновска — за рудой. Смешно сказать, но это правда: почти что двести верст до Змеёвского плавильного завода

горный камень доставлялся гужем. Это не та «золотая головка», что доставлялась из Риддерска в Змеиногорск и что содержала в своем песке часть отмытого золота, нет, это самый простой рудоносный камень, правда, очень богатый золотом и серебром, и медью, но тяжелый, и за доставку его платили до трех копеек с пуда. Пожива была не большая, но мужики, имевшие коней и упряжь все-таки считали, что кроме прокорма лошадей «зашибут по десятке с подводы» чистого, а то и больше. И вот они идут через село другой раз час и два. Долго во тьме ночи шум скрипучего обоза нарушает глухую белоснежную тишину, и сотнями подводы уходят в холмистые поля, к реке Убе.

Рудовозы ходили по подножию Алтая главным образом в «Филипповки», то есть в тот самый зимний пост, который после четырнадцатаго ноября (старого стиля) тянется до Рождества ровно шесть недель. В это время реки встанут, за переправы платить не надо, не надо мучиться на паромах с тяжелыми возами, а снега еще не так глубоки, и, главное, для ладного крестьянского люда всякий пост должен быть соблюден в труде и в воздержании. С Рождеством приходят Святки, сытый мясоед и свадебная развеселая пора. Если в семье не женят парня или не выдают девицу, то кто нибудь обязан погулять на свадьбе у родных или знакомых. Словом, во время мясоеда люди должны быть дома, семьи в сборе, и каждое воскресенье не только молодые, но и старые частенько выезжают покататься в самодельных саночках, с расписной дугою, на лошадях, в сбруе с медным, а иногда и серебряным набором. Да, понятен был вздох Митрия, который, в прошлую зиму не мог запречь и трех лошадей.

Все это встало в памяти Митрия, как в снах бывает: сразу, и все в лицах. Это тогда Фенька спросонья чего-то испугалась, закричала. Отец берет ее к себе и меняет голос-стон на ласковый и мягкий полушепот:

— А ты чего? Андрюшку разбудишь. Спи! Вот скоро Рождество придет, я Маньку заколю, всех жирными щами накормим. А мать сырничков наделает.

Вот это тоже услыхал Егорка и из-под отцовской шубы с пола передразнил отца: «Маньку заколю!..» Это овечку молодую, ягненком привезенную от тетки Жеребцовой из Таловска. С нею рос почти что год, играл... Такая попрыгунья, бегала за ним, вместе бегали по травке. Рога не выросли, а как боднет — повалишься, и норовит все сзади, чтобы не видел.

И начал пыть, даже захлебнулся, повторял Егорка:

— «Маньку заколю!.. Маньку заколю!..» А сам говорил, она может двух маленьких нам принести...

И помнит Митрий, как заступился за себя перед Егоркой:

— Ну, а как же? Без праздничка оставить всех вас что-ли?

Не смел спорить с отцом Егорка, а пожалел Маньку. Только он один и пожалел ее. Но не помогло это.

Пришлось Маньку заколоть. Выбежал Егорка по нужде во двор. Теплая, знакомая Манькина шкура лежала на поленнице дров, а по льду, около загородки, где жила Манька, разлилась и застыла Манькина кровь. Жаль было Митрию Егорку. Побежал он в избу с ревом, как будто его самого резали...

Да, тяжела зима для бедного люда. А сколько бедноты наряду со справными и не в одном ведь Николаевском руднике?.. Не один Митрий горе мыкает.

Как бы там ни было, вот в это светлое утро Митрий впервые в жизни почуял себя хозяином и даже решил использовать досужую неделю просто на прогулку в город Змеиногорск*). Повеселел мужик в дороге после мрачного полусна-воспоминанья. Ухмыльнулся спутнику, вытер ему нос, еще потуже натянул на голову картуз и присвистнул на лошадок. Бегут, елки зеленые, как заправские бегунцы.

Открылось поле. Зеленое, широкое, слева синеет река Уба, а направо — горы. Запел Митрий Лукич. Запел без слов, сперва тоненьким, как бы бабьим, голосом, а потом во всю силушку:

— Эх, ты весной-весной-ой, жавороноче-ек,
Эх, на приталинке-е да на завалинке-е.

И уж не своими глазами видел поле и реку и горы Егорка, а голосом отца, этим вольным, сильным голосом отца. Никогда он еще не видывал таким веселым, не слыхивал таким голосистым своего отца.

Но вот, когда переплыли на пароме реку и проехали большое крестьянское село Шемонаиху, отец остановил коней на распутьи двух дорог. Одна широкая, прямая — на север, другая, узкая — на восток.

*) В просторечии — Змеёво.

Тут, если бы заглянуть в Митриеву душу, можно угадать и нечаянное его сомнение. Ведь по прямому, широкому тракту в Шемонаиху из Змеёва как раз теперь должен возвращаться на паре своих лошадей с товарами богатый шурин, Павел Иванович Минаев с молодой женой, Грушенькой. Стыдно будет Митрию показать свой воз с чесноком и свою бедную сбрую и простую телегу с деревянными осями. И повернул направо, на узкую дорогу, в об'езд! Это будет чуть не вдвое дальше до Змеёва, но зато же и другая песня туда манит:

— По горам да по долам,
Нынче здесь, а завтра там...
Все разделим пополам —
Выйди, милый, к воротам.

День-ли солнечный, весенний, поманил его туда, в песне-ли он передумал все свои планы, но только не по пыльному большому тракту повез он свой чеснок и Егорку, а об'ездной, извилистой, местами грязной и каменистою дорогой, по предгорьям: по цветистым и лесистым, по крутым под'емам и спускам. Даже несмышленыш Егорка угадал, что это все он для веселья, для прогулочного отдыха надумал.

Глядел по сторонам Егорка, все впитывал в себя, ни спать, ни есть не хотелось, все бы смотрел и смотрел, чтобы запомнить, и маме рассказать. Маму вспомнил, с какой-то новой, сладкой болью вспомнил маму и пожалел ее, пожалел, что нет ее с ними, а то бы она сама все это увидала, и стала бы другим рассказывать.

Нет, это не был сон или сказка матери, в тепле, на печке или на полатях их избы. Это была правда-быль, которую всю по порядку и не вспомнишь.

Егорка просунул ноги сквозь свежие прутья, переплетавшие обочину телеги так, что верхушки высокой травы с цветками на грядках дороги щекотали пятки приятно и смешно. На траве и лепестках, деготь от телег, но это не беда. Ноги и так не отмоешь, грязные, в «цыпках». Но прохладная трава на грядках дороги густая и щекочет ноги, и ногам, и глазам весело. Ее заденешь ногой, а она позади телеги кланяется, дескать здравствуй и прощай. А там, по обе стороны все опять трава и разные цветы, высокие и низкие, и на лужках, и в косогоре. И все идут кругом, справа вся земля кружится в одну сторону, а слева в другую и

даже голова Егорки кружится, не успевает он крутить и так и эдак, не успевает все сразу увидеть. И только когда остановил отец лошадей, слез поправить шлею и седелко на кореннике, все остановилось, большое, зеленое, в цветах и в кустиках, все отгорожено от неба неровною стеною сопок, а дальше гор, синих, потому что далеких. А как опять поехали, опять все пошло кругом, в обе стороны. Устал смотреть, закрыл глаза, повалился на закрытый пологом чеснок и сразу заснул.

Проснулся от остановки лошадей. Солнце на закате. Лес, горная речка шумит по камням. Под большой елью избушка. Старичек, в белой длинной рубахе, говорит Митрию:

— А ночуй, ночуй со Христом! Лошадей не нодо путать, у нас лужек паскотиной обгорожен. Своих коней пускаем. Никуда не уйдут твои кони.

Тут уже все сон. Дедушка, избушка, елки, горы, речка быстрая и на лесной полянке много, много колодок с пчелами. Тут они провели вечер и ночь. Дедушка их угостил рыбками, называл их «хайрузами». В быстрых речках водятся. Спал Егорка крепко в избушке с отцом на полу, на мягкой постели из сухого мха. Утром отец разбудил его, когда солнце уже взошло, но было еще за горой.

Дедушка согрел им чай, дал меду и белый, мягкий хлеб. Такого Егорка еще не видывал. Даже Касьяновы такой пшеничной муки им не давали. И опять ехали долго, по горам и по долам, по берегу быстрой речки.

Должно быть Митрий вспомнил мать Егоркину, жену свою, Елену, когда нет-нет и запоет все то же:

— Выйду я на реченьку, выйду я на быструю...
Унеси ты, быстра реченька, лютое горюшко с собой.

Но отец был весел, ехал не спеша. Молчит, потом, заговорит, не обращаясь к Егорке, а оглядывая крутые склоны гор:

— Вот где дров-то можно запасти! Гляди — валежника сколько! А сухостой! Можно сруб рубить...

Хорошо кругом, так хорошо, что глаза смотреть устали. Опять уснул Егорка. Укачало на ухабах.

Долго ли, коротко ли он спал, когда проснулся, к телеге подбегали и лаяли собаки. Лают, злые, бросаются к телеге, к мордам лошадей. Смотрит, едут они по длинной улице деревни. Высокие дома, тиких он и не видывал. Окна крашеные, а ворота

и еще красивее. Высокие, с причудливой резьбой и в светлых звездочках из жести. Есть и малые и серые избы, а больше высокие, богатые дома и возле них, на заваленках, сидят люди, старики, старухи, в ярких сарафанах бабы, семячки грызут. Митрий едет шагом, чтобы не злить собак и любуется по сторонам с приятною усмешкой. И сам с собою говорит: а может быть и для того, чтобы Егорка слышал:

— Вот как живут люди! Вот как праздник празднуют!

А в это время от самых красивых ворот слышится голос. С длинной бородой старик, высокий и плотного сложения, машет Митрию рукой и кричит:

— Заезжай попитаться, странничек! Парненка-то, поди, голодный?

Не сразу, как бы неохотно остановился Митрий. Не то бедности своей стеснялся, не то время было еще раннее, а когда остановился, не сразу сошел с телеги, будто раздумывал, принять ли такое неожиданное приглашение? Не то он думал, что за постой с него возьмут деньги?

— А ты не стесняйся, — уже близко к нагруженной чесноком телеге подошел и с любопытством посмотрел на путников старик. — Заезжай, добро-пожалуй! Откуда Бог несет?

Митрий не ответил, слов не нашел. Молча повернул лошадей к дому, а молодая баба, должно быть сноха старого хозяина, открыла ворота.

Как в целое царство в'ехал в просторную ограду Митрий и первое, что ему бросилось в глаза: между длинными постройками амбаров и завозни, под навесом, друг на друге, высокими горками, лежали ящики из досок, похожие на гробы. А дальше, просто возле стен, без крыши, были такие же нагромождения — множества дровней, без отводин. Вот оно где, оборудование рудовозов отдыхает до зимы. Небось, подвод до тридцати отправляет за рудой — в глубь гор, до рудника Риддерского, а оттуда на Змеёво с «золотой головкой».

Когда Митрий слез с телеги, молодая баба, в широком цветном переднике с рукавами поверх сарафана, подошла к Егорке, взяла его подмышки и с ласковой шуткой высадили из телеги:

— Ой, да и нос-то — пуговка! А сапоги-то где ты потерял?

Приятно было это мягкое прикосновение пальцев к его носу ласковой, нарядной молодицы, но было стыдно за босые, грязные ноги.

Расширились-ли еще больше глаза и уши Егорки или позже отец все подробно рассказал домашним, только из этого богатого крестьянского двора вынес он и на всю жизнь запомнил столько, что и в один вечер не расскажешь. Прежде всего пшенная каша, желтая, густая, поданная в одной для всех чашке, в простой, отдельной от дома, стряпчей избе. Круглой деревянной ложкою сама хозяйка выдавила посредине каши ямочку и налила в нее подсолнечного масла, так что каждая ложка каши поневоле выкупается в масле прежде, чем попадет в рот. А к каше для запивки дали сусла целый кувшин. Сама нальет в малую деревянную чашку да опять подольет и все уговаривают оба, и старик и молодица:

— Да ешьте-поедайте! Питайтесь до сыта!

Сперва Егорка ел несмело, будто не верил, что есть на свете такой дом и такая каша и столько сладкого сусла — пей, сколько хочешь. А потом набросился так, что Митрию стало неловко. Сам он хоть и голоден был, а стеснялся. Еще в отцовском доме, под мачихой, приучен не хватать, не жадничать. Хозяева не расспрашивали, откуда и куда, блюли обычай: сперва накормить да напоить, а потом вести спрашивать. Радовались на Егорку: проворно ест, проворным будет на работе. А Егорка вдруг, как закричит, даже захлебнулся суслом.

— Што, што доспелось? — испугалась молодица. Даже подумала: не попала ли в сусло, не дай Бог, какая ягодная косточка?

Но Митрий понял: об'елся парнишка с голодухи. Уж очень все было и сытно и обильно. Так оно и было. Егорка схватился за живот и еле выкрикнул:

— Брюшко боли-ит!

Пришлось выводить его из-за стола. Неладно это вышло, но и тут хозяева все поняли и все устроили, благо, что другая постарше, молодица вышла из большого дома на крик и увела, куда надо, кричавшего Егорку. И только тут у оставшегося за столом Митрия старик спросил:

— Это один сынок?

— Да нет, — ответил Митрий и потупился, неловко ему было правду говорить: — У меня их пятеро: три сына да две дочки.

— А сколько старшему?

— С Вешнего Николы одинадцатый пошел.

— Ну, ничего, — сказал старик со вздохом, — со все Господь! — Но больше ни о чем не спрашивал. Только, когда

встал и пошел к выходу, прибавил: — А ты не торопись с от'ездом. Лошадей-то распряги, ночуешь у нас.

И прозвучало это, как приказ, которого нельзя не выполнить, а в то же время давила Митрия какая-то неловкость. И понял и не понял, почему и каждого ли проезжего старик зазывает попитаться, а его вот оставляет даже на ночлег? Он поспешил помолиться на иконы, поклонился молчаливой молодице, вышел.

Пока выстаивались его лошади, он еще раз, пристальнее осмотрел амбары, задние дворы, а за дворами сразу поле, обнесенное жердяною городьбой. Посчитал лениво пасшихся там телят. Одних телят насчитал четырнадцать. Значит, не меньше и дойных коров. Солнце было еще высоко. Егорка выбежал, с непросохшими еще глазами, но уже веселый. Митрий понял, почему и что случилось. Дело житейское. Егорка даже показал пальцем, куда его водили. Может быть и отцу понадобится. Смышленый. Митрий увидал в углу грабли, а в ограде, около амбаров, клочья разбросанного сена. Взял грабли, быстренько, умело все заскреб, почистил. Хотел и подмести да не нашел метлы и усумнился: хозяину может это не понравиться, чужой человек порядок наводит, но хозяин из открытых ворот увидел, поманил к себе. Митрий высморкался, вытер усы ладонью, вышел за ворота. Старик сел на большое, толстое бревно, короткое и старое; слегка потрескалось. Лежало оно вдоль стены, поодаль от ворот.

— Садись, отдыхай. Сегодня воскресенье, работать-то грешно.

— Да я ведь так, — сказал Митрий. — Привычка не сидеть без дела.

— Это дельно, дельно, — похвалил старик.

Но Митрий не садился. Он все еще не чуял себя равным, чтобы сесть рядом с таким почтенным стариком. Он отошел слегка в сторону и полюбовался крашеными воротами. Знатные ворота! Такие построить да покрасить, стоит дороже всего Митриева хозяйства. Старику понравилось, что он не проглядел ворота, а видимо залюбовался.

— Садись, садись, — сказал опять старик.

Митрий сел. Егорка стал возле него. Егорку старик больше как бы не видел. Повернул все светлое, в седине и с глубокими складками над переносицей лицо и прямо заглянул в глаза Митрия. Из-под густых бровей глаза шутливо улыбнулись:

— Ты што же это в Тулу с самоваром поехал?

Митрий не понял. Он сам над собою тоже ухмыльнулся и ответил свое:

— Да признаться, я впервые в этих краях. Можно было и прямо на Змеёво проехать. Тут, понятно, много дальше.

— Значит ты в Змеёво? А я думал, ты в горы чеснок везешь. А у нас его тут весной-то столько, что всего и не выкопать. Пропасть!

Митрий помолчал. Может и в Змеёво столько навезли, что никому и не продашь. Помолчал и старик, потом хихикнул и признался:

— Везде его тут пропасть, а вот никто во-время не накопает. У меня старуха всю весну на пасеке, рои сторожит, а бабы с холстами не управятся. А через неделю он перерастет — не угрызешь.

Напротив, возле такого же большого дома, сидели двое стариков и старушка. Ворота там не были так велики и даже совсем не крашены — признак, что не так богаты, а может быть и не успели. Дом еще не поседел от времени, значит новый.

Старик-хозяин крикнул через улицу:

— Данила, а ну-тко поди сюда!

С заваленки поднялся рослый, сухой и чернобородый, с проседью, мужик и не спеша перешел улицу. Он зорко оглядел лесину, на которой сидел хозяин и повысил голос:

— Ты што же, Силантий Иваныч, домовину-то себе потолще не запас? Ведь в эту ты не влезешь. Смотри как растолстел.

— Да эту я не для себя берегу, а для старухи. Для себя я вырубил тополевую, полегче. В пасеке лежит.

— А потрескалась, гляди, какая щель. Что-ж ты в дырявую ее положишь?

Силантий Иваныч даже на ноги поднялся, наклонился, пальцем показал на щель.

— И то правда. Сколько лет на бревне сижу, а не заметил. — Затем он сел, прищурился на соседа и произнес: — А кто ей виноват, старухе? Лет семь тому назад совсем умирала, да не умерла, а только время провела. Тут камень треснит, не то что дерево.

Старики вместе дружно засмеялись и Силантий Иваныч сказал:

— Садись — посидим, — и совсем неожиданно для Митрия спросил соседа: — Чеснок у тебя в доме есть?

— Чеснок? — Черная борода у соседа изогнулась, а глаза

уставились на Силантия. — А тебе какой: сушеный аль соленый? Надо у старухи спросить. — Да нет, — решительно тряхнул он бородою. — На Пасху тут у нас Апросинья захворала, вроде как холерой, дак старуха сама по соседям ходила, чесноку искала...

— И не нашла! — подсказал Силантий. — Вот и я говорю, чеснок кругом, хоть засыпься, а пойди по деревне, для больного человека не достанешь. А вот мужик пол-воза чесноку с Убы привез... Хочешь продам? — Силантий подмигнул Митрию...

Митрий не знал, что сказать, а когда хозяин повел соседа к его возу, он покорно пошел за ними.

До заката солнца весь чеснок мужики и бабы разнесли пучками по деревне. А для тех, кому не хватило, Силантий Иваныч придумал один и тот же ответ:

— Все расхватали, мне самому попробовать головки не оставили.

А люди приходили с другого конца деревни, как и узнать успели, что Силантий всем, кто хочет, чеснок даром раздает. Но по многу не давал. Два, много — три пучка на человека. Только первому, соседу Даниле дал четыре, хотя тот готов был купить десятка два. Не продал, сказал: хорошенького по немногу.

Митрий так и не мог понять, в уме старик или посмеяться над бедным мужиком решил? Распорядился, телега опустела. Народ на Митрия даже не смотрит, шумит, толкаются, тут же пробуют чеснок, жуют, всю ограду завоняли. Но острее и больнее Митрия принял эту шутку богача Силантия, Егорка, потихоньку хныкал и таскался по пятам отца.

А тут еще, в самые сумерки в ограду в'ехала телега, полная нарядных девок и парней и среди них сухая, невысокая старушка в темном сарафане. Это семья Силантия, да не вся, а только внуки. Сыны и снохи работали на «помочи» (Добровольная работа в поле или на постройке всех, кто может и желает провести весело праздник с пользою для соседа или для родственников, а то и просто для бедняка или своего удовольствия). В это воскресенье около сотни молодых баб и мужиков пахали, возили и укладывали в пруд дерно для мельника, у которого еще весною большой водой размыло плотину.

Так что когда наехало столько народу в дом и Силантий с двумя снохами, — а у него четыре женатых сына и четыре снохи, — затерялись в этой большой и шумной семье, Митрию даже кусок хлеба в рот не шел и он с Егоркой тоже затерялись и только

поздно вечером, Силантий вспомнил о них, да, это верно: не забыл и показал, где хозяйки отвели им место для спанья. При этом он погладил белокурые, неровно стриженные волосы Егорки и ласково сказал:

— А ты не будь бычком. Выростешь, ероем будешь. Как тебя звать-то?

Егорка не посмел поднять на большого старика глаза, но сам поднял к носу край подола своей рубашки и стал сморкаться. Ответил за него отец:

— Егором звать.

Он хотел было спросить хозяина насчет чесноку, но тоже не посмел. И подумал теми же словами, которые хозяин произнес, когда узнал, что у Митрия пятеро детей: — «Со все Господь!» — И стало сразу легче.

Спал он крепко, и даже проспал. Когда вышел на ограду, уже всходило солнце и лошадей возле его телеги не было. Наложенное с вечера прошлогоднее сено лошади не с'ели. Пройдя на задний двор, он увидел обоих меренов у колоды. Они даже прижали на хозяина уши: дескать, не вздумай отобрать. Овса насыпал нам не ты, а чужой, но добрый человек.

Ограда, дворы, пригоны, стряпчая изба и самый дом оживали будничной рабочей суетой. Все были одеты уже больше в холст и в кожу, на мужиках войлочные, пирожком, шапки. Видно было, что все работники уже сыты и веселы. Мужики собирались в лес, бабы выносили на телегу свертки домоткапного холста; поедут с ним на берег реки, мочить и расстилать, сушить и опять мочить и расстилать. Для Митрия это было не ново, но Егорка, продирая глаза, на все смотрел с испугом. Не привычно для него, что все старые и молодые веселы, говорят громко, но смеются, а не ругаются. Бабушка распоряжалась девками, старик-хозяин мужиками. Митрию не захотелось даже на глаза показываться — не посмел. И подумал теми же словами, которые хозяин произнес, Будь, что будет. «Со все Господь!» Но ясно, в Змеёво путь его окончен: торговать ему там нечем...

Но не забыл о нем Силантий. После всей домашней суматохи, когда ограда почти что опустела от раз'ехавшихся на работы мужиков, и баб, и девок, и парней, а осталась только мелкота да старуха, старик сам разыскал Митрия, усердно чистившего свежий на̀воз за амбаром, от своих и хозяйских лошадей. Егорку бабушка поймала еще раньше, строго увела его в баню, вымыла

и надели на него новенькую, красную рубашку и даже какие-то, от выросшего внука, но не по росту длинные для Егорки штаны. Отец Егорку не узнал, когда он, придерживая руками гачи штанов, чтобы не запнуться, прибежал похвастаться обновами. Синюю свою рубашку и холщевые штаны он положил в телегу.

Старик повел обоих в стряпчую избу завтракать. А тут уже и не расскажешь, как и чем угощали Митрия и Егорку и как старик подсказывал старухе, что положить в телегу Митрия перед тем, как он отправился домой. Щедры и обильны были эти дары от праведных трудов неведомых, чужих, странноприимных людей алтайского предгорья. Весело возвращались домой торговцы чесноком. Митрий не нудил лошадей бежать быстрее, не трогал их самодельным бичем, а только поднимал его в воздух и покрикивал:

— Эй, милы-ии!

Время от времени возьмет и запоет тонким голосом, по бабьи:

— Исусе Сыне Божий... Сыне Божий помилуй нас...

Пели это всем народом, когда ходили в засуху по полям молить у Бога дождичка и пели в перемежку, тяжело вдыхая поднятую пыль бездождия и смотря слезившимися глазами на знойное небо, засушившее все живое:

— Пресвятая Богородица, спаси-и на-ас, — затянул он полным голосом, но вдруг повернулся всем корпусом к сидевшему позади его Егорке и заговорил с ним, как со взрослым:

— Вот, сынок, какие бывают рудовозы. Я согрешил-подумал: смеется надо мной старик. А он мне надавал всего понемногу. Муки одной, пожалуй, с пуд, да полмешка пшеницы, да проса на кашу на целый год всем нам хватит...

— Да меду туясок, — в растяжку прибавил Егорка, слышавший и видевший, как бабушка в берестяном туясочке принесла мед и наказывала, чтобы крышка по дороге не раскрылась...

— Прямо Господь надоумил меня поехать об'ездной дорогой, — уже про себя сказал Митрий, смотря вперед и вниз с крутой горы, откуда открывалась даль равнин с богатыми коврами весенней зелени. И опять запел все то же:

— Исусе, Сыне Божий... Сыне Бо-жий поми-илуй нас...

Запомнил все это Егорка на всю жизнь. Запомнил он особенно, как отец менял голос: Богородицу пел полным, мужским голосом, а Иисуса тонким, бабьим. Оба голоса запомнит и заучит, чтобы повторять точь в точь, как пел отец.

V

СТРАДА

Итак, — у Митрия была передышка

Ехали Митрий и Егорка обратно из гор на-легке, все под гору, попутно с течением речек, не спешили. Уж очень неожиданно и быстро распродал Митрий свой чеснок и до Змеева доехать не удалось, а сделали в горы путь более длинный, нежели до города Змеёва. Жаль — не удалось повидать дядю и тетку, стареньких; не видел их уж года три. А не вернуться-ли, не поискать-ли спрямления на Змеёво?

Да, нет уж, нечего людей смешить, с пустым возом на базар...

Не привык Митрий думать по порядку. Скачут думы с места на место, как блохи. А хочется забыть домашние заботы, погулять на воле. Смолоду не удалось повеселиться. С девяти лет по шахтам и забоям, по штольням и в купоросной воде... Хорошо, если унес ноги здоровыми, не искалечил кости, а поломало их за двадцать восемь лет... Да, выходит почти тридцать лет шахтером, а самому нет еще и сорока.

Но тут ясно встала перед ним невысокая, прямая, строгая фигурка дяди Петра Спиридоныча, когда он видел его в последний раз. Тетка, сестра Петра, худая, некрасивая старушка об одном глазе, хлопотала с завтраком, а Петр Спиридоныч собирался в церковь натощак. Он надел на себя кафтан, пожалованный ему за пятьдесят лет беспорочной службы царю-отечеству в горном деле, с полинявшими, когда-то золотыми, позументами по борту и подолу, и с медалью на груди. Причесанный, чистенький, румяненький, он ходил прямо и видел зорко.

— А ты спроси его, — сказала тетка —сколько ему лет?

И Митрий спросил.

Старик ушел к себе в комнату и оттуда вынес и подал Митрию пожелтевший от времени указ с печатью. Спросил у Митрия:

— Читать по писанному можешь?

Митрий мог читать и по печатному и по писанному, но не смел читать вслух, а прочитавши про себя понял, что это и есть указ о чистой отставке с пенсией и почетным кафтаном за пятьдесят лет беспорочной службы. Там же было сказано: вести себя благопристойно, усов и бороды не брить, милостыни не просить...

— Вот и считай. В молодости я проштрафился. В последний раз меня наказали, когда мне было двадцать семь, а с тех пор — пятьдесят лет ни разу не били, ни разу не проштрафился. Вот за это и указ. Значит семидесяти семи — указ и чистая, а пенсию я имею честь получать четырнадцать лет. Значит и считай сам...

Да, выходило что ему было уже за девяносто.

Вспомнивши дядю, которому теперь девяносто пятый, Митрий невольно вспомнил и о своем отце. Сколько же Луке Спиридонычу? Он моложе тетки, значит далеко позади дяди Петра Спиридоныча, в все-таки ему тоже под семьдесят, а смотрите: последние дети от Соломеи Игнатьевны еще малыши. Самому младшему, Косте, не больше семи, почти-что ровесник Егорки. И отсюда Митрий сделал вывод:

— Вот кряжи люди в моем роде! — Тут он вспомнил и свои годы — еще нет и сорока, значит рано щупать свои кости. Еще ни одной не сломано. Сколько Господь продлит веку — даже и кукушка может обсчитаться, а все же слава Богу силами и здоровьем его Бог не обидел. Пусть кто-нибудь другой в его сапогах так спляшет, как ему приходится.

Думка прыгнула прямо в его сегодняшний день. Хорош денек, и есть еще в запасе два-три таких денечка. Погостить бы у кого-нибудь, больше таких дней не выпадет. Страда вот-вот настанет, горячая, такой еще в жизни его не бывало. Одному с бабой да с Миколкой убрать три с половиной десятины во-время, да сена накосить, сгрести, сметать в стога — ой, Митрий, кость у тебя должна быть стальная!

Да, Митрий почуял себя в соку и в самых сильных днях и месяцах трудоспособности, а погулять бы два-три дня не мешало.

Заехал к дедушке-пасечнику. Не распрягая, спустил с седелки, чтобы коренник мог наклоняться к траве: дал лошадям поесть травы, благо тут же росла она густо. Поговорил с дедушкой, рассказал ему о том, что с ним вышло у Силантия. Пасечник как раз был сватом Силантия: как же, как же, люди они могутные, хлебосольные. Вышло так, что и сам дед-пасечник пошел

в свою избушку, взял сетку и дымокур, парезал Митрию гостинцев, опять же сотового меду на радость и счастье Егорки. И ночевать приглашал старик, да нет, надо потихоньку ехать дальше. Но перед тем, как подтянуть чересседельник, Митрий расспросил дедушку о том, знает ли он, как и где будет свороток па казачью станицу Талицу? Это совсем не по дороге в Николаевский рудник, но не так и далеко. Верст семь от пасеки, спросить дорогу на Кабаниху, а там, не доезжая до спуска па долины, повернуть налево и там на заимках скажут.

Вместо того, чтобы ехать домой, Митрий опять поехал по новым местам и опять у Егорки закружилась голова от новых спусков и под'емов, от быстрых речек и зеленых, зеленых пашен и лугов, где все кругом цветы и травы... Стой!.. Клубника! Так и есть, на южном склоне, у дороги клубника краснела гроздьями, да крупная! Остановили лошадей, свели в сторонку, опять спустили с седелки, пусть похватают, трава тут сочная, хватают во весь рот. Скинул Митрий свой картуз, быстро наполнил, отнес в телегу, ссыпал в угол старого полога, пошел опять брать. И Егорка рвет клубнику, горстями, пополам с травой. Ничего, мать очистит, зато еще ей привезут гостинцев. Вот Бог надоумил поехать этой дорогой! Митрий, как ребенок, радуется и сам уже наелся клубники и Егорку уговаривает: «Не об'ешься, сынок!» а сам ест какие похуже, а те. что самые отборные — в картуз. Смотрит, чем дальше по косогору, тем больше и крупнее ягода. Пошел к телеге, распрег лошадей, пустил их на траву, выкатались они всласть, с перевертом на оба бока, пошли на свободе в самую визиль-траву, что цветет голубыми крошечными цветиками — лошади ее любят больше всех других трав на свете. Уже и картуза таскать клубнику стало мало. Пришлось оторвать уголок старого полога. Набрал клубники не меньше трех ведер, солнце покатилось к закату. Попоили лошадей в ручейке через дорогу, запрягли; Митрий прищелкнул бичем, покатил полной рысью, чтобы до Талицы доехать засветло.

Талица не настоящая станица, станичное управление, Чарышское, далеко, но казаки везде живут иначе, нежели крестьяне, и поселок Талица в садах; дома, как игрушки, во всем чистота и порядок. Митрий был здесь еще в молодости и не знал, как велика семья Воробьевых, но самого Воробьева знал, вместе гуляли на свадьбе Павла Иваныча Минаева, когда выходила за него Грушенька.

Спросил у первого прохожего. Тот охотно указал:

— Вон видишь новый, большой дом с палисадником. Это и будут Воробьевы.

Опять пришлось пригладить волосы, вытряхнуть из картуза застрявший там мусор от клубники, осмотреть, в порядке ли Егоркин нос. Хозяина дома не оказалось, но хозяйка, разбитная, полная казачка, она же и работница за всех и глава дома, просто и приветливо приняла гостей, а через полчасика приехал на коне и сам Воробьев, высокий и усатый, с легкой сединою, статный казак. Узнал и крикнул через двор молодому, стройному сыну:

— Никитушка, распряги лошадей! Милости просим, милости просим, Митрий Лукич! Да как же не помнить? Когда мы ездим в Семипалатинск, мы всегда гостим у Павла Иваныча. Дружки закадычные.

Митрий никогда не пил ничего похмельного, кроме случаев, когда уж неловко отказаться. Так и тут, угостил его крепким домашним пивом, не казачьего изделья, хвалиться Воробьев не хотел, а пиво медовое, староверческое.

На слово Воробьев был остер и все в доме понимали его с полуслова. Как по щучьему веленью и ужин подан и соседи-гости набрались и молодежь, не знаешь, кто и чьи. Выпил Митрий и развеселился. А, когда он весел, он любил рассказывать причуды своего отца, когда тот выпьет и куражится.

— С горя мой отец никогда не выпивал, — рассказывал Митрий, — а как какая-нибудь радость, обязательно выпьет. Ну, вот, приехал к нам большой горный начальник, ревизию производить. А отец мой знал, что у инженера нашего не все в порядке. А кто будет в ответе, он же, мой отец, потому что он был уставщик и все конторщики были под его началом. И удалось ему наговорить начальнику какие-то там турусы на колесах, все прошло, начальник был совсем голоусик, молодой. Мало смыслил в деле. Отец получил от нашего горного инженера десять рублей награды. И вот он выпил, ходит по руднику, кричит:

— Ничего не боюсь, никого не страшусь! Народы, каналья возьми! Народы!

Понравился этот рассказ и хозяевам и гостям, а Митрий с места сойти не может. Голова работает и язык ворочается, а ноги не несут.

— Ну, это ничего, — говорит Митрий и лицо его стало

розовым: он силится поднять руку к узкой, темной своей бородке и с трудом нащупывает ее, а Воробьев утешает:

— Да ты не бойся: борода твоя на месте. А ты расскажи нам еще что-нибудь.

Митрий отыскал глазами Егорку и грозит ему пальцем:

— А ты не знаешь, что надо делать? Ты видешь, что я не могу с места сойти? Ты сын Митрия Лукича, ты внук Луки Спиридоныча, ты внук Петра Исусыча. Помни это. Иди сюда, я нос тебе вытру.

Когда Егорка, испуганный тем, что никогда отца в этом состоянии не видывал, подошел к отцу, Митрий вытер ему нос, хотя нос его был в порядке и наклонившись к нему сказал:

— Попроси у хозяюшки корзинку либо ведро и принеси из телеги по-олное ведро клубники. Для всех хозяев и гостей. Свежая, по дороге набрали...

И пока его отговаривали, пока Егорка искал корзинку, а сама хозяйка пошла и принесла полведра ягод, в комнате был шум и смех и веселье. Митрий поднял указательный палец правой руки и вышло так, что стих весь шум и гам и клубника в ведре оставалась нетронутой, а он в тишине левой рукой поманил Никитушку и подмигнул ему так, что тот замер от смущения.

— Ты бравый будешь казак, воин царя-отечества! Я тебе хорошую невесту сосватаю...

Наступила некоторая заминка. Никита посмотрел на отца, потом на мать, а мать его придвинулась к Митрию:

— Да твоими бы, Митрий Лукич, устами мед пить! Мы, ведь, только что об'ехали все станицы и не нашел Никитушка по сердцу. А нут-ко скажи, кто она такая?

— А вот я знаю, как увидит, так возьмет! Не оторвется! Племянница жены моей Елены Петровны, Ольга Жеребцова, рудника Таловского, Шемонаевскай волости, Змеёвского уезда... Кушайте на здоровье клубнику! — Он сделал над собой усилие, поднялся на ноги и нетвердою походкой пошел к ведру, взял его и понес вкруговую угощать всех клубникой, каждому полная горсть, не чищенная, с усиками, но спелая и сладкая, как мед.

Клубника ли наворожила, пиво ли крепкое, но покорил Митрий всю семью и запало его слово об Ольге Жеребцовой на сердце Никитушки. Не будет он ждать, пока родители соберутся посылать сватов, а сам оседлает своего коня, уже одобренного станичниками для отряда, поедет, как бы случайным, спрашива-

ющим дорогу всадником и сам увидит, какая такая Ольга гуляет на свободе по горам Таловского рудника? И так и будет и при первых же снегах загремит колокольцами многих расписных саней и пошевней свадьба. Егорка впервые увидит свадьбу и красавицу-невесту в подвенечном платье, ту самую Ольгу, которая два года тому назад толкнула его в нос скелетом смерти. Но до зимы еще далеко. Впереди поездка домой с такими новостями, которых он маме даже рассказать подробно не посмеет: Тятенька был пьян и просватал Ольгу.

Шум у Воробьевых продолжался долго. Егорка затянулся в уголок в другой комнате и уснул. И не знает, кто и когда перенес его на хорошую постель в горницу, где он проснулся под усмешку отца, который был весел, как и вечером. Угощали их опять сытно и обильно и выехали они уже, когда солнце было высоко на небе. Оказалось, что дорога идет через Кабаниху, а оттуда до Шемонаихи, все подгору; телега сама катится, лошади не успевают ноги подставлять.

Был будний день, улица, по которой Митрий весело подкатывал к своему дому, была безлюдна. Солнце клонилось к закату. Еще не доезжая до своей избы Митрий увидал, что с его крылечка сошел и направился вверх по улице, ему навстречу, ни кто иной, как сам Иван Никифорович, важный, осанистый, в белом кителе и в фуражке с кокардою, горный лекарь. Он не узнал Митрия, прошел, ответив на поклон легким мановением руки. В руках его был саквояжик, тот самый, с которым он посещает больных. Митрий знает, что лазарет давно закрыт, стоит пустой, а лекарь в отставке и давно по больным никуда не ходит и не ездит. Сердце Митрия захолодело. Опять что-то случилось с Еленой, что-ли? Он даже сдержал лошадей и под'ехал к дому шагом.

Навстречу выбежала Елена. Лицо ее было без улыбки приветствия. Глаза заплаканы. Она ни в чем невиновата. Наоборот. Если бы, пользуясь отсутствием Митрия, она отпустила Миколку на рыбалку, с ним не случалось бы этого несчастия. Вместо рыбалки в это воскресенье он сам вызвался поехать с другими ребятами на помочь. Плотину на мельнице Шмаковых на речке Таловке еще весной размыло и Шмаковы устроили

помочь: за хороший обед и угощенье, все, кто могут пахать, возить и укладывать дерно, собрались на мельницу. Миколка был ездовым на чужой лошади. Ехал с возом дерна, попала вожжа под хвост лошади, он наклонился выпростать вожжу, лошадь понесла, ударила его копытом прямо в... последний глаз.

Разве можно об этом что либо сказать? Но и молчать нет сил. Повела мужа в избу, как на эшафот. Миколка лежал с обвязанной головой, стонал и неизвестно, что сделал лекарь, но мать видела: залитая кровью голова Николая была сплошною раной и правого, здорового глаза не было видно. Одна белая кость над глазом, вся бровь сдвинута на лоб. Да разве можно у матери спрашивать, как это было и что будет? Митрий и не спрашивал. Но и плакать не было слез. Одно ее удерживает на ногах: Иван Никифорович после первой перевязки — сегодня уже третий раз, — сказал, что кость не раздроблена и что глаз не вытек... А сегодня он ничего не сказал, только улыбнулся ей и ушел. Елена бросилась на колени перед иконами и причитая, умоляла Богородицу спасти и помиловать несчастного мальчика... Самый же он старший и работник, как большой. Господи, Господи! — Слова молитвы не выходили, они проглатывались вместе со слезами отчаяния...

Митрий неохотно распрягал лошадей, без радости выгружал подарки, но Оничка и Егорка вместе дружно помогали отцу и матери и оба молча плакали и не могли остановиться: вытирают рученками слезы, а они все катятся. Не высыхают.

Митрий вошел опять в избу, несмело подошел к постели, потрогал рукою худенькую руку Николая, тот застонал, потом с трудом трясущимися, припухшими губами вымолвил:

— Я уж ничего... Только как ты без меня со страдой управишься?..

Митрий, крепкий человек, никогда не плакавший, не мог выдавить из себя ни одного слова. В горле его стал комок, слова застряли. Наконец, он пересилил себя, ответил:

— Ничего, сынок, лишь бы тебя Господь поднял...

Дело одинокое

У всякого человека есть свой способ утешаться. Микола в памяти и может говорить: слава Богу, изувечен не до смерти. А когда еще через неделю, лекарь с трудом раскрыл все еще закрытый опухолью зрячий глаз Миколы, он даже взвизгнул:

— Я тебя вижу, вижу!

Это он крикнул стоявшей в темноте матери, которая ни разу не осмелилась спросить Ивана Никифоро́вича, может-ли Микола видеть. Боялась, что ответит: нет.

Митрий с Оничкой и Егоркой был на покосе. Нынче сенокосный надел ему достался по жребию за Убой. Река еще больше убыла и бродить было не опасно, но в глазах Егорки и Онички всегда смешивались страх и смех от щекотки быстрых, заливавшихся в телегу, весело бурливших струй воды. Митрия это тоже отвлекало от его сразу навалившихся на одинокие плечи забот и самой острой тревоги за Миколку: ослепнет парень или Бог милостив? И когда, в конце недели, он вернулся со своими босоногими помощниками домой и услыхал добрую новость, что Микола видит, радость его сразу вытеснила все заботы и влила в его кровь и мускулы небывалую еще силу и ловкость поспевать везде, на удивление соседям. Он даже выгадал два дня, чтобы вместе с Еленой поехать на покос Касьяновых.

Встать надо было до зари, разбудить детей, накормить больного, наказать Оничке весь распорядок дня, еще дома отбить и наточить косы, поспеть на завтрак в дом Касьяновых, у которых работали другие мужики и бабы, не засидеться за едой, но и не остаться голодными. Косьба дело мужицкое; бабам потому и платят половину поденной платы, но и бабы не хотят отставать от мужиков. На две телеги садятся вряд, с одной и с другой стороны телеги по четыре человека, косы между колен, черешками вниз, стальными частями вверх и в стороны, так, чтобы блеск кос веселил глаз каждого. И с песней, умеешь — не умеешь петь — подтягивай.

Запряжки несутся, местами рысью, а местами и вскач, чтобы на покосе быть как раз, когда роса на траве чуть подберется. Все косари приодеты, и не пристало даже бабе быть босою. Елена надела праздничные свои башмаки; веселье, смех

и шутки тоже надо разделять умеючи. А когда хозяин стал первым в ряду косарей, выпрямился, поставил перед собою косу и зазвенел оселком, музыка всех кос разносится по лугу, как зарядка силы и соревнования.

Кирила не пойдет быстрее других, он только пошире расставит длинные ноги, и прокос его будет широк и чист; под прокосом всякая былинка должна упасть, чтобы потом, когда будут грести сено, грабли не цеплялись бы за нескошенную траву. Пример этот для всех — безмолвный приказ всем косарям и особенно же бабам. Не жалуйся, что коса у тебя тупая — должна быть острой; на половине покоса останавливаться тоже не годится, весь караван затормозишь.

В этом ряду из шестнадцати косарей, шестою идет Елена. Она знает, что есть среди баб такие, которые и мужикам не уважат; знает и то, что она со всеми устоять не сможет, но и не имеет права показать свою слабость. Прокос ее гораздо уже мужского, но захват на косу должен быть таким, чтобы шаг не уменьшался, следом за нею идут еще десять косарей. Хорошо, что следующим идет Митрий. Его размах косы не уже Кирилова, потому что он идет в поясном поклоне и бережет свои и Елены силы.

Впереди еще десять часов косьбы, с часом на обед, с коротким перерывом на паужину. Но этот час в обеде Митрий сократит, чтобы успеть отбить и наточить косы, главным образом для Елены. Свою он и так протянет до вечера, но Елену он не то что жалеет, а спасает от насмешек баб-сплетниц. Но Кирила зорок и со смыслом. Он знает, что баб нельзя равнять с мужиками, но нельзя их и отделять в особый бабий ряд: обидятся не только бабы, но и их мужья. Все хотят быть равными и не ударить в грязь лицом. Один, второй, третий ряд прошли — лугу убыло полдесятины.

— Стой, мужики! Покурим, — кричит Кирила.

Не все курят, но остановка дает передышку бабам. Кирила знает, если всех их сразу надсадишь, за целый день не выжмешь из них того пота, который нужен для хозяина. У него гурт скота и лошадей до сорока голов да полсотни овец. За два дня с шестнадцатью косарями надо рассчитывать, что можно осилить. Но и кулаком Касьянова никто не назовет. Выжмет пот, но не до крови. Тем и слывет, никому в нужде не отказывал. Митрий и Елена это знают и стараются на совесть и до предела сил. Но не хватает сил у Елены. Не то, что она старше прочих баб, а то, что дети

высосали кровь смолоду, не раз и так рожала преждевременно и мертвеньких, а надо силу дать, надо не показать не только слабости, но и усталости на загорелом, влажном от пота лице.

И кричит ей Митрий, идущий за нею следом:

— А ну-тко. Елена, заводи песню!..

Во взмахи косы, в тяжелую одышку от усилия махать и не отставать, тонкою, дрожащей болью вонзается одинокий женский запев веселого мотива·

— Эх, во-о лузьях, эх, во-о лузьях...

И все впереди и назади Елены подхватывают знакомую хоровую песню:

— Во лузьях, лузьях, в зеленых, во-лузьях,
Выростала трава шелковая,
Расцвели цветы лазоревые.

В этот плясовой мотив не сразу укладываются взмахи кос, но скоро их одномерный блеск на солнце вливает силы в руки косарей и кажется каждой уставшей бабе легче дойти до канца прокоса и остановиться для точки кос и для перемены песни на другую, более протяжную, когда грудь свободнее наберет воздуху и поможет начать новый ряд. Но ряд косарей так длинен, что когда заходят для начала нового прокоса, косари, отставшие, еще не кончили, но и им нельзя не петь, нельзя показать, что невесел их труд и что душа уже рассталась с телом.

Долго тянется время до обеда, долго катится солнышко к закату, пока все косари, опять с песнями, теперь уже без одышки, едут домой и поют на обеих телегах разные, протяжные, помогающие отдыху, песни.

Так оба дня выдержала Елена, самая многодетная и самая несвычная к мужской работе, но дома она сваливается и зовет бабушку Колотушкину, все еще бойкую и хлопотливую старушку, живот поправить.

С молитвой намыливает руки бабушка и правит живот Елене обеими ладонями все вверх и к середине, мягко и долго массирует и воркует, воркует так успокоительно, пока Елена заснет, а бабушка выгонит всех ребятишек из избы, а если Андрюшка куражится, возьмет и унесет его к себе. Дал Бог такую бабушку-соседку, чтобы через день-другой поднять больную женщину на ноги и поставить снова в ряд жниц или гребцов сена. А как она

справляется с хозяйством, как успевает поправить все еще больного сына-большака, напоить, накормить остальных, починить для всех и выстирать, испечь хлебы, — об этом без слов расскажут тяжкие вздохи, стоны и невыплаканные слезы страдной летней поры.

Бывало, идет с косою становиться в ряд с другими, видит на прокосе спелую клубнику и нет минуты наклониться и сорвать и прохладить пересохший язык. Что скажут люди, которые проходят также мимо сладкого соблазна, чтобы ничем не проявить слабости. И тогда эти крупные, спелые ягодки кажутся каплями запекшейся крови. А может быть это только кажется Елене потому, что пот заливает глаза и по временам темнеет зеленая трава. Нет, это значит, опять Бог за грехи наказывает, значит опять «понеслась»...

Все чаще болеет Елена, все реже вывозит ее Митрий на пашню. А страда входит в самую горячую пору. Поспел ячмень и подсохло скошенное за Убою сено. Не дай Бог — пойдет дождь, сгниет сено в рядах, надо поспевать сгрести его хотя бы в копны, но как, без Елены метать стога? Микола только что кое-как взбрел на ноги, рана у него все еще не зажила, хотя он из-под повязки уже видит и все время силится повязку сдвинуть выше на лоб, поэтому и не заживает рана. Он рвется на покос и на пашню, но нельзя еще: там сено попадет в рану или в глаз.

— Нельзя, сынок, лекарь сказал: не будет лечить, если раньше времени начнешь работать. Сами как-нибудь справимся.

Это значит: Оничка и Егорка, двое заменяют Николая, но где им заменить Миколку? Он уже в прошлом году работал на поденщине у других вместе с матерью. Но Егорка неотлучно ездит с отцом всюду, даже Оничка так не умеет лошадь спутать, напоить, принести воды в котелке, топтать копну сена, а недавно даже стал и копны возить. А вы знаете, как в Сибири возят копны?

На лошадь надевается хомут со шлеей, к одному гужу привязывают веревку так, что она тянется во всю длину позади лошади. Егорка сидит верхом без седла, едет вокруг копны. веревка тянется за ним вокруг той же копны. Оничка — ох, она на все дотошная! — привяжет конец веревки, петлей, чтобы легче развязать, к второму гужу, а сама идет и склоняется позади копны, что-то там с веревкою колдует и кричит:

— Ступай! — И копна тащится за лошадью, ни клочка не

потеряется. Так отец ее научил, только раз показал, как надо чуточку веревку потянуть и ослабить, намотать на нее немного сена и копна поедет сама.

Но метать стог сена, вот это для Митрия мука. Все надо самому: копны делать можно короткими вилами, а стог метать нужны подлиннее — полустоговые, а потом и самые длинные, стоговые вилы. Такие вилы он нынче сам сделал, почти-что две сажени длинною. Когда сдвинуты в треугольник три копны вместе, между ними сено укладывается копенными, короткими вилами, но когда стог выростает выше головы самого высокого человека, тогда нужно орудовать стоговыми вилами. Не мудрено взять из копны пласт сена, мудрено его поднять и бросить на верх.

Тут нужна смекалка, как поднять тяжелый пласт и не сломать вил? Вилы гнутся, сено из рожков вил вываливается, нужно ловко воткнуть нижний конец вил в землю и упереть одним коленом в рукоятку вил так, чтобы пласт приподнять вверх, потом перехватить руками выше и побежать вперед так быстро, чтобы пласт сена взлетел на воздух и уже только тогда можно нести его куда угодно, сохраняя равновесие. Но ведь на стогу кто-то должен подхватить пласт граблями, удержать, уложить плашмя на нужное место и все время утаптывать середину стога так, чтобы, не дай Бог, не оказалось впадины, в которую прольет дождем всю середину стога.

Вот это все, без Миколки и Елены, Митрий должен делать сам. Как ни делай стог высоким, он все равно к осени сядет наполовину, а потом к зиме совсем будет лепешкой. Занесет снегом так, что его зимой и не найдешь. Значит, чем выше стог, тем сохраннее, да и людей смешить не хочется. Вот Митрий и ухитряется: поставит лошадь в хомуте с веревкой у гужа на другую сторону стога, перекинет веревку через стог и по ней с противоположной стороны влезет на стог, уложит, утопчет, начнет скат крыши, так чтобы вода сбегала, как с соломенной крыши и опять спускается вниз, сам вздымает тяжелые пласты наверх, а потом опять лезет на стог. Но самую верхушку надо сделать острой, не сходя со стога, а кто подаст сено для завершения острой верхушки?

Бросает конец веревки вниз, учит Оничку, как наложить на веревку сена, как завязать снопом, но у нее нет опыта, сено рассыпается, пока его дотащит Митрий наверх. А день уже на закате. На западе тучка показалась. Лопается всякое терпение,

вырываются недобрые слова, поганят воздух. Оничка плачет, Егорка плачет. Жаль их Митрию, но укротить себя не может. Сползает со стога, навязывает на веревку сена больше, нежели хороший сноп, тянет вверх, а веревка с сеном сворачивает на сторону то, что он уже завершил. Опять все надо снова начинать.

А солнце уже закатилось и дождик стал накрапывать. Это уже несчастие. Если помочит хоть немного незавершенный стог, все сено в нем пропадет, сгниет, весь труд и золотое время и спокойствие души — все погибнет понапрасну. И вот лезет Митрий снова на стог, наскоро снимает с краев его что можно, утаптывает середину, вершит как может, только до после дождя. В первый же солнечный день, придется часть сена сбросить, накосить, высушить и привезти две-три копны нового сена, завершить как следует и укрепить «вицами».

Это значит положить на верхушку стога несколько длинных веток тальнику, комлями вниз, связать вершинками на самой верхушке и это сохранит верхушку стога от сброса ветра, от загиба «юбки»... Первый же дождь примочит верхний слой сена, огладит скаты крыши и удержит стойкость стога против бури и дождей и снежной вьюги. Зимою нужно только приезжать и лопатой и железными вилами, чтобы откопать от снега стог и разломать его верхнюю, обледенелую часть крыши. Сено будет зеленым и пахучим, и каждая в нем ягодка, подвяленная и сладкая, порадует хозяина.

Будь лишний, даже не взрослый человек, а только хоть Миколка, стог сена сметывать одно веселье. Хорошо на нем стоять и глядеть с высоты вокруг, как на том же лугу другие люди гребут сухие ряды сена, подгоняют его впереди себя граблями, помогая пинками ног, как катышки. Любо посмотреть, как весело кругом движется народ, вырастают стога, перекликаютя мужики и бабы, а тут, как на грех, оба помощника вышли из строя.

А что взять с малых детей, Онички и Егорки? Таких в городе еще и в школу не посылают, а тут отец их мучает да еще терзает их маленькие душенки ругательством. Все это сам Митрий знает, жаль ему детей, а дети его жалеют. И больше всего жалеют они мамыньку. Лежит опять больная, — молча оба они думают и ужасаются. Вот приедут они домой, а у крыльца их избы стоит большой, деревянный крест... А мамынька уже в гробу лежит. И правда, с таким страхом все они и Митрий тоже, под'езжали к

дому после трех-четырех дней страды, на поле или на покосе.

Но, слава Богу, мамынька опять на ногах, хотя и подвязан живот полотенцем или бледно ее милое лицо. Зато и Фенька заменяет Оничку. Это ей поручен Андрюшка, который уже бегает и лезет всюду, где опаснее всего. Вот они роются в земле, Фенька успела перенять у соседской девочки любимую игру: копать в земле могилки, хоронить в них щепочки, зарыть, воткнуть в одном конце крестик из палочек и причитать:

— Да родимая ты моя мамынька, да на кого ты меня спокинула?

Оничка уже перестала играть в эту игру, но подружки ее, что поменьше, все еще играют. Приходят к Феньке, поправляют, как нужно делать все это печальнее и сами присоединяются и плачут настоящими слезами, заранее отводят душу будущих несчастных жен и матерей и дочерей, с детства приучаются к неизбежному страданию.

Но петухи поют и курицы кудахчут на селе, кое-где старики сидят на завалинках, это уж немощные, либо больные, но бабушки пасут своих внучат, ворчат на них. Слепая Аксинья опять кричит на всю улицу:

— Варька-а! Куда тебя опять нелегкая-то унесла?

Но Варька тут же, только заигралась с собаченкой, отбежала за избу. Выбегает, дает бабушке костыль. Она уж знает: Бабушка куда-нибудь пойдет. Не сидится ей дома, когда не с кем говорить. Она протягивает в воздух руку. Варька — ей восемь лет, как Оничке — подбегает под эту протянутую руку и ведет старуху вниз по улице.

День яркий и жаркий, а улица пустая и заросла травой-полынью, цветов возле домов ни у кого нет, только в полисаднике Зыряновых да кое у кого еще внизу деревни. Но фуксии и беленькие заповесочки кое-где весело улыбаются из низеньких окошек. Даже все добрые собаки на полях и на покосах. Только старые да ленивые лежат в тени и соблазняют мух закрытыми глазами. Все взрослое, здоровое население в поле.

Жатва

Проходят дни страды, как годы, а кто торопится, как скоротечные часы.

Здоровье Елены часто зависит от того, весел или груб Митрий. А он чаще груб, нежели весел. Но есть добрые люди на земле. Поднял на ноги Миколку Иван Никифорович, выходил, ни копейки не посчитал, свои лекарства тратил. Шрам над глазом, на брови, глубокий, наискось и красный, но глаз остался невредим. За три недели лежа в постели вытянулся Николай, тонкий и высокий. Отец рад и счастлив пошутить:

— В кого ты, такой верзила, уродился?

Рада и счастлива мать ответить шуткой:

— Ежели ни в мать и ни в отца, стало быть в прохожего молодца.

Но счастливее всех сам Микола. Откуда и прыть? Чуть не подрался с отцом из-за серпа. У отца серп аглицкий, самый острый, Микола не желает жать пшеницу старым, заржавленным серпом. Пришлось купить ему серп: отец привык к своему, никакой другой в руке не держится с такой удачей для постати. Горит постать (ширина полосы, которую охватывает жнец) у Митрия, завидно было Николаю потому что и он не желает отставать от отца. Но за Митрием в жатве никто не угонится. Вот как он жнет: склонившись над пшеницей, он идет с серпом справа налево. Он не захватывает в горсть левой руки больше, нежели могут обнять два пальца — большой и указательный, но он и не рвет серпа рывком, не теребит пшеницы с корнем, как это выходит у неопытных жнецов. Он просто нажимает всей ладонью на острие серпа и пшеница сама срезается, без дергания правою рукой.

Но этого мало. Когда его левая горсть наполнена, он все еще продолжает идти справа налево и набирает пшеницу между указательным и средним пальцем, потом между средним и безымянным и наконец, между безымянным и мизинцем и когда у него в руке уже целый большой веер золотых колосьев, он взмахивает им вверх и опускает вниз так, что колосья выравниваются почти в полснопа. Вот почему и постать его широка и ни колоска не потеряно, жнива подрезана низко, сноп получается высоким и позади его постати ряды снопов обильнее и чаще. Елена едва

успевает один сноп поставить и тот жиденький, завязанный по-бабьи слабо, а у Митрия снопы стоят пузатыми купцами, подпоясаны широким кушаком туго и колосья от тесноты не торчат свиной щетиной, а стоят чернобурою лисицей, густо, плотно, колос к колосу. Так же Митрий и косит. Как он ни распластывается в поклоне и размахе косы, ему все кажется узко на прокосах и потому скошенный ряд его травы набит травой плотнее. Он не только скосит и подкосит каждую былинку под скошенной травой, он подтолкнет ее назад, чтобы было видно, что коса Митрия все бреет начисто, без лысин и без хохолков.

Вот почему Микола завидует отцовскому серпу даже и после того, как тот купил ему новый, острый и легкий, как пух. Он думал, что в серпе все дело, но когда взял серп отца, попробовал, нет, по отцовски не выходит. Тут нужна не только ловкость и сноровка, тут нужно что-то еще, чего у Николая быть не может. Нужен удар молотом шахтера, вырабатывающего свой забой сдельно, нужна экономия времени отца, который должен накормить и содержать семью сам-семь. Нужно, что-то еще, чего Микола быть может никогда не узнает: нужен собственный путь жизни Митрия, идущего по постати своей жизни не одиноко, а в компании с особенною женщиной-подругой, Еленой, от которой хоть и изредка, хоть и не охотно он слышит странные слова, иногда в песне, иногда в пословице, а чаще просто, вот в такой знойный день, когда спина ее устанет до изнеможенья и, выпрямляя ее, она посмотрит далеко за пределы пашен, вытрет пот со лба и с шеи и как с собою скажет:

— А все-таки, Господь есть всюду и во всем. И со цветка пчела берет пылинку и дождь ласкает каждую былинку... Не помню, где это я читала? — И вдруг, наклонившись к жатве, запоет своим тонким, тонким голосом одну из тех многих песен, которые она вывезла из казачьей станицы и которые певала вместе с сестрами и подружками на родных лугах и на снопах за Иртышем.

— Я вечор в лужках гуля-ала,
Гру-усть хотела разогнать...
Цветик аленький искала,
Чтобы милому послать.

Сладко это слушать всем, сладко Митрию и Миколе и Онничке — они тут все теперь на полосе и Фенька с Андрюшкой под те-

легой на краю полосы, всем слышать это радостно, но сладость эта щиплет в горле Егорки. Каким-то ему неведомым далеким, не детским чутьем он жалел свою мать. Он тоже жнет, тупым серпом, нарочно выбранным, чтобы не порезал руку и жнет он рядом с матерью, потому-что сам снопов вязать еще не может и кладет нажатые горсточки в ее кучку для снопа. И вот он бросает серп, садится на землю и вытирает слезы пыльными рученками.

— Што ты? — подходит и склоняется над ним Елена. — Ну, что ты плачешь? Ну-ка покажи: ручку порезал?

— Не-ет, — едва выдавливает из себя Егорка, — Мне тебя жа-алко-о, — уже не говорит, а шепчет он в склоненное над ним лицо матери.

Никогда и никому об этом Елена не расскажет. Уж очень глубоко это проникло в ее сердце, но тут же невольно простирается ее рука над мальчиком и смутно, благотворной лаской, как дождь на пыльную, засохшую ниву, падает на эту белокурую головку материнское благословение. Именно здесь, на полосе пшеницы, у недовязанного, недожатого снопа, решает она: этого сына вымолить у строгого отца и отдать в ученье, в школу. Микола уже останется неграмотным и Оничку учить не доведется. Такова же будет судьба и остальных детей, но этого, в котором шевельнулась жалость к матери, этого она отдаст в ученье.

Но, как и все, в усталости и в недосуге, нельзя всерьез принять и обдумать, когда все под Богом ходим. Дожить бы только до того, когда он подрастет, чтобы, если надо будет плакать — выплакать его из этой доли. Дожить бы!..

Теперь уже всякий раз, когда Елена носит во чреве новый плод, она готовится к смерти. Сколько уже раз Господь терпел и миловал, не босконечно же Его долготерпенье. Митрий и сам знает не до прироста им семьи, куда еще детей иметь, а вот опять не упаслись. Уже и грудь-то высохла от худобы. Андрюшку почти год кормила, до суха высосал все до последней капли, оттого и выжил, а для нового и крови не хватит, не только молока. Но, да будет воля Божия! Грошно и на нерожденный плод роптать.

Солнце поднялось как раз на середину неба. Пора обед варить. Это самый радостный для всей семьи час отдыха, особенно, когда, после Петрова Дня, можно есть мясо или хотя бы саломат. Саломат — это должно быть древнее и самое простое, но самое вкусное изобретенье для стола. Ржаную муку, а еще лучше белую, замешивают на кипящем сале, а еще лучше на

коровьем масле и прожарят. Ох и сытно и быстро приготовить, и всем нравится. Но Митрий нынче изредка покупает свежее мясо. В погребе еще есть лед, наколят его мелкими кусками еще дома, засыпят мясо в котелке, чтобы до варки не испортилось. Уже и лук там и крупы немного и яичко для заправки. Сварят и семья сыта и силы для работы у всех прибавится. Бутылка с молоком в ручье, на веревочке, чтобы струей не унесло. Это для Андрюшки, а для всех остальных молоко вареное, с пенкой, из-за которой спорят двое: Оничка и Егорка, а достается она Феньке, потому что та кричит до кашля. Но молока не пьют на пашне. На пашне чай не питье, а еда, с молоком и хлебом и никогда с сахаром, кроме больших праздников, когда в избе случаются чужие люди и когда от них для хозяев останутся обкуски. Но для Аннодрюшки берегут кусочек. Нельзя кормить его все время молоком: желудок зажигает. Кормят раз в день крошками, размоченными в сахарной воде.

За обедом, хотя и все торопятся, но при виде жирных, наваристых щей, всем делается весело. Оничка грозит Егорке пальчиком, но ничего не говорит. Тот знает, что она только грозит, но не пожалуется. Родители не слушают их жалоб друг на друга. Такой у них обычай, пока дело не серьезное. Но это дело серьезное. Оничка ходила на ручей за молоком и видела, как Булануха у Егорки вырвала повод и ушла в овес и покаталась с «перевертом». Значит сделела «вальбище», а овес чужой. Кто будет отвечать? Отвечать будеть тятенька. Ага?

Егорка это уже слышал от Онички, только думал, чот это ничего, овес сам поднимется. Ночью будет роса, а после росы вся трава поднимается. Но Оничка погрозила пальцем при отце и матери, значит дело серьезное. Оничка не будет сказывать, надо чтобы он сам сказал. Егорка решил сперва наесться, а потом сказать. А то начнут ругать и поесть не дадут.

Но когда наелись, отец и мать на минуточку легли под тень телеги подремать, Егорка понял, что нельзя им говорить, когда они отдыхают. Оба отошли в сторонку, как бы собрать немножко клубники. Оничка ему баском говорит:

— Если не скажешь, я сама скажу. Овес надо поставить. Ты сам поставишь?

Егорка уже забыл, что только перед обедом ему было жалко матери, а теперь, выходит, ему совсем не жалко отца. Ведь сосед придет, начнется грех. Оничка так и требует опять:

— А за потраву ты заплатишь? Тятеньку платить заставят.

Борясь с собою, вернее, не желая сдаваться Оничке, Егорка отстаивает свои права. Он грозит Оничке:

— А я им про простоквашу расскажу.

— Ну и расскажи, это нисколичко не страшно.

Егорка косит глазенки мимо Онички. Он думает. Впервые думает серьезно: не о том, что случилось, а о том, как это вышло: Булануха виновата. И он рассказывает Оничке, захлебываясь от спешки, и Оничка придумала:

— Побежим. Коленьке скажем!

— Он меня отлупит, — грустно отвечает Егорка.

— Зато тятеньке не надо говорить, — уверяет хитрая Оничка. — Коленька с нами пойдет и мы все овес поднимем.

Они спешат к Миколе. Тот сразу понял, но Егорка хочет повторить, как это вышло:

— Я путал Булануху, а она мотнула головой от мух, да как хлестнет меня по башке головищей своей. Я упал и повод выпустил, она и ушла в овес. Я не успел ее согнать, она стала валяться и жеребенок...

Но Оничка не дала ему досказывать, поторопила:

— Коленька, побежим все вместе овес поднимем, пока тятенька спит.

И побежали и поднимали, еще больше вытоптали чужой овес. Миколка выгнал их из овса и решил за всех:

— Беспременно надо тятеньке сказать. Овес-то Вялковых. Нет, погодите. Я сейчас... — Он побежал к телеге, отец уже встал и мать взялась за серп. Микола взял узду, сбежал к ручью, поймал Булануху, сел на нее и погнал на стан Вялковых. Там он рассказал все как было. Вялков выслушал, посмотрел на Миколку, подошел поближе, потрогал его шрам над глазом и спросил:

— Не больно?

— Нет, слава Богу, зажило.

— До свадьбы заживет и в солдаты тебя не возьмут. — Потом прибавил: — Поезжай с Богом. Спасибо, что сказал, а то я бы на кого другого подумал. А Егорку увижу, уши ему от'ем...

Прискакал Микола к своим, а там Егорка сам все рассказал, расплакался. Микола привез поклон от Вялкова. Митрий похвалил Миколу:

— Вот это правильно, сынок! Большого сердца человек,

Вялков. Пошлем Егора к нему на выучку. В работники сдадим.

Так все обошлось мирно и благородно. И о простокваше не пришлось рассказывать, а следовало бы. Это забавно.

Случилось это вот как: когда Митрий и Елена косили у Касьяновых, Елена строго наказала Оничке, как и чем кормить больного Миколку, что дать Феньке и Андрюшке, а Оничке и Егорке оставила в погребе кринку простокваши, покрывши ее краюшкой хлеба как раз на один раз для двоих.

Оничка все выполнила так, как было наказано, но когда пришло время обеда, она достала кринку простокваши, поставила ее на стол, разделила поровну хлеб, а поперек кринки сверху положила Егоркину ложку и сказала ему:

— Вот я разделила пополам простоквашу. Видишь: это моя половина, а та твоя. Я старше тебя и буду есть сперва, потом ты.

И стала есть. Егорка покорно ждал и смотрел: в кринке его половина казалась ему все такой же, целой половиной. Но когда он взял свою ложку и начал есть, то простокваши ему не хватило, даже хлеб доесть не успел, а хлебать было нечего. Тогда он понял, что обманут и заревел. Больной Микола вмешался:

— Чего вы опять там делите?

— Она всю простоквашу с'ела одна-а! — Егорка, как никогда еще, кричал не от голода, а от обиды. — Она только на донышке мне оставила. Все одна слопала.

Миколка поднялся на постели, но из-под повязки на глазах, не видел ни Егорки, ни Онички, и сам чуть не плача, крикнул на обоих:

— Убирайтесь из избы! Андрюшку разбудили. Мне самому надоело целый день слушать этот рев.

Оничка вытолкнула Егорку из избы, вынула из зыбки Андрюшку, вывела за руку Феньку и уже на крылечке, попыталась замять свою вину:

— Ну, не реви. Я тебе яичко испеку. — И побежала в те знакомые места во дворе, где были куриные гнезда; достала одно яичко, (а там их было четыре — мамынька не узнает), вбежала в избу, сунула яичко в горячую золу в загнете 1) печки и пользуясь тем, что Николай не видит, стряхнула золу с пальчиков и выбежала к детям. Фенька видела и хотя она уже получила свое испеченное яичко, она тоже смотрела на Оничку голодными.

1) Загнета — уголок с постоянно горячими углями.

ожидающими глазами. Когда яичко испеклось, пришлось ей дать половинку, но Егорка и тут не успокоился.

— Опять ей? — он оттолкнул свою половину и еще обиднее заревел.

А в это время заревел и Андрюшка, тоже тянется к яичку. Фенька, управившись со своей половиной, не зевала и когда вторая половина яичка оказалась на полу, она схватила ее и сразу заложила в рот.

— Подавишься, ты дура! — кричит Оничка, а Егорка уже угрожает:

— Вот я мамыньке скажу!

Оничка знает, что твердым, печеным яйцом Фенька уже однажды давилась и это будет раскрытием всех ее секретов не только перед мамой, но и Николай услышит и будет допрашивать, она сама заплакала и с негодованием ответила Егорке:

— Ну и сказывай!..

Теперь ревели уже трое: Егорка, Оничка и Андрюшка, а Фенька не могла даже реветь, потому что подавилась и закашлялась. Оничка поколотила ее по спине, яичко вывалилось изо рта Феньки. Цыган был тут и все начисто слизал с немытой ступеньки крылечка... Теперь присоединилась к общему реву и спасенная от удушенья Фенька. Микола, опираясь о косяк двери, вышел ощупью из избы и заревел на всех:

— Да замолчите вы, опасна боль вас задави!.. Хоть беги из дома!.. И побежал бы, кабы видели глаза. — И он такой крепкий и легко переносивший всякую боль, тоже сел на ступеньки и заплакал, слезы накопились под повязкой и щекочут глаза, смачивают марлю и раз'едают незажившую рану.

Оничке и Егорке стало жаль Миколу, они смолкли, вытерли слезы, и, как сговорились, взяли за руки: Егорка — Феньку, а Оничка — Андрюшку и пошли через улицу, на крыльцо Касьяновых, на котором они обычно ждали родителей с покоса или с пашни. Но было еще рано, бабушка Касьяниха, мать Кирилы, с внучатами были еще на огороде, а старика Касьянова они боялись. Он всегда был на дворе, всегда с топором или пилой и не любил ребят. Тогда они пошли за дом Касьяновых, там есть переулок, покрытый зеленой муравой и в тени забора было хорошо укрыться от солнышка и поиграть. Только тут нельзя шуметь, а то дедушка Касьянов услышит, придет и прогонит. Микола остался один, ушел в избу, лег на кровать и долго еще боролся с непо-

корными слезами, раз'едавшими его рану над глазом.

Цыган всегда сопровождает детей, в огород ли или по улице, куда-либо к соседям, а Булька всегда оставался дома, караулить хозяйство. Ленив он на под'ем потому, что живот его всегда пуст и тощ. Если дети ссорятся из-за последнего кусочка хлеба или из-за яичка, то кто и чем накормит собак? Поэтому они так охотно бегут за хозяевами на пашню. Там всегда хоть косточку им бросят, а то и сами выследят и умудрятся поймать неловкого зайчишка; долго будет рыть и ждать крота. Но никогда, даже голодная собака не тронет запаренные птичьи яйца или маленьких неоперившихся птенцов. Есть такой закон у животного мира: не трогать малое, беспомощное дитя, даже звереныша.

И тут, в тени чужего забора, Цыган растянулся на травке и отдался весь в распоряжение заплаканных детей. Чует пес своим особым, людям недоступным, чутьем всякое человеческое горе и, если надо, то и жизнью пожертвует во имя верности и дружбы к человеку, прощая ему все его грубости и разделяя с ним голод и холод и всякие невзгоды. Терпел Цыган, когда Фенька ездила на нем лежачем; позволял и Андрюшкину игру с его ушами, даже приучился приносить брошенную Егоркой палочку. Вот так и занял и развлек Цыган всех четверых под чужим забором, пока вернулась из огорода бабушка Касьяниха с целым выводком своих внуков и внучек. А когда она их накормила и вывела на высокое крылечко посидеть, на то же крылечко собрались и дети всех тех рабочих, которые были на покосе у Касьяновых.

На этот раз их было тут не менее десяти посторонних, но никто не ждал своих родителей с таким нетерпением, как дети Митрия и Елены. Потому что только с приездом родителей можно что-либо поесть. Вот если бы были арбузы. Арбузы сеют и выращивают только казаки на при-Иртышских степях. Иногда оттуда появляется на улице села целый воз. Но арбузы продаются по две копейки, а большие и по три. Арбузы даром не дают, а в горах их никто не сеет. Но когда родители купят и оставят детям арбуз — вот это дело! Один арбуз с хлебом на всех, на целый летний день хватает. Только надо с хлебом есть и все корочки хорошо обгладывать.

Ждут-пождут родителей, всматриваются в каждую телегу, показывающуюся вдали на дороге с пашен. Нет, не наши. Солнце уже клонится к закату, а закат пылает в красно-желтых тучах. Оничка видит, что коровы пришли из стада. Она бежит, загоняет

их в пригон, выносит подойник и садится под Белянку, доить. Белянка дается доиться мирно и не лягается, а Бурёнка иногда так ударит задней ногой, что опрокинет подойник и разольет молоко. А молока и обе-то коровы дают всего четыре кринки, полподойника. Оничка делает так, как мама: подоивши Белянку, она идет в избу, разливает в кринки молоко, а потом идет доить Бурёнку. Если улягнет, то не все молоко прольется.

Феньку и Андрюшку она оставила на крыльце Касяновых с Егоркой. Егорка хотел бы побежать играть с другими мальчиками да нельзя. Он держит Андрюшку, чтобы не полетел с крыльца. Иногда он сажает Андрюшку, вместе с Фенькой и та горда, что ей поручают Андрюшку, но она долго усидеть на месте не может и рвется к Оничке. Та всегда ей даст немножко молока. На этот раз она наказала Егорке не пускать Феньку. Она пугает Бурёнку. И вот сидит Егорка на крыльце и невольно слушает сухую, с темным лицом бабушку Касьяниху. В растяжку, басом, она рассказывает своим внукам то, что видит в тучах, красных от закатывающегося солнца.

— Это война-а идет, — говорит она. — Видите, как там полыхает пламя! — она указывает крючковатым пальцем на закат и раз'ясняет: — Та желтая туча головастая, как кошка. Это Китай идет!.. Китай тыщу лет не воевал, у него людей народилось столько, как на целой шубе волосков. А у белых царей всего только, как волосков на одном рукаве шубы. И все-таки белые цари пошли с Заката Солнца на Восток и разбудили Китай и Китай поднялся. Во-он он желтоносый, идет войной на Запад солнца и быть всемирной войне. А как настанет всемирная война, то и всему свету конец. — Бабушка Касьяниха рассказывала это так твердо и знающим пальцем тыкала на желтую тучу и на красную и угрожала, что они вот-вот сойдутся и начнут всемирную войну. И правда, что из туч погромыхивали угрожающие громы и вспыхивали молнии. Война, значит, началась. Куда же от нее, теперь прятаться?

Но ни войны, ни даже дождя в тот вечер до села не дошло. Дождь прошел куда-то мимо, а пламя на закате скоро погасло и сменилось сумерками, однако, рассказ бабушки Касьянихи Егорка никогда не забудет. И не забудет он тех дней и вечеров и знойных полудней на пашне, той памятной страды, первой в жизни всей Митриевой семьи, потому что первая у него была настоящая запашка, первая горячая жатва и косьба и молотьба

снопов ранней осенью. Не забудет он этого лета еще и потому, что в тот же день, когда потрава овса Буланухой сошла без всякого наказанья, случилось много незабываемого. Оничка победила его обходным способом, не жалобою, а заботой об овсе через брата Колиньку — это раз, Егорка решил не доносить на нее матери об украденном из гнезда для него же яичке и о том, как она обманула его с простоквашей — это два. А третье было вот что: набравшись храбрости, он сам стащил отцовский острый серп, пока отец пошел на стан попить воды, захватил серпом первую же горсть пшеницы, взял ее левою рукой, прижал к серпу и даже не заметил, как пшеница была срезана... Но что это? На лезвие серпа прилипли два маленьких ногтя... Целиком с телом!.. Чьи же это? И не сам он, а стоявшая с ним рядом на постати мать увидела, как кровь из его руки льется струйкою на жниво. И только тогда, когда мать закричала и все поняла, а он увидел свою левую ручонку без двух ногтей и в крови, он и сам закричал, сперва от испуга, а потом уже от боли...

Крик и переполох был общий. Егорка вышел из строя жнецов на целых две недели. Но пальцы его заживут и ногти выростут, только кривые и горбатые на всю жизнь, чтобы не забыть первого урока жатвы настоящим, острым, аглицким серпом.

Но это только малая частица всего, что случилось и случается на пашне, на покосе, и во время молотьбы, когда выглаженное, вытоптанное и политое водой, укатанное до твердости, гумно на краю полосы, будет окружено золотой стеною из снопов и когда все четыре лошади и вместе с ними даже жеребенок, бегают кругом по сплошной, до последнего плевела растоптанной мякине, под которой уже видно, как краснеет крупное, богатое зерно урожая.

Всего не описать, всего не рассказать. Это надо видеть, этим надо жить, принять это усталостью с одышкой, окропить это потом и капельками крови — тогда это запомнится до скончания жизни.

VI

ДАРЫ ЗЕМЛИ

Тополевые рощи по обеим сторонам села из серебряных превратились в золотые. Тополя долго держат на себе эту золотую броню. С половины августа, значит с Успенья, тополя, еще не осыпая листьев, желтеют сплошь, во всем об'еме высоты и дугообразной ширины. И только к концу сентября будут сыпать листья, устилая землю и укутывая свои корни мягким ковром. На всю округу, может быть на весь Змеёвский уезд, нет такого красивого села, как Николаевский рудник. Весною эти рощи зеленели, потом левая сторона листвы под ветром переливалась серебром и так зелено-серебристыми щитами могучие рощи защищали все село от бурь и зноя, с двух концов. А к осени, эти золотые широкоплечие богатыри выпирают к небу еще более величественно. И даже к Покрову, когда вся листва с них упадет, они будут стоять опять серебряные, потому что и тополя-стволы их тоже белые. А что будет зимой, когда они всей густотой ветвей всосут в себя покровы снега? Опять же с двух сторон два белоснежных великана будут охранять село от вьюг и задерживать и собирать у своего подножия, самые высокие сугробы.

Громадное здание давно пустого лазарета, в отдалении от села, на пригорке, перед закатом, особенно ярко блещет множеством огней в окнах. Не сияют только те окна, которые разбиты или заставлены изнутри больничным хламом. Железные кровати, соломенные тюфяки, кучи серых суконных одеял — хранят запах карболки, смолкшие стоны страдавших и умиравших на них рудокопов. Лазарет теперь сер и сир снаружи. Лишь когда в нем появляется сторож, или заезжее начальство, шаги и голоса раздаются гулким эхом по большим, высоким палатам и пугают залетевших в разбитые окна ласточек, свивших здесь свои гнезда и выводивших поколения ласточек из года в год. Но осенью и ласточек в нем нет. Ни паука, ни мухи. Все тихо и мертво.

Закрыты шахты, ушла болезнь и смерть. Село живет землей. Село поздоровело. Даже один лекарь и тот в отставке.

И кто сказал, что жизнь мужицкая темна и безрадостна? Какими глазами и под каким углом смотрели на деревню господа писатели из дворян и разночинцев, ходивших в народ, якобы для просвещения? Какой принесли в деревню свет, чему научили? Чье ухо припадало к самой сырой земле, которую пашет один мужик с сошкой, чтобы накормить семерых господ с ложкой? И что это ухо услышало?

Вот, на виду у этого громадного пустого лазарета, лежит маленькое село в сто сорок дворов и не все крестьянских, а на одну треть безлошадных шахтеров — одна миллионная частица всей народной, русской тяглой силы, а посмотрите перед осенью на их поля, покосы, гумна и амбары.

Там, где с весны были зеленые, ровные луга, все усыпано копнами и уже стогами сена. Кто и когда успел их накосить, сгрести, сметать, частью свезти уже на сеновалы или сметать в скирды поодаль от своих дворов?

А те, вокруг, на зыбкости холмов и склонов, окованные в сплошное золото квадраты пашен? Многие уже пусты и золотится только жниво. Но много и ржаных суслонов и стопок из пшеничных и овсяных снопов. На гумнах золотая пыль вздымается столбами: из ворохов мякины легкими, деревянными лопатами бросается навстречу ветру, отделяется от плевел и падает на чистый, укатанный, гладкий и твердый пол земли, розовое, тяжелое зерно пшеницы, серебристого овса, золотого ячменя. Сметается концом метлы из березовых прутиков мякина; плевелы, легкий мусор травяных семян, случайный сухой жучек — и отделяется охвостье на корм скоту. А от охвостья отделяется головка урожая, сгребается в пудовку (деревянная мера весом около пуда), ссыпается в мешки или в разостланный на телеге чистый холщевый полог. Когда воз полон, зерно закрывается концами полога, концы стягиваются, сшиваются таволожными (степной кустарник, ветки которого так крепки и тяжалы, что тонут в воде) длинными иглами и воз готов. Целые обозы с разных дорог скрипят тяжестью даров земли к селу. И нет усталости у хозяина ни днем ни ночью выгружать их с воза в амбары.

Скрип нагруженных урожаем телег слышен от Преображенья Господня (6/19 августа) и до Воздвиженья Животворящего Крес-

та. (14/27 сентября). Но в том случае, если хозяин одинок или не уловил погожую неделю, чтобы во время отмолотиться, или жатва его так обильна, что не вмещается в амбары, снопы складываются в скирды вокруг гумна и оставляются на зиму, чтобы на будущую весну, тут-же на пашне, молотить и под руками иметь зерно на семена. Бывает и недород, но чаще всего у сибирского крестьянина не хватает места в амбарах. Так щедр Господь за труды людей. Запомним же одно, мы говорим о времени, когда не было машин и всюду труд мужицкий был вручную.

Весело идет пора молотьбы. Нет веселее времени для пахаря. Тут все возбуждены, все спешат, всем радостно сбирать, ссыпать, укладывать и запасать не только хлебное зерно, но и овощи и ягоды, соленье и варенье и лен и коноплю.

Не все колосья собраны — много остается и для птицы перелетной. Рано на заре по холодку или в сумерках после заката, а в лунную ночь и еще смелее, на пустынные поля спускаются большие стада гусей. Высоко-высоко в синей глубине небес, белыми дугами и стрелами и какими-то еще неведомыми знаками, как египетские письмена, пролетают на юг с севера новые выводки журавлей и лебедей. Крики их падают на золотые поля мало кому понятной музыкой. Но Елене слышатся в них грусть и жалоба, и зов в неведомую заморскую даль. Елена, из своего огорода, запрокинув голову, долго из-под руки, всматривается в синие высоты. Вот оттуда, с высоты, лучше всего гусям и лебедям видно, как богата золотая пашня во время осени, еще не вся убранная, но кипящая трудом, звенящая голосами, песенными и надсадными, жалобными и веселыми. Оттуда лебединые жемчужные нити падают на синие озера, а с них, в урочный час, украдкой, пробираются в покинутое поле и наскоро, досыта хватают растеренный колос, лопнувшую от перезрелости дыню или арбузное семя и также сторожко, умеючи, взлетают на высоту и продолжают свой путь в далекие теплые страны...

Елена молитвенно повторяет слышанное в церкви:

«Всяк дар совершен свыше. Всякое дыхание да хвалит Господа.»

Кто видел настоящее лицо деревни близко и один-на-один, а не со стороны, не сверху вниз, не мимоходом? И как увидеть лицо это, многоликое, многосложное? На пашне? На полях, с

самой весны, оно только мужицкое, в поту и в думе над загадками земли: уродит-ли? Или град погубит пашню, сломает зрелый колос буря, пожрет степной пожар? В церкви? Но здесь оно одинаково-покорно воле Божией, обращенное покаянным духом внутрь себя. На свадьбе оно полупьяное, на похоронах печальное: «Все там будем». В гостях у чужих людей оно, как у всех людей, даже из высшего круга, в маске дружбы и лестной похвалы гостеприимству. Перед редко появляющимся в деревне строгим начальством — оно плоское и глупое: «Знать ничего не знаю». «Мы люди темные». Какое у народа сердце, какова душа его? Не всякий, даже самый искренне-кающийся, раскроет душу и сердце. Никто, нигде не разглядел во всем величии народа от земли. Никто не разгадал.

Политика? Господь с вами! Уж в чем, в чем, — а в политике русский народ, во всей своей массе, не грешен. Это дело барское. На земле — царь далеко, в небе — Бог высоко. Это их дело. Народ и в своей деревне не хозяин. Нужда, горе, самая смерть — все во власти Божией. Страдания? Они посылаются, если не за свои, так за родительские грехи; никакого ропота. Счастье привалило — не радуйся, не хвастай. Нсе проходит. Богатству в среде народной не завидуют. А и беда пришла — не тужи. Могло быть хуже. А если жалуются на беды, на болезни, на напасти — то надо же о чем либо поговорить. Ведь у всякого что-то болит, о том он и говорит. Но в душе народа, во всем множестве его, нет ропота на Бога. Если и приходит зло, то от ближнего, а ближний сам ответит Богу. Придет же смертный час, возрыдает душа, если в Бога верует. А не верует — и душу погубил.

Бывает грех, бывают ссоры и даже драки, больше по пьяному делу, но убийство на всю округу, на целый уезд — событие редкое, в год раз, и о нем со страхом говорят месяцами.

За много лет случилась и в селе Николаевском беда. После великого дождя с громом и бурей, в канаве, за огородами, нашли мертвую Аргу. Но это была женщина бездомная, приблудная, лет сорока, одинокая и часто запивала. Тело ее положили в холодильник, близь кладбища и там во льду оно долго ждало, пока приедут пристав и судебный следователь из уездного города. Но и они не торопились, потому что, по описанию трупа, никакого преступления не было. Просто, баба была пьяная, ночью заблудилась, упала в канаву, ее залило ливнем, замыло даже песком. Никому она

не мешала и никому жизнь ее не была нужна. Ни прошлого ее, ни настоящего никто не знал и не расспрашивал: Арга да и Арга. А все-таки жалели, крестились при упоминании ее судьбы и далеко обходили холодильник, пока в нем находилось тело без покаянья погибшей Арги. Догадывались, что она была не из крестьянского сословия, в молодости в городе была в прислугах, красивая была. Какой-то барин искусил да бросил. В тоске по нем блуждала по темным дорогам жизни, непрошенная появилась в селе, неизвестною погибла. А об убийстве на селе и старики не запомнят. Нет, не было такого греха ни на ком из мужиков, даже и по пьяному делу. А обманы были. Один был и недавно. — помнит все село. Была тут девушка, Катенька, подруга Аннушки Касьяновой. Часто они сидели на крылечке, хорошо вдвоем распевали песни. Красавица была Катенька, так ее красоткой все и звали. Обольстил один смазливый парень из солдат, а женился на другой. Отравилась девушка, но отводились и с тех пор в селе и след ее простыл.

А еще бывало — ворота у какой либо невинной девушки высмолят. Чем упорнее стоит за свою честь девица, тем опаснее для ее честй и для чести родителей. Тут уж никто на чужой роток не накинет платок. Напраслину ничем не отмоешь. Так и пойдет следом даже за праведным человеком.

Этим же летом и Егорка видел человеческую кровь на земле. Не свою, каторую он пролил из отрезанных ногтей на поле жатвы, а чужую, мужицкую.

Был в селе такой шахтер Федот Ербасов. Мужик, как все мужики, смирный, хороший. Семья — сам пять. Купил он себе лошадь, справил «магарыч» 1) Сел, пьяный, без седла на лошадь, помчался вдоль улицы полным махом, себя показать и лошадью похвастаться. На полном скаку, как раз против Митриевой избы, повернул так круто, что лошадь завинтилась и вздыбила, а он не удержался и со всего размаха грохнулся спиной и головою на дорогу. Дело было в воскресный день, пока сбежались мужики, пока откачивали — лужа крови набежала. И не заметил бы ее Егорка, да куры обступили, начали растягивать запекшиеся сгустки вместе с песком. Даже подрались из-за крови... На всю жизнь это останется тяжелым вздохом и вопросом: для чего мужик бахвалился?

---

1) Попросту: выпивка — покупку «спрыснуть».

Тут Оничка подбежала к Егорке. Она такая умничка, всегда удернет его за руку, когда не следует ему глаза свои на страшное таращить. Она была наряднечько одета. Было уже после полудня, она ему и говорит:

— Пойдем со мной коров встречать.

А это в селах самое веселое: коровье стадо встречать по вечерам в праздники.

В будние дни встречать коров приходили только старушки да старики, ну и подростки тоже, а в праздники вся молодежь и детвора собирались кучками и спозаранку. Тут устраивались хороводы, пляски, народ веселился, пока пастухи пригонят стадо. Кто нибудь уже заранее знал с какой стороны придет стадо и люди без ошибки собирались в том самом месте, где все уже отоптано, засорено скорлупками семячек, где парни встречают и впервые облюбовывают будущих своих невест, где мужики присядут поиграть в «дурака», а бабы рады поболтать, посплетничать. Здесь праздник празднуется почти всей деревней, здесь по-настоящему разворачиваются удаль, шутка, нравы и безхитростное сердце.

Когда коровы пасутся на Половинном, что лежит в сторону реки Убы, тогда коров встречают у Крещенской Горки. Эта горка знаменита и увенчана красивым мраморным памятником. Лежит под ним в могилке восьмилетний Коля Ползунов, с полстолетия тому назад похороненный, а все еще Коля, мальчик восьмилетний. В могиле дети не ростут. И это всем и всегда теплит сердце. В самом расцвете отрочества умер.

Иван Иваныч Ползунов, солдатский сын, в просторечьи Пузанов, отец Коли, был управляющим серебряными рудниками на Алтае. Говорят, что был он инженер прекрасный, изобрел первый паровоз, модель которого и до сих пор хранится в Барнаульском горном музее. Мальчик умер в захолустье от скарлатины, здесь, в большом барском доме, где живет теперь лекарь. Не было врача помочь и спасти его жизнь. Лазарет тогда только еще строился. С этой Крещенской Горки далеко видны окрестности, горы за рекой Убой, сама красавица Уба и луга за нею, и во все стороны холмы, и пашни, и извилистые проселочные дороги. Тут есть где посидеть старикам, вспомнить старину, тут громче и разливистее поются песни молодежью. Сюда любит приходить дурачек Анемподист, безвредный, терпеливый. Как бы ни потешались над ним глупые мальчишки, он не обижается, а отвечает все тем же беззаботным смехом, как и взрослым людям.

Если стадо пасется в долине речки Березовки, что в сторону рудника Таловского, тогда толпа для встречи его собирается под тополевой рощею, за огородами. Здесь тополя богато усыпают золотой листвой лужайку, мягко и удобно посидеть старым и порезвиться малым. Гармонист придет, скрипач и плясуны. Из них Алеша Колюшкин — самый чародей. Голова у него вытянута над затылком, как будто для лишнего мозга, прибавлено и головы. Картуз его надет на это дополнение так, что голова кажется совсем сапогом. Но он умник, франт, песенник, плясун на диво. И сапоги же у него, как ни у кого в деревне: все лаковые; гармошкой голенищи, а пляшет он так, что старые и малые склоняют головы к земле, чтобы лучше разглядеть, как это он выделывает выкрутасы и успевает прищелкивать по голенищам пальцами? А то волчком пойдет в присядку, вокруг своей соплясуньи — любо глядеть. Это такой плясун и музыкант, без которого не обойдется ни одна богатая свадьба. Он и скрипач и гармонист и может сплясать под собственную музыку. Спляшет и со скрипкою в руках, а с гармошкою и вовсе — очень просто.

Но чаще всего пастухи пригоняют стадо туда, где каждое утро они его собирают, возле хлебозапасных амбаров. О, да, позвольте это утвердить. Почти по всей Сибири издавна это закон: возле каждого села стоят амбары, куда осенью каждый пахарь должен привезти и сдать под расписку старосты полагающееся с него зерно, а также и муку, по числу душ в семье. Эти запасы хранятся, проветриваются, иначе мука слеживается, как камень; иногда и зерно прорастает и выбрасывается свиньям, а то и сжигается, но пополняется опять новым урожаем. Да, да! До нынешних времен, Сибирь не знала голода и не знавала. Митрий помнит только один год, когда слежавшуюся, затхлую муку рубили топорами и выдавали приезжавшим из деревни Кабанихи мужикам. Там хлебозапасный амбар сгорел и людям неоткуда было получить муку в голодный год, а в Николаевском руднике всеже голода не знали. Шахтеров тогда снабжала казна, а те, кто сами пахали и сеяли, обошлись своими запасами.

Тут, возле этих двух больших, высоких амбаров, стоявших, для пожарной безопасности, особняком, собирались для встречи коров даже и те, у кого и коров не было. Собирались вскоре после полудня, народу тут всегда было много и больше было всяких забав, потех и случаев. Веселье, шум, от плясок пыль

столбом, от песен — гул на всю окрестность и эхо их откликалось в близь лежащих пустых шахтах. Эту гулкую, переливчатую загадку недр земли — приходили слушать и малые и старые.

Вот сюда и привела Егорку Оничка. Ей тут тоже все уже знакомо. Шум и гам и пестрота — забавляли, увлекали. Поэтому, как только привела, и сама затерялась в толпе, Егорка тоже зазевался на других и остался один среди чужих. Вдруг перед ним, как из земли вырос, Матя Вялков, черноглазый, с белыми, в приветливой улыбке, зубами, сын того самого богатыря, которого еще на пашне, у Крутого Лога, Егорка навсегда запомнил. Тот самый Матя. Смеется, а сам ткнул Егорку левым кулаком в бок. Егорка не успел опомниться, как Матя правой рукой, еще больнее, ударил его в левый бок. Потом ловко подставил левую ногу под правую Егоркину и толкнул; тот повалился на спину. Матя перевернул его лицом к земле и начал молотить твердым вялковскими, кулаками по спине и по шее. Егорка захлебнулся ревом, но никто не выручил, никто не заступился. Окружили старые и малые, не вмешиваются, смотрят, потешаются. Вдруг из толпы, на крик Егорки, выбежала Оничка, прорвала кольцо окружавших драку людей; синяя ее юбочка развеялась зонтиком вокруг ее круто развернувшейся фигурки; косичка с розовой ленточкой стала дыбом на затылке, а ручонки вцепились в плечи Мати и, стащив его с поваленного в прах Егорки, начала тузить в бока, в плечи, в спину, куда попало. Восторг толпы от удовольствия возрос до гула одобренья. Матя вырвался, встал на ноги, взмахнул обеими руками, но остановился; разжал кулаки и начал отступать. А Оничка наступала на него и требовала ответа:

— За что ты его? За что? Чем он тебе помешал тут? Ага! Пятишься?

Избалованный, всегда сытый и хорошо одетый мальчуган, побивавший безнаказанно всех своих сверстников, был побит и кем же? Девочкой, которая только на год старше его. Но потому что она была девочка, Матя не решился ее ударить. Что-то от отца-богатыря, всеми уважаемого Михайлы Васильевича Вялкова, шевельнулось в маленьком сердце, и он благородно отступил. И не плакал, а все так же скалил зубы и не мог оторвать своих черных азиатских глаз от дерзкой защитницы Егорки. Когда же Оничка увидела, что Матя не посмел ее ударить, она набросилась на побитого Егорку, схватила его за руку; кричала:

— А ты чего ревешь? Ишь нюни распустил! Зачем ему поддаешься? — Отвела его в сторону, приподняла подол своей юбочки и вытерла смешанную со слезами пыль с его лица. — Не реви, будет. Я маме не скажу и ты не сказывай...

Но до Елены и Митрия и до Вялковых все донеслось с прикрасами. Хвалили Оничку и многие торжествовали победу бедной девочки над богатым «супостатом». 1)

А Егорке все наука. Ни сам он, никто из его ближних не могли предвидеть, что к чему? И только мать его, Елена Петровна, изредка, когда была минутка помечтать в уединении и под тихие напевы старых песен, в которых все укладывалось в надземные, надбудничные виденья, понимала, что в Егорке что-то дано ей в утеху.

Но вид Егорки был взаправду постоянно жалкий. И рубашка у него всегда разорвана на животе, запачкана потеками от арбуза или дыни, так что мухи постоянно его одолевали. И ноги его в цыпках, грязные и в ссадинах, то ноготь сорван, то колено распухло от ушиба, то где нибудь сидит на его теле мучительный чирей.

— Ой, Боже-Господи, не надо бы об этом вспоминать, да как утерпишь? Правда не всегда чиста и часто неприятна». — думает Елена и вспоминает совсем недавнее. Живет у них в селе старый нищий, Семочка Уродкин. А почему такое прозвище? Потому что есть у него единственная дочка — уродик... Жена Семочки умерла молоденькой, замучилась родами и родилась дочка уродик, теперь уже старая девка. Лицо при родах изуродовано, не дай Бог и смотреть. Так Семочку и знают: отец уродика — Уродкин. Так он и состарился Уродкиным. Под старость стал добывать пропитание себе и дочке Христовым именем. Никогда

---

1) Двенадцать лет спустя, когда Матвей Вялков женился на Оничке, он ей признался, что полюбил ее еще тогда, когда она его побила. А на ее вопрос: «За что же ты побил Егорку?» Ответил: «Уж очень он был тогда противен!» А настоящую характеристику Матвея Вялкова и особенно часы его стоической, христианской смерти, читатель найдет в книге автора «Гонец», стр. 31-35 изд. 1928 года. Характеристика эта основана на письме той же Онички, Анисьи Митриевны Вялковой, тогда молодой вдовы и уже матери троих детей.

не собирал даже кусочков в своем селе, а сберег старую лошадку, сохранил и старую, много раз починенную телегу и ездил собирать подаяние по окрестным деревням. Одевался во все свое, домотканное, полотняное, чистое, но заплата на заплате. Так и кормит свою затворницу дочку, а она ему все чинит, моет. Избушка, наполовину в земле, как раз в полугоре, когда идете в церковь; чистенькая, выбеленная снаружи, а из окошек выглядывают, летом и зимой, горшки с цветочками. Вот этот Семочка... (Опять заметье: что ни бедняк, либо уродик, тому и самое нежное, ласкательное имя: Семочка Уродкин, Матичка Плохорукий, Анемподист-Дурачек...) Вот этот Семочка после Пасхи насобирал по деревням целый воз кусочков хлеба и все больше сдобного; кусочки от пасхальных пирогов, киняченые в масле калачики, шанежки, даже в некоторых домах подали зачерствелые остатки куличей. Привез целый воз, запасов на полгода... Но так нельзя хранить — зацветут, испортятся. Вывез за село, разостлал белый, много раз чиненный, холщевый полог и выложил все свои кусочки для просушки на солнышко. Ребятишки, даже и из сытых, зажиточных домов, подбегут, смотрят. Слюнки у них текут... Сухарики блестят на солнце, розовые, даже самый их вид притягивает: кто бедно одет, тому и даст сухарик. Егорка долго упирался, не хотел брать. Отец и мать учили, никогда не прибедняться, не нищие, стыдно. Но тут не удержался. Уж очень вкусные сухарики. И дал ему Семочка которые послаще да и говорит:

— Отнеси Еленушке! Не с'ешь по дороге. Донеси!..

Было это как-то в будний день. Егорка принес ей сладкие сухарики. И вот сидит Елена, смотрит на сухарики, смотрит на Егорку да как заплачет навзрыд. Егорка даже испугался. Потом она вытерла слезы, откусила от одного сухарика да опять в слезы. Растрогал ее нищий Семочка, потряс все ее мечтательное существо до основания. А этот посредник между нею и нищим, Егорка, показался ей таким несчастным, таким жалким. И личико его, курносое, шелушится: кожа на лице много раз обгорела еще на пашне, слезает перхатью и застревает в белом пушке на щеках, и нос опять мокрый и рваная рубашка — починить не успела — испачкался. Ни Миколка, ни Оничка, ни даже маленькая Фенька, никогда не бывают такими жалкими, как этот. А вот принес от нищего, поделился с матерью подаянием... Упала лицом в подставленные ладони и плакала, плакала, плакала... Егорка не выдержал и тоже заревел...

Вот тогда, в слезах, самой себе призналась Елена, что не хорошо предаваться мечтам. Это все в книжках начиталась о какой-то другой, не похожей на всю эту, жизни. Не читала бы и не страдала, а жила бы, как все бабы живут во всех селах, во всех местах по свету. Не мечтают и соблазна нет... А все-таки, почему бы не случиться чуду?.. Ведь летят же птицы — на лето из теплых стран на север, а на зиму опять же на теплые моря далекие... Ведь не все же сказки и не все из книжек вычитала... Был же ведь и Михайла Василич Ломоносов из бедняков... — Это у Елены уже зарождается мечта о будущей судьбе Егорки.

Егорка еще мал и глуп, с ним рано делиться такими думками, а вот есть в селе Петр Иваныч Вяткин. К нему надо пойти, поговорить. А пока что вытерла насухо слезы и, чтобы Егорку успокоить, запела одну из старых и любимых песен:

— По Дону гуляет казак молодой,
А девушка плачет над тихой рекой.

Песня успокаивает, а слез не осушает. Слезам надо вылиться, омыть сердце.

Однако, вот уже и лето прошло, а к Петру Иванычу не удалось сходить. Страда взяла все время, все силы и все помыслы.

Только в Воздвиженье Креста Господня, после обедни, приоделась и пошла к Петру Иванычу.

Жил он как раз наискосок Катерины, сестры Митрия, еще недавно служившей в казенном доме, что возле верхней рощи. Сперва зашла к ней, потому, что давно не навещала. Там и сказала, что нужен ей календарь. Катерина ей ответила, что календарь, наверное, имеется у Вяткина. А календарь был только заделъем. Правда, календарь у Елены был, но старый, может быть уже трехлетний да и тот истрепался из-за оракула. Оракул — листок для гаданья, приклеенный в календаре. На листике — всесильный богатырь. Он тащит на себе весь шар земной, а по кругу шара линии. Они идут от центра к краям земли и внизу по ободку — цифры. Надо бросить пшеничное зерно, куда упадет, под той цифрой и читать судьбу. Неграмотные бабы часто приходили к Елене гадать свою судьбу и так истрепали календарь, что ничего нельзя прочесть. Вот за календарем как будто и зашла Елена к Петру Иванычу. А он ей говорит:

— Календари каждый год покупать — дорого. И в календари я не верю, а верю только в Святцы.

Но годовые праздники и табельные дни и дни особенно почитаемых святых, Елена и сама наизусть знала. Ей нужен календарь. Поговорили о том о сем, она и призналась:

— Совета пришла к тебе попросить, Петр Иваныч.

А Петр Иваныч сперва не расслышал и говорит ей:

— У меня и Библия имеется, только всю Библию и сам не читаю целиком и тебе читать всю не советую. Уж это точно: коль скоро человек прочтет всю Библию сплошь, непременно в ней вычитает, что Бога нету. Читать надо и то только по одной главке в день — Святое Евангелие.

— Ну уж, где нам читать каждый день? — признается ему Елена. — Хоть бы по праздникам удавалось да и то не всегда.

Благочестивой жизни был старичек Вяткин, не кичился своим знанием, но говорил тихо и скупо, больше выдержками из прочитанных книг. И любил слушать других со вниманием. Признак истинной мудрости. С ним одним Елена говорит, как на духу.

— Мечтаю я часто, прости меня Господи, — исповедуется Елена. — А в мечтах такие выпадают мне соблазны, что я просто заблуждаюсь в них. — Так и сказала: — Заблуждаюсь в соблазнах.

— А какие же это соблазны, мила дочь, поведай? — Петр Иваныч склоняет седую голову и закрывает глаза, чтобы лучше слышать и понять.

Елена не сразу ответила:

— Ах, да разве все мои мечты можно рассказать словами? — справедливо отвечает она вопросом. И старается пояснить: — Вот будто бы постригаюсь я в менахини... Да разве мне возможно, у меня пять человек детей да трех похоронила... — Голос ее понижается до шопота и дрожит: — Не к смерти-ли этот постриг вижу я в мечтах своих?

— Ну, а еще какие заблужденья?

Елена мнется и не сразу решается признаться, за чем пришла.

— Три у меня сына, — начинает издалека Елена. — И две дочки. Во чреве я опять ношу плод грешной моей плоти. — При этих словах Елена, как настоящая девственница, потупляет глаза так, что не смеет ими взглянуть даже на свет Божий. — Замужем я четырнадцатый год, мне уже тридцать три, а грехов-то... Ведь двух похоронила крошечными, а одного выкинула. Не грех-ли это? Я батюшке на исповеди все это рассказала, но у него было так

много исповедников, где ему со мной совет держать? А у тебя, Петр Иваныч, я прошу, как у родного отца, совета... — Тут она опять запнулась и сама себя прервала: — Глупости все это. Гордыня одна... Просто я боюсь, что этого, который во мне, не донесу. Этим летом на страде я надсадилась и вот боюсь: либо он родится уродиком, либо я сама до смерти им замучаюсь...

— Так в чем же я могу совет подать? — спросил Петр Иваныч и открыл свои добрые, пытливые глаза. Показалась ему эта женщина необычайной, не простой, не малограмотной, а очень сильной мудростью и мудрость ее в простоте и в этой чистой покаянной кротости.

— Нет, ты уж прости меня, Христа ради, Петр Иваныч. Понапрасну я тебя обеспокоила. Но вот выговорилась и мне легче стало.

На том и кончила. Стала прощаться.

— Ну, и то слава Богу, мила дочь, — сказал старец Вяткин и, не настаивая на подробностях, перекрестил ее, как отец родной и проводил в молчаньи, с миром.

Елена не сказала ему главного. О Егорке она приходила посоветоваться. Наметила она его Богу посвятить, а как не знает. Боится, что при следующих родах умрет, а до этой воли Божией хотелось ей свою волю как-то закрепить. Но когда шла домой, воля Божья сама постучалась в ее раскрытое сердце, просто и тепло:

— «Подрастет, отдам его в ученье, поручу его Воле Божией». Кто же это так просто и твердо сказал в ней или над ней? Даже и мечтой угадывать не посмела.

Митрий с обеда был на сходке. Около дома сельского писаря Филиппа Антоныча Лапшина была толпа и рев. Многие размахивали руками, горячились.

Возвращаясь от Петра Иваныча, Елена не решилась задерживаться и прислушаться. Не бабье это дело. Знакомым и незнакомым мужикам почтительно поклонилась, обошла кругом, через переулок, потому, что вся улица была запружена народом. Кричали все сразу и в отдельности, всякий о своем, а в чем было дело, никто толком не знал. Знали, что начальство лучше смекает, что ему надо. Писарь, с длинной желтоватой бородой, с гладко причесанными на одну сторону полуседыми волосами, вынесет бумагу, староста помуслит печать, приложит и скажет: — Расходитесь! — И мирно разойдутся.

Митрий тоже не вникал в суть дела. Он посматривал на небо и ждал ветерка. На гумне лежит ворох обмолоченной пшеницы, а ветра вот уже три дня не было. Так, холпит, ни то, ни се. Бросит лопату смешанного с мякиною зерна, и мякина и плевелы падают на гумно вместе с зерном. Так и лежит весь ворох непровеянным. Но сходка затянулась до сумерек, Митрий запоздал даже на ужин. (Вдолге после сходки оказалось: две недели надо отсидеть в волости, под арестом нескольким мужикам, в том числе Митрию. Решили на сходке не чинить «казенный» тракт за Шемонаихой — пускай одни Шемонаевцы чинят. Беду себе накричали, а тракт все-таки всем селом чинили.)

Просветленной, как никогда, пришла Елена домой. Входя на крылечко видит: Егорка вышел из переулка, грязный, в изорванной на животе рубашенке. Полынные веточки запутались в склокоченных волосах.

— Где ты был, измазался?

— Я петушка хотел поймать. Ты сказала, завтра с тятенькой на молодьбу поедем.

— И не поймал?

— Я отпустил его. — Он швыркает вздернутым носом.

Мать хватает его за нос концом фартука и опять ей неприятно, что этот противный насморк так, кажется, на всю жизнь и останется в его носу.

— Ну-ка, высморкайся. Седьмой год тебе, а нос сам высморкать не умеешь.

Но Егорке не до носа. Он провел все время с полудня в полыни, даже с Оничкой и с Фенькой на огород не пошел. Те и Андрюшку увели с собой. Коров пошел встречать Микола. У Миколки новые сапоги. Не стыдно показаться на народе.

Егорка же провел время в полыни, как в лесу. Полынь эта выросла высокая, как раз там, где больше шести лет тому назад, он родился.

Росла она вдоль забора их двора, в переулочке, по которому никто не ездит, но протоптана тропинка к Колотушкиным. В полыни дети прячутся, когда играют в прятки. Летом, в жаркие дни, туда забирался хитрый Цыган, потому что блохи, от острого запаха полыни, сами выпригивали из его лохматой шкуры. И подросших циплят туда уводили квочки. Одна из них все еще воображала, что циплята без нее обойтись не могут, вырывала там для себя ямку в пухлой земле, ложилась, назидательно квохтала и показывала молодняку, как надо отдыхать.

Там же у корней полыни Егорка иногда находил яички, радовался находке. Сегодня тоже начал свое ползанье в поисках яичек. Помня, как уже раз, по поручению матери, он подкрадывался к рывшимся в земле петушкам, хватал их и, чувствуя острую теплоту их тельца под перьями, торжественно вручал матери. Только всегда убегал, когда она несла петушка к чурке, чтобы отрубить головку. Этого он никак не мог перенести и видел, что отрубленную головку даже Цыган не брал. А Миколка тот уже давно сам рубил головы не только петушкам, но и старым курицам. Нельзя и Егорке быть трусом, надо научиться быть мужиком. Но когда поймал потушка, длиннолапого, с красивым гребешком и с хохолочком и когда тот заорал в его руках, Егорке стало страшно. Этот забияка, всегда первый прибежит на зов, первый схватит брошенную крошку хлеба, отбежит, проглотит и опять бежит, чтобы отнять у тех, кто зазевался. Держал петушка в руках и трепетал от страха. Это было первое пробуждение страха перед убийством живого существа. И он отпустил цыпленка с непонятным еще чувством радости от помилования. Но, отпустивши петушка, Егорка вылез из полыни, увидел мать, а за матерью, позади ее, пока она вытирала ему нос, приблизились пришедшие с Дальнего Ключа гуси. Гусята уже тоже выросли и хотя носы их еще не покраснели, а были еще серо-зелеными, они все же всякий раз грозили Егоркиным босым ногам, а однажды один из них сильно ущипнул как раз в самое больное место. Тут уже не только страх, а чувство самозащиты, подсказало Егорке смелые слова:

— Мама, а ежели заместо петушка гусенка заколоть?

— Ишь ты какой, лакомый! — прищурилась на него Елена. — Гусят никто не режет до заморозков. Тогда они большими гусями будут. — Она с гордостью окинула и пересчитала первое ее гусиное стадо. Пять, семь... Девять с матерью. Из этих она выберет еще гусиху и своего гусака.

Егорка выслушал и видимо одобрил расчет матери.

Поднимаясь на крылечко, она все-же настояла:

— Иди, поймай, который без хохолка. Того, с хохолком, мы на племя оставим. А то, когда на седало усядутся, в темноте туда к ним не доползешь.

— Вот я с хохолком который и отпустил! — обрадовался Егорка и опять полез в полынь на охоту. Но циплята были уже напуганы и не давались. Распугал, выгнал и остальных из

полыни. Так и не поймал. Пусть Миколка ловит, вечером на седале.

Через улицу, вслед за гусями, переходили трое: Оничка сгибалась под коромыслом. В одном ведре полно луку, в другом вода, но видно, что вода тяжелее лука и ведро все время перетягивает лук. Она неловко поворачивает белокурую головку так, чтобы не поворачивать весь груз на коромысле, оглядывается назад и кричит Феньке, которая тащит за руку отставшего Андрюшку и тормозит весь караван:

— Ну, идите же скорее, тут гуси!..

Это значит, Оничка и гусей пригнала и коромысло несет, и детей ведет и от гусей их охраняет.

Фенька в свободной от буксирования Андрюшки руке тоже несет дар огорода, большой пучек мокровки и две большие репки. Видно, что и она еле волочит ноги: огород далеко, на Дальнем Ключе, у нижней рощи. Мать выбегает им навстречу, отгоняет гусей, хватает на руки Андрюшку. Носик у него чистый. Этот слава Богуростет здоровенький. На его долю выпала более благополучная пора семьи. Раннее детство перенес даже без кори. Мать целует ребенка, берет у Феньки морковь и любуется плодами рук своих.

Оничка поставила ведра на землю у крылечка. Плечики ее от коромысла ломит. Она их поочередно почесывает сквозь кофточку красными пальчиками и хвалится:

— Мама! Это еще не весь лук. Там еще мно-ого осталось...

— Ну и слава Богу, — весело отзывается Елена и спешит в избу, чтобы покормить чем нибудь своих «работников», и уложить Андрюшку.

Егорка схватил одну из морковок и крепкими зубами хряснул, сразу половину откусил.

— Ой, сладкая, как мед! — И он про запас выхватывает из рук Феньки, еще одну. Но Оничка ворчит на него:

— Не хватей! Я это на морковник нарвала. (Морковник — пирог с вареной морковью).

— Да пусть он ест — не жалко, — заступилась Елена. — Морковки у нас там целая гряда... Тоже надо время выкопать. И картошки у нас нынче будет на всю зиму. Слава Тебе Господи!

Она уже забыла, сколько гнула спину в огороде, копала, поливала, полола. На себе навоз для удобрения огурцов в корзинке таскала.

Но не забыла, что на гумне лежит целый ворох с целого «посада» не провеянной пшеницы. Не забыла потому, что нет у них амбара. Уже все ящики зерном у них заполнены. Все сени мешками загромождены. Шила мешки из старых полотенец, из половиков. Митрий выпросил у Зырянова небольшие короба из-под кирпичного чая. Даже один, давно опустевший от приданого сундук Елены, вынесли в сени и до краев насыпали ячменем. А на гумне еще лежит ворох непровеянного дара Божия. Впервые на бедность Митрия и за труды семьи — уродил Господь. Слава Тебе, Господи! Слава!

VII

ПРАЗДНИК ИЗОБИЛИЯ

У Митрия гусь на столе

Во многих местах Сибири, день Покрова Пресвятой Богородицы, совпадает с покрытием земли снегом. Если не все долины и степи еще покрыты снегом, то высоты гор уже белеют и пролетающие над ними ветра охлаждаются и усиливают стужу даже в бесснежных равнинах.

День Покрова, по старому календарному стилю, падает на первое октября, по новому на четырнадцатое, значит до Филиппова Поста еще полтора месяца, а Филиппов Пост начинается по старому стилю четырнадцатого ноября, когда твердо устанавливаются санные пути, замерзают все реки и озера и дороги спрямляются и облегчаются прочными натуральными мостами. Но с Покрова и до «рекостава», то есть до замерзания рек, стоит еще осень, самая распутица, когда, что называется, нельзя ездить ни на санях, ни на телеге. Все-же Покров считается уже началом зимы, он резко разделяет, как самую погоду, так и поле от деревни. К Покрову все полевые работы должны быть закончены, хлеб на гумнах смолочен и провеян, а если остаются снопы, они складываются в «клади» или скирды, похожие на избы с крышами. Труд пахаря перемещается в деревню, поправляются дворы, заплетаются новые плетни, иногда для утепления двойные, чтобы между ними можно было заложить и утоптать солому. Для этого хозяева рубят, где только можно, однолетнюю гибкую поросль тальника-чащу, возами возят ее в деревню, укладывают поверх ряда жердей на повети, сверху покрывают соломой или сеном. Потом привозят, «загодя», еще на телегах, запасы сена, сметывают его на сеновалы и повети и во дворах становится темно. И не страшны теперь снежные метели.

В Сибири зима не только «через прясло глядит» во дворы крестьянина, она врывается внезапно и заметает, заваливает двор высокими сугробами, по которым свободно могут забежать

на поветь собаки или с салазками робятишки, чтобы прямо с крыши избы устроить свои веселые катанья.

Но снежные метели на морозе придут еще в Филипповки, а на Покров День не всегда и снег коснется серых, опустелых полей и лугов.

Митрий в эту его первую осень с запасами урожая, готов был не только встретить зиму, но и самый праздник Покрова, как день благодарения Богу за то, что он не отстал от более справных хозяев ни в молотьбе, ни в покрытии повети, ни в запасах для семьи. — Если не всю зиму, то до Великого Поста — пробьются без нужды.

За два дня до Покрова, Микола взял Егорку с собой и поехал за последним возом чащи, в долину речки Таловки. День был теплый, босой Егорка не нуждался ни в курточке, ни в шапке. Микола и сам, как настоящий лесоруб, был в одной рубашке: на работе, с топором, тепло до пота. Егорка помогал таскать чащу к телеге и отложил для себя и для своего дружка-приятеля Ваньки Агафонова, две самые прямые ровные чащинки: это для того, чтобы сделать из них по коню. А сделать из чащинки коня он сам умеет. Надо на нижнем, толстеньком конце талового прута сделать надрез, согнуть коленцем. Из коротенькой, тоже таловой палочки, сделать другое коленце, вставить его в надрез под главным коленцем, ниточкой перевязать палочку, получатся уши вместе с головой коня, а самую голову коня пригнуть вниз, крест-на-крест через коротенькую палочку. Но для того, чтобы конь бежал ретиво, на тонком конце прута нужно оставить один листик тальника — и тогда садись на коня, понесет что твой конек-Горбунок. И ржет и скачет и даже лягается. Оба с Ванькой они покажут всей соседской ребятне, как надо ездить на «бегунцах».

Когда приехали домой, Митрий с Оничкой заканчивали заваленку вокруг избы. Низенький плетень из чащи шел вокруг наружных стен, значит с восточной и южной стороны — северная и западная стены выходили в теплый двор, а узкое пространство между плетнем и стенами заваливалось сырым навозом. Сырым — оно будет теплее, потому что навоз даже под снегом будет «гореть» всю зиму и это сбережет не мало дров.

К вечеру и заваленка была готова. Сена на повети еще не было навожено, это можно будет сделать после Покрова. Соломы было настлано довольно, во дворе было тепло и чисто. Даже в

уголку плетнем отгорожен закуток для гусей. До холодов решили их кормить, благо есть свое охвостье, но к Покрову одного заколят. Три овечки, два теленка — оба почти что годовалые — приятная надежда на грядущие годы — обе телочки, будут жить вместе в другом закутке. Куры врываются в сени, проклевали один мешек с пшеницей. С курами в морозы будет плохо. Придется опять их всех под печкой, в избе держать. А после Рождества ожидается новый теленок от Бурёнки. Придется и его держать под кроватью. Жуют они, негодные, одеяла, покрывала, все, что в рот им попадет. Но Бог дает прибавление скотинки — нельзя не потесниться. Ростет хозяйство и заботы ростут. Все слава Богу!

Остановился Митрий для передышки. Отпустил Оничку: иди, помогай матери. Присел на новую заваленку. Сыровато, надо досточку подкладывать. Иначе кто посторонний сядет — штаны запачкает. Надо и об этом позаботиться. А главное — подсчитать, какие платежи без денег «обмануть»? Сборщика подати никак не обманешь: остается ему четыре целковых. Хорошо, что Микола еще «душой» не считается. Ну, а войдет в «возраст» — этот сам за себя постоит. Четыре целковых — до Нового года, хоть плач, а подай, а то последний самовар потащат из избы. Этого никак допустить нельзя. Четырех гусей продать, так по целковому здесь не дадут, а в город вести себе дороже будет стоить. — Где-то втайне у Митрия гнездится думка о пшенице. Но как же можно — из первого урожая себе на лето не оставить и на семена не отделить? Опасно продавать и опять же Зырянов по тридцати копеек за пуд не даст, а в город поехать — с одним возом?.. И не утерпел, прикинул, что это выйдет, если продать, скажем, двадцать пудов? По тридцать пять копеек — меньше никак он не отдаст. И тут же ловит себя: а что же ее обратно, домой везти? Да уж лучше домой — решает он и чувствует, что двадцать пудов останутся дома, запас. Твердыня! Нет, уж лучше пусть Елена опять зиму без новых обуток пробьется. Старые валенки ей подшил кожей и то ладно. Сам себе будет чинить и по морозу можно проплясать — шуткой заканчивает Митрий свои денежные сметы. Ведь вот он — хлеб: оба пастуха расчитаны без денег. Один взял полпудовки ячменю, другой мешок овса и пастушное уплачено. Нет, пшеничка — дар Божий — пусть лежит. — Встал Митрий с сырой заваленки, выпрямился, твердою походкой пошел к крылечку. Егорка с

Ванькой на таловых «кониках» гарцуют один другого фигуристей: у Ваньки конь танцует, встал на дыбы, «уросит». Ванька хлещет его прутиком, конь прыгает прямо на Егорку, а Егоркин конь все пятится, уж и не знает, как перемудрить Ванькиного коня. Ни отца, ни кого не видит, только видит, что листик-хвостик у коня отпал. Оттого у него и ходу вперед нету, только назад, безхвостый, непослушный «уросливый», непокорный конь.

Митрий с неподдельным удовольствием смотрел на мальчуганов и, постоявши на крылечке, пока ребятки на всем скаку атаковали старую полынную трущебу, он вошел в избу. В избе никого не было, кроме Феньки и Андрюшки. Он перекрестился коротким крестом перед божницей и потянулся левою рукой за иконную спину Николы Милостивого, его родительского благословения во время свадьбы, и на ощупь сосчитал там восемь медных пятаков. Значит, есть и у него еще наличная казна.

Никола Милостивый уже много лет служит казначеем для Митриевой семьи и за спиною у него всегда есть несколько копеек: больше всего на случай «странного человека», для гостя дорогого, сахару на пятачек купить, а то и за шкаликом водки послать, отогреть гостя с мороза, а лучше всего на свечку Богу.

Из этих медных денег, в Покров День утром, и взял Митрий пятачек: решил поставить три свечки — две двух-копеечные Спасителю и Богородице и копеечную Дмитрию Солунскому, имя которого выпадает на будний день в конце октября, но приведется ли быть дома в самую распутицу — лучше теперь же, спозаранку почтить свечкой святого, имя которого носит Митрий.

В церковь Митрий пошел один. Елена жарила гуся. В церкви Митрий встретил и позвал на гуся сестру Катерину с дочкой ее, Любушкой. Но при выходе из церкви он увидел Акулину, жену брата Василия Лукича. Она вела за ручку по крутым ступеням паперти полуторагодовалого Яшку, худая и чернявая, похожая на цыганку. Черные глаза редко улыбаются. Всегда и на всех сердита. Митрий, поджидая на паперти Катерину, подхватил Яшку на руки и, вместо приветствия, спросил Акулину:

— А кум Василий в церкви?

— Да нет. Он не богомольный. — И в свою очередь Акулина спросила Митрия: — А кума Елена не в церкви? Она, ведь, богомольная.

Митрий знал ядовитый язычек Акулины. Из-за нее и с братом у них дружба охладела. И сестру Катерину настраивала

против Елены, но Катерина скупа на слово и умом тверда. Ту не собьешь. «Богомольная» — пронеслось в его голове уколом, но после всеобщего благодарственного молебствия в церкви, он незлобливо сказал Акулине:

— Елена сегодня гуся жарит. Вот и приходите с кумом к нам обедать! — И чтобы приглашенье было передано брату, он прибавил: — А мы и не слыхали, что вы приехали из города. Когда приехали?

— Вчера приехали, — коротко отозвалась Акулина и, заметив, что Яшка вырывается из рук незнакомого дяди, сказала мягче: — Да ты пусти его на землю. Большой, пусть сам ходит. Я уж тоже не могу его таскать. Тяжелый.

Яшка, хорошенький, чистенько одетый ребенок, сам побежал к матери. Митрий домогался прочного мира с братом и, не слыша ни да, ни нет на свое приглашенье, подошел к спесивой бабе окольным путем. Он спросил:

— А Игренюху еще не продали?

Акулина откликнулась поспешно и с досадой:

— Да не хочет он расставаться с лошадью. Все еще о пашне думает. Слышит, что у тебя нынче хлеб уродился хорошо и решил: жеребенка от кобылы ждать. А в городе и без лошади-то, с собакой квартиры не найдешь. — И пошла, затараторила про город, про трудности городской жизни: — С ребенком тоже не во всякий дом пускают. А с лошадью? Ведь ее за рубль в месяц не прокормишь.

Катерина, рано овдовевшая, была и по природе молчалива. Не здороваясь, молча слушала. Крупная, в черном салопе с плеча барыни-приставши, у которой много лет была швеей и прачкой, она большими строгими глазами наблюдала за обоими и убедившись, что они не ссорятся, наклонилась к Яшке и, поднявши его выше себя, мягко улыбнулась и басовитым голосом сказала:

— А это чей такой золотой мальчишка?

Акулина обернулась и расцвела улыбкой, которая преобразила ее лицо и сделали почти красавицей. Митрий вставил в это время несколько коротких слов, сперва Катерине:

— У нас гусь сегодня. Приходи сейчас же вместе с Любушкой. — это прозвучало как приказ, на который не потребовалось ответа и Катерина молча приняла его. А потом Митрий приказал и Акулине, как старший во всем роде: — Ну, вот

придете, все обсудим. Может я и Игренюху на зиму возьму прокормить. Сена у меня нынче, слава Богу, хватит. И овсеца Бог дал. Не заморим. Значит приходите без всяких. Дома ничего не ешьте. Гусенок огромадный, на всех хватит.

Митрий надел на себя потрепанный картуз. На нем была все та же, полинявшая от времени, но еще целая отцовская «тальма» из черного сукна, в которой он когда-то венчался и под нею чистая рубашка, заплатки на которой никто не видит, как и хорошо починенные штаны были скрыты под длинной «тальмой». Заплатки же на сапогах он ловко подчернил деготьком и в общем свиду выглядел довольным, справным хозяином, который ждет гостей на собственного гуся в день большого праздника-Покрова.

Покров в Сибири, а может быть и во многих частях центральной России, в те времена, о которых здесь идет речь, был не только церковным праздником, но праздником урожая. Как и всюду на Руси, не весь народ валил в церковь, а большинство его и вне церкви праздновало, но по земному, пиром и весельем, а кое-кто, радуясь праздничку, был уже и накануне пьян.

Вероятно и сам Микула Селянинович вина настаивал, пива наваривал именно к Покрову, празднику обильных даров осени, когда и закрома полны и погреба полны и страдный труд позади, а суровая зима с настоящими метелями, еще не ворвалась во всякую щель; морозами и гололедицей не заковала все дороги. В Западной Сибири, до половины октября это еще бабье лето, но бывают и дожди и перепадают снега, грязь на дорогах вдруг застынет и образует так называемые «шипы» со льдинками в копытных ямках, с катушками на месте луж. Бывает, что и с начала октября выпадает распутица, поэтому в Покров народ гуляет большей частью пешим порядком, а гулять — это значит — всенародно и группами и семейно пировать и веселиться во хмелю. Но в Покров не разбегутся ни на телеге, ни в седле. Брызги грязи не способствуют веселью ни прохожим, ни ездакам. Выпивают вмеру, а не до безобразия, потому, что принято «гулять» и старому и малому, значит надо соблюсти и благоправие — пример молодняку и не обидеть пьяным словом ближнего. В трезвом виде на другой же день придется встретиться, жить вместе. А

вмеру погулять и взрослым и детям на Покров День даже полагается.

И вот вы видите по улице идут широким рядом женщины и мужчины, старушки и почтенные седобородые хозяева, в обнимку, медленно, идут и все поют. Поют и заунывно, поют и весело, с припляской, вроде всем известной песенки:

— «И пить будем и гулять будем,
А смерть придет — умирать будем».

Да, да, в Покров День разрешается открыто гулять даже детям. Подростки-девочки, подражая матерям, заранее делают из ягодных соков безхмельное пиво-квас, пекут маленькие, но настоящие пироги и коржики, угощаются и, сторонясь мальчишек-шалунов, также широким рядом и в обнимку идут по улице и поют. Шум этих песен гудит во всех концах села.

Мальчишки тоже составляют свои отдельные компании. Только эти больше подражают пьяным мужикам, особенно, когда на встречу им приближается ряд девочек: они шатаются, идут зигзагами, притворяются дико-пьяными и, как бы чувствуя на своих лбах настоящие рога, стараются боднуть тех из девочек, которые им больше нравятся. Это потешает девочек, разыгриваются сцены, иногда почти что драки, но чаще все кончается комедией, смехом, визгом и весельем.

Подружки из дома Касьяновых приглашали в свою компанию и Оничку. Но дома мама жарила гуся, тятенька решил позвать тетку Катерину с Любушкой, а Любушка постарше Онички, почти ровесница. А раз будут гости, на Оничке всегда забота о Феньке и Андрюшке, да и в погреб сбегать, и в подполье спуститься, пол подмести, посуду вымыть. Оничка не может «погулять», а так бы ей хотелось. Но Любушка не пришла. Ее пригласили «гулять» в рудник Таловский, в семью Жеребцовых. А туда, слышно, приехал Никитушка Воробьев. Точь в точь, как отец наворожил: Никитушка в Покров решил посватать Ольгу, сам, без сватов и родителей. Вот там будет веселье. Виктор Степаныч, отец Оленьки, не одного гуся, а целого барана сам зажарит. Они богатые и Оничкина крестная, Лизавета Петровна, за своим мужем, говорят, как за каменной стеной. Он сам жарит, варит, сам пиво делает из меда.

Зато, к удивлению Онички, в избе у них появились новые гости: Егоркин крестный Василий Лукич, Акулина Ильинична и

сын их, маленький Яша. Нежненький такой, совсем, как девочка. За много лет у Митрия собрались брат и сестра от одной матери. Павел Лукич, младший брат, находится в солдатах. Тот от мачихи.

Не даром Елена не пошла в церковь. Так хорошо зажарила гуся, так все приготовила, что не совестно принять самых капризных гостей. Как знала, что будут и нежданные гости: всех детей накормила до их прихода. Уж очень торопился на охоту с Вялковым Микола. Заверил мать, что новые сапоги трепать по кустам и грязи не будет. Вялков обещал ему дать старые, в которых жена Вялкова, Марья Федоровна, работает на поле. Митрий успокоился и даже сказал:

— Вялков худу не научит. — А когда увидел на столе бутылку настойки, совсем повеселел: — Лизавета заезжала? — догадался он. — То-то я их в ограде церкви не видал.

— Лизанька, как знала, что у нас будут гости, — подсказала Елена и прибавила: — Это она мне на случай болезни, а я уж решила подать к гусю.

— Ну, — сказал Митрий, стоя перед застольем гостей с бутылкою в одной руке и со стаканчиком в другой — Гусь, сказывают, тоже плавал. Первая рюмочка сестре моей Катерине Лукиничне. — Он был в приподнятом веселом настроении, хотя еще не выпил ни одной. Но Катерина упорно отказывалась, пока он первый выпьет. — Ты, Елена, сиди с гостями, — командовал Митрий. — Видишь, Оничка тебя заменяет. — Он уступил сестре и первую рюмку выпил; как горький пьяница поморщился и крякнул от ожега в горле. — Видите, — не унимался Митрий. — И Фенька знает свое дело — Андрюшку нянчит и Егорка Яшу на себе повез. У меня, брат Вася, тут порядок! Миколка мой, одинадцати лет, а робит, как мужик и сапоги я ему нынче справил настоящие... А ну-ка, кумушка, Акулина Ильинична. Пей — не пролей!

Но и Акулина отказалась пить.

— Нет, куманек, ты уж сам сперва...

— Не-ет, кумушка, это когда все по второй пойдем, тогда, а так, просим милости не обессудь: чем богаты, тем и рады. — Уговорил Акулину, выпила полрюмочки. Поспорили из-за второй половины, но Митрий переспорил. Выпила.

Митрий знал, что если он сегодня развяжет язык, то только для того, чтобы переговорить Акулину, а еще лучше, если и вовсе

не даст ей говорить. Боялся он ее ядовитых слов, боялся именно сегодня, когда впервые и сам ни на кого злобы не питал и гостям был от всего сердца рад. Видели гости, проходя через заваленные мешками сени, что есть Митрию за что Бога благодарить, а гусь на столе — есть первый собственного выводка гусь. Елена как-то, не спросясь, не советуясь, весною посадила гусиху, дар кумы и сестры Лизаветы. И добром помянул старшую Еленину сестру:

— Другие богачи бедную родню и на порог не пускают, а эти сами заедут, не гнушаются. Виктор Степаныч иной раз пустит острое словечко, а тут же его чем нибудь пригладит. Дом у Жеребцовых полная чаша, а и ребят же полон дом. А ну-ка, Елена, подскажи, кто у них после кого? Бываю у них редко и сосчитать не успеваю, а все девки, девки.

Елена церемонно взяла от мужа стаканчик. Церемонно, как в гостях, всем улыбнулась, назвала по имени и отчеству всех четырех: мужа, деверя, сноху и золовку и еще не выпивши опустила глаза и перечислила детей сестры Лизаветы:

— Ну, Ольга первая. Ей теперь уже девятнадцать. Потом погодок Александр, за ним будет Илья, а потом Яя, это значит Шурку они так зовут. Так она сама себя звала, когда была маленькая, так ее и теперь все зовут: Яя да Яя. Ну, а потом Лизавета, этой тоже восемь лет, ровесница нашей Онички...

— Да ты выпей, потом пересчитаешь, — перебил ее Василий Лукич.

— Выпей, выпей, — присоединилась Катерина, — а то Василию Лукичу пора и по второй подносить.

Елена подчинилась, поднесла к губам стаканчик, как-то не смело пригубила и сразу же закашлялась.

— Ну, нет уж всю до дна! — скомандовал Василий. И опять немного покуражилась Елена, так уж полагалось для приличия и выпила смелее и с явным удовольствием. И пока Василий, уже принявшийся после закусок за гуся, заранее разрезанного на куски разных размеров от разных частей, на вкус и цвет каждого, спорил с Митрием, чья теперь очередь, а очередь оказалась за Митрием, Елена досказала имена остальных детей Лизаветы:

— После Лизаньки, это, значит, дочки, названной отцом в честь матери, идет Сонечка, по шестому году, а за ней опять Аполинария, Поленька, по четвертому... Ну, а последней, Маничке, всего только годик.

— Дак сколько же это у них девок? — громко воскликнул Василий. — И сколько же надо им приданого готовить, чтобы женихов настоящих приманить?

— И все одеты, как куколки, — вставила Катерина. — Вот Любушка моя к ним поехала на праздник, а там их будет еще больше, от других соседей понаедут.

— И всех учат грамоте, — с гордостью прибавила Елена. — Сестра Лиза сама хорошо грамотна, а Виктор Степаныч — тот уж прямо писарь. Ну и бабушка у них, мать Виктора, старушка благородная. Старший-то брат Виктора где-то почтовым начальником служит. Показывала она мне письмо: бисер, прямо жемчужный бисер, а не письмо. А ты не забывай! — сказала она Митрию: — Кум Василий Лукич вторую ждет.

— Ну, не-ет, кумушка, теперь мы с этого конца начнем, значит твоя очередь.

И опять приятный спор и повышение градусов. Митрий после второй так еще и не успел ничего закусить, а веселье поднимало его все время на ноги, так что и бутылку он не выпускал из рук и садиться не хотел. Хотелось ему говорить и уже знал, что сказать и как сказать. Когда он весел, а для этого ему надо не больше двух стаканчиков, он преображался и узенькая, рыжеватая его бородка поднималась кверху щеточкой, а сквозь пушистые бачки пробивался румянец на щеках,

Гости ели гуся с увлечением. Рот Акулины был занят. Маленькие ручки Оничкн то и дело ловко мелькали возле тарелок перед лицами гостей и матери. Что требуется, она сама поставит, взмахнет ручонками вверх, сложит их ладошками у сердца — подумает, не забыла-ли чего и снова ее синяя юбочка раскруживается зонтиком вокруг ее фигурки. Митрий молча, искоса, ей ухмыляется, а она еще старательнее, еще сдержаннее размеряет свои движенья, чтобы чего не пролить, не уронить. Радуется сердце Елены. В глазах гостей похвала и даже зависть: откуда у девочки такой опыт и всего-то ей девятый год?

Митрий не спешит с повторением выпивки. Для того и спор о каждой рюмочке, для аппетита и смех и шутки. После третьей, выпитой Василием, Митрий от своей третьей решительно отказывается. На ногах он тверд, но все более словоохотлив, до безумолку.

— А Алеха Кучерявый так и не хотел жениться. Мужику уже под тридцать, а и ндрав хороший, парень хоть куда, а вот

не женится. Как-то на наше мужики в шутку спрашивают его: «Кто тебе, Алеха, кудри твои так ловко завивает?» А он им отвечает: «А этого, говорит, и звездочка ночью не увидит».

Смотрит Елена на Митрия. Четырнадцатый год женаты, а таких разговоров от него не слыхивала. Все было не до того, все некогда, не до шуток. А вот поди же, неуж-то Акулинины циганские глаза его так разогрели? А Митрий не унимался:

— А вот у Кайгородова, Ивана Кузьмича, работник был, тоже вроде Алехи, здоровый детина и тоже под тридцать, а жениться не хотел. А у Ивана Кузьмича была дочь на возрасте, не то, что переросток, а того гляди и завекует в девках. Полная да пригожая, а женихов не находилось. Тут уж сама виновата: тот мал ростом, тот на обличье не казист, а тот опять больно долговязый. Иван же Кузьмич рано овдовел, дочка в доме сама себе барыня и жаль ему выпускать ее из дома. Одна дочка, сыном Бог не благословил. Вот он и говорит дочке:

— Игнат, говорит, парень подходящий, а что бедняк, так, если ты согласна за него выйти замуж, я с тобой ему все хозяйство отпишу.

Как заплачет девка. Не хотит, говорит, он на мне жениться. Да ты откуда это знаешь, спрашивает ее отец, а она ему: да ты сам-то слепой что-ли? — Тут Митрий ловко обошел прямое слово, а для того чтобы дети и особенно Оничка не поняли намека, он закончил шепотом над ухом Катерины: «Я же тебе, говорит, внучка скоро принесу».

Акулина услыхала шопот без усилия, а Василий и так все понял. Елена только покачала головой и видела, как Оничка была увлечена раскладыванием сладкого пирога на блюдечки и как она должна была отстреливаться глазками от неотступных глаз Егорки и Феньки, которые этого пирога еще не пробовали.

— Дай им по кусочку. И Яше отрежь! — сказала Елена, все понявшая из выразительной перестрелки безмолвных детских взглядов на пироги и на Оничкины волшебные ручки.

Митрий чуял, что наевшиеся гости слушали его более внимательно, даже Василий, после третьей рюмки, понимал как будто больше, нежели до третьей. Но наедался он на долгий срок: в городе так угощать никто не будет. Он даже спросил брата от всего сытого и веселого сердца:

— А откуда ты, кум, все это знаешь?

— А слыхом земля полнится. Ведь теперь внученку Кайгородова уже три годика, а про отца его никто не знает.

— А закон же где? — строго спросила Митрия сестра Катерина. — Обманул, ведь?

— Ах, сестрица! Кайгородов — скала человек, решил и дочку не срамить. Да и што с него, забулдыги, взять? С тех пор и побелел, как лунь, Кузьма Иваныч. Да и девка свыклась. Сидит дома затворницей... А вот Алеха Кучерявый, вижу, стал похаживать к ним в дом. Видно по всему, надоело парню холостым шататься. Дай Бог, сговорятся, грех прикроют законом и хозяйство Кайгородова будет в крепких руках. В нашем быту — все на виду. Греха ни от кого не спрячешь, а кто не грешен перед Богом? — спросил Митрий в упор Василия Лукича. — Кушай, куманек, клади медку-то побольше: это мы с Егоркой на чеснок меду наменяли. Вот где живут люди! Прямо сказать: по колено в грязи, зато по локоть в масле. Крестьяне первород-ные, а зимою руду из Усткаменна в Змеёво возят. Живут короли-князья, как у Христа за пазухой.

— Митенька! — прервала его Катерина. — Да ты бы сам то хоть немного поел. А то ты поди и до обедни ничего не ел? Заговорился.

Митрий посмотрел на остатки вина в бутылке, подмигнул Елене:

— Тут тебе на черный день еще останется. А ну еще по одной! Василий Лукич?

На этот раз все шумно заспорили: довольно, и Митрий должен поесть гуся. А то гусь уже остыл, гости уже и сладкий чай с пирожками из сушеной полевой клубники отпили. Должен Митрий и языку дать отдых.

Молча принял все советы Митрий; Елена уже давно положила для него в тарелку и гуся и все, что полагается, заморить червячка. Отставил он бутылку, взял из рук Елены тарелку, а вилку отложил. Руками выбрал гусиную ногу, запросто, поохотничьи, отхватил хорошими, без единой ущербинки, зубами полный рот мяса, еще раз подмигнул Елене, дескать гусятинка хороша, пережевывая, проглотил, еще раз откусил и, на этот раз, еще с недожеванной едою во-рту, Митрий Лукич не дал даже минутки отдыха ни себе, ни другим, чтобы, не дай Бог, кто не перебил его и не помешал сказать то, что он намерен был сказать, в уме держал.

— А это, говорится, не любо не слушай, а врать не мешай. А к чему-что? А к тому, что на себе я испытал шахтерскую

участь и вижу, кто есть среди нас живой человек. А живой человек — это первородный мужик, значит пахарь на земле. А почему зять мой и куманек Виктор Степаныч Жеребцов давно без должности, а дом полная чаша? Потому что во-время пашней занялся и скотинку развел. Вокруг наших рудников все первородные крестьянские люди поселились. Выдриха — сплошь первородная деревня. Шемонаиха — богатецкая во всей округе крестьянская жизнь. Я видел, как они на пашню или на покосы едут. Как на праздник: все мужики и бабы в своем домотканном холсте. Выйдут с косами на луг, как стадо лебедей да с песнями! А ниже по реке Убе — деревня Вавилонка, а еще ниже, при впадении реки в Иртыш, деревня Убинская: там другой мой зятек, Павел Иваныч Минаев в купцах сидит. А почему в купцы вышел? Потому что отец и деды — тоже первородные мужики-пахаря были. А вот в горах, туда за деревней Кабанихой, там ты вовсе не поверишь, куманек, люди живут прямо боярами. Сердце радуется на их дома, на их ворота с резьбой: и как дома внутри раскрашены! А бабы, Василий Лукич, это просто — кровь не то что с молоком, а со сливками, да еще и на меду.

— А ты попробовал? — громко перебил его Василий.

— Ты не шути! — Митрий приподнял указательный палец правой руки в сторону Василия и слегка погрозил им почтительно. — Я это все для тебя говорю, куманек. Вот ты хоть и в городе, а, слышу, Игренюху продавать не хочешь. Хвалю! У тебя тут восемь десятин наделу лежит. И сын растет. — Тут Митрий еще выше поднял указательный палец. — И у меня три мужика подростают и Микола мой — это уж без ошибки будет первородный пахарь. А земля наша тут вокруг! Да это же готовое ржаное тесто, бери голыми руками и прямо в печку, пеки пироги.

— Ну, вот и паши мою землю! — опять перебил его Василий.

— Подожди, подожди! — Митрий помотал свой палец из стороны в сторону, запрещая брату перебивать его недосказанную речь. — Земли тут еще для всех нас хватит. Вот зиму перебьюсь, весной с Миколкой в лес пойду. На амбар хочу лесу из гор по реке Убе приплавить. Больше пока загадывать грешно, а амбарчик на будущую осень это уж, как пить дать, срубим. — И тут, как в капкан поймал Василия простым и неожиданным вопросом: — Игренюху, ты, значит, мне оставишь на прокорм?

— А не заморишь? — весело спросил Василий.

— Овес у меня есть. Но работать она у меня за свои харчи должна будет наравне с моими. Верно?

— Верно! — строго ответил Василий. — Вижу, ты крепко стоишь на ногах, Митрий!

Это прибавило Митрию веселья и голос его зазвучал еще крепче и все стали его слушать, как будто впервые поняли в его речах самое значительное и самое важное. Акулина подперла рукою острый подбородок и глаза ее горели недоверчивой усмешкой. Но лучше всех слушал и запоминал слова отца Егорка. Не то, что он все понял и все точно запоминал, но он смотрел на отца сбоку и запомнил, как шевелится его рыжеватый ус и как вздымается и вздрагивает его густая бровь и поднимается и опускается узенькая бородка. Очень нравился ему отец в этот день покровского обеда. А Митрий, как будто чуял и Егоркин неотрывный взгляд и говорил и говорил и заставлял всех его слушать непрерывно.

— Ну, а что бы мы тут делали, шахтеры? Рудники один за другим закрываются. Вот и Сугатовский без малова закрыт. Таловский давно закрыт, а наш Николаевский и вовсе никогда из-под воды живым не встанет. А вот живет село, потому что и здесь нашлись первородные мужики. Ну, Кайгородов уже стар и одинок, а Булкеевы, а Трусовы, а Бочкаревы, а сосед мой, дай Бог здоровья, Кирила Касьянов? Ну, а Вялков — это же человек — всем на поглядку. А сам даже неграмотный. Вялкова я так уважаю, что ежели бы помоложе был, пошел бы к нему в работники на выучку. Ну и работники же всякие бывают. Вот опять же Алеха разболтал про одного, который до Алехи был у Вялкова. Это уж не то, что скала, а прямо утес-твердыня первородная, — Вялков, Михайла Василич! Сам он хвастаться не будет и про случай с этим работником это Марья Федеровна, жена Вялкова, секрет раскрыла и то лишь потому, чтобы новому работнику не вздумалось хозяина в грех вводить.

Лицо Елены порозовело, помолодело, все морщинки разгладились. Было и ей кое о чем вспомнить и кое о чем помечтать. Настоящей любви между нею и Митрием никогда не было. Говориться в этих случаях, когда женятся или замуж выходят не по своей, а по родительской воле, что дескать: стерпится, слюбится. И об этом не было у них времени подумать. Непрерывная борьба с нуждой, непрерывный недосуг. А вот слушает она

сегодня Митрия и забывает все его обиды и грубости, и кажется он ей и умным и даже привлекательным. Митрий, как будто и это чуял и правилось ему сегодня говорить не только для гостей, но и для Елены, которую он тоже как будто впервые увидал по настоящему, нежной и тихой и всегда покорной, так что жаль ее, хоть плач от жалости.

— Ну, так вот: про Вялкова! — продолжал Митрий. — Работников он нанимал всегда, одного на круглый год, а другого прихватывал на лето, с весны до Покрова. А держит их и год и два и больше. Даже ленивых не расчитывал, только бы не вор. Платил он им подходяще, кормил до отвалу, рабочую одежу, сапоги, валенки, рукавицы — все им готово от хозяина. Вот взял он одного из приблудных, не спрашивал ни роду, ни племени, на вид здоровый, только жаловался, что у него грыжа и тяжести поднимать ему вредно. «А пудовку с семенами по пахоте нести можешь?» — спрашивает его Вялков. — «Ну, когда надо и до пяти пудов мешок могу на спине унести». — Взял его Вялков осенью, как раз, когда амбары были полны хлебом. Только в мясоед, перед масляницей, заглянул в сусеки (закрома), видит пшеницы на половину убыло. Что за оказия? На мельницу он отвозил из другого сусека, а эта отборная, на семена отдельно отсыпана. Задумался хозяин. Без причины ни на кого грешить не хотел. Только вскоре после того видит: почти все курицы, с утра, прямо с седала, под амбар бегут, а оттуда еле выходят: зобы полны пшеницей. Что такое? Неуж-то мыши пол прогрызли, пшеницы насыпалось гора? Подполз он под пол амбара, так и есть. Куры разгребли гору, другая опять сыплется. Пощупал пол, нет, не мыши, а папарием три дыры просверлено. А со стороны заднего двора свет просвечивается от снега. Значит ход туда. Проверил, понял, дело рук домашнего человека. И не то ударило его в сердце, что таскал вор пшеницу мешками, а то обидно, что выпустил больше половины самой отборной, зерно к зерну, пшеницы и на семена придется прикупать! Никому ничего не сказал Вялков. Выждал время, когда работник уехал за соломой, выгреб оставшуюся пшеницу в мешки, выломал две половицы в полу сусека, сказал Марье Федоровне, что уйдет на ночь волков высиживать. Взял ружье, оделся потеплее, вошел в амбар и просидел всю ночь. Никто не приходил. Просидел и вторую ночь и так пять ночей подряд сидел и ждал. Но ружья даже не заряжал, а держит в руках веревку, дремлет и ждет.

Вот, наконец, послышался под полом шорох. Полез вор, только подставил он пустой мешок, приподнял руку, Вялков накинул на нее петлю из веревки, поволок. Ну, сила Вялкова всему селу известна, тут ни стоны, ни крики, ни поклоны в ноги не помогут. Скрутил он его веревкой намертво, а чтобы не заморозить, скинул свою шубу, накинул на вора и оставил его спать до утра в амбаре. А сам пошел отсыпаться. Пять бессонных ночей провел на охоте за этим зверем. Работник, свой человек — вот кто оказался вором.

Митрий перевел дух. Зная, что теперь уж никто не перебьет его и подождут, пока он немного выпьет чаю и закусит пирогом, уселся у стола и жадно с'ел и выпил, что хотелось. Василий не стерпел:

— Ну и что же сделал он с вором? Кража со взломом, значит каторга?

— А ты подожди. Тут надо знать Вялкова. Ни бить он не будет, ни под суд не отдаст. А когда сам выспался, сердце у него отошло. Пошел он в амбар, видит, вор дрожит, зуб на зуб не попадает, но под хозяйской шубой не замерз, а дрожит от страха. Вялков сам боится своей силы. Развязал он своего работника, привел в дом, да не в стряпчую избу, а в горницу. Велел посидеть немного, отогреться, а сам пошел в подвал, принес бутылку водки, подал вору, сам выпил, а потом и говорит:

— А ну, снимай штаны, показывай мне грыжу!

Мужик бросился ему в ноги. Никакой грыжи у него нет. Он все это соврал, чтобы тяжелой работой не надорваться.

— Стало быть, полными мешками таскал пшеницу? — спрашивает его Вялков.

— Не полными, — говорит тот без утайки, — а так, пуда по три уносил.

— Сколько мешков унес? — спрашивает хозяин.

— Мешков пять унес, врать не стану.

— Пять унес, а десять выпустил на разоренье курам?

Молчит мужик, вор пойманный, сказать тут нечего. А Вялков и сам еще не знает, что с ним делать. Отдать под суд — человека погубить, но и прикрывать вора — не дело. Что соседи скажут? А оставить на свободе и не переломить хребет: после этого случая никакой вор не успокоится, красного петуха пустит, погубит все хозяйство, разорит. Вот и смотрит Вялков в самые воровские глаза да так, что уж не соврешь и промолчать не посмеешь. Спрашивает эдак через зубы, вроде, как шепотом:

— Кому продавал?

Опустил мужик глаза, смотрит в пол, на хозяина не смеет поглядеть. А хозяин неотступно пытает:

— Ежели-бы, — говорит он, — не было бы скупщиков краденого и воров бы не было. Говори, кто тут подговорил тебя пшеницу воровать?

— Христом Богом клянусь, — говорит вор, — никто меня на это не подбивал и никто пшеницу у меня не покупал.

Тут Вялков совсем даже понять не мог такое дело.

— Ежели, — говорит, — никто не покупал и ты никому не продавал, зачем же ты воровал пшеницу? В подарок что-ли кому таскал ее?

— Так точно, — говорит вор, — в подарок таскал.

— А кому? Не скажешь?

— Нет, говорит, — не скажу, хоть убей меня.

Догадался Вялков. Была у нас тогда тут на селе вдовуха, тоже из приблудных, а слухи о ней ходили недобрые. От баб наших ничего не скроешь. Тогда Вялков еще спрашивает:

— Стало быть баба тут замешана?

— Так точно, — говорит мужик, — есть такой грех, а только я ей говорил, что пшеница моя, заработана.

— Ну, это ладно, что бабу покрываешь, — говорит хозяин. — Сапоги, — говорит, —и все, что на тебе, оставь себе, деньги, что тебе полагаются, тоже получишь, а только вот что ты для меня сделаешь: и это уже для отвода глаз, чтобы никто ничего не знал и никаких в нашем селе сплеток не было. Теперь, — говорит, — ты сам возьмешь в амбаре мешок муки... а не пшеницы и отнесешь своей бабе, а потом чтобы обоих вас у нас тут и духу не было. Дам тебе на это три дня сроку.

Тут опять вор Вялкову в ноги:

— Избавь, — говорит, — люди увидят, не поверят, что несу некраденое. Не надо, — говорит, — мне никаких от тебя денег, ни сапог, ни зипуна, а только отпусти грешного человека, не подавай в суд.

Долго сидел Вялков, смотрел в пол и думал. Трудно было ему отпустить без наказанья вора, а бабье дело сбило его с толку. Потом мне сама Марья Федоровна призналась: не по доброте хотел Вялков, чтобы мужик отнес бабе мешок муки, а хотел он испытать: поднимет вор мешок в пять пудов или хребет себе сломает? Очень был ожесточен он сердцем и хотел, чтобы вор

сам себе хребет сломал, а потом жалко ему стало и мужика и бабу. Сбил его мужик тем, что не хотел позорить бабу, а баба и сама, может, не по своей вине с пути свернула.

Митрий, видимо и сам был озабочен положением Вялкова и может быть смолк потому, что сам у себя спрашивал, как бы сам он поступил тогда с этим вором? Эта Митриева задержка конца к рассказу, вынудила Василия опять переспросить:

— Дак чем же все это дело кончилось?

— Чем кончилось? — как бы спросонья сам себя спросил Митрий. — Вот в том-то и дело, что кончилось это дело так, что и в книжках так не пишут. Как раз тогда нанял Вялков Алеху Кучерявого. Поглянулся ему этот парень, да и правда — сокол. Пошептался он с ним. Велел запречь пару рыжих в добрую телегу, наложил всего на дорогу, посадил рядом с Алехой мужика и говорит ему:

— Забирай свою бабу. Алеха отвезет тебя, куда скажешь, только дальше тридцати-сорока верст лошадей гонять не дам.

— Ну, тут уж ни баба, ни мужик позора не боялись, уехали, как муж и жена, а Алеха после сказывал, взаправду как-то поженились, только уехали подальше от наших мест. С тех пор Вялков спит спокойно и красного петуха отпугнул так, что не прилетит обратно да и за что такого хозяина поджигать?

Митрий под конец сам громко расхохотался и прибавил:

— С тех пор у нас на пашне либо на покосе пошло присловье. Ежели кто пожалуется на грыжу либо на другие слабости, ему советуют: иди, говорят, к Вялкову, он от всех болезней может вылечить...

Как никогда еще, дружно и весело прошел Покров в избе у Митрия. Но гусем и рассказами Митрия день не кончился. Василий Лукич получил и принес с собой письмо от отца, значит от дедушки, Луки Спиридоныча. Но это уже начало нового для Егорки приключения и надо рассказать о нем подробнее.

VIII

В ГОСТЯХ У БАБУШКИ

ВСЕ дело началось к концу обеда у Митрия в День Покрова, когда Егоркин крестный, Василий Лукич, уже перед закатом солнца, вынул из кармана и положил на стол письмо. Он вынул письмо из конверта, разгладил его на столе, подвинул в сторону Елены. Та по писанному хорошо читать не умела и подала письмо Митрию, который мог читать и по печатному и по писанному, как говорилось: читает, «как рекой бредет». Митрий нахмурил над письмом густые брови и сказал:

— Уж больно мелко пишет папенька. — Но вышло у него не «папенька», а «паенька». Это насторожило Егорку. Почему не «тятя» и не «тятенька», а «паенька». Значит особый у них дедушка, не как все старики-дедушки, каких он видит на селе.

Василий Лукич встал из-за стола, размялся на ногах, слегка покачался из стороны в сторону и подошел к брату. Только теперь по настоящему Егорка рассмотрел своего крестного. Немного выше отца, с усами и с такими же пышными бачками на щеках, но без бороды, он мало походил на Митрия, а скорее на Катерину, большеглазую и чернобровую. Нос у обоих ровный и прямой. Тут же Егорка смерил глазами носик Яши — совсем не курносый, как у Феньки, а хорошенький, прямой, чистенький носик. Понравился Егорке крестный, который в это время пытался помочь Митрию прочесть в письме то, что сам он не разобрал, просил прочесть Елену. Егорка украдкою подлез под ноги отца и снизу вверх увидел письмо. Письмо — это значит: на тонком белом листике бумаги наведены тоненькие строчки, очень мелкие крючечки, кругляшки, черточки и — словом: чудо, которое отец и мать и крестный могут понимать и не поняли только несколько линеек, называемых строчками.

Тут Елена тоже встала из-за стола. Не хотелось ей признаться при Акулине и Катерине, что она не может читать по

писанному. Вспыхнув до ушей румянцем, может быть от выпитой наливки, может от того, что страшно, если не прочтет письма; она вытерла фартуком руки, осторожно взяла из рук Митрия письмо и сразу прочитала:

— «Милоствый Государь... Василий Лукич!..»

— Ну, это все я и сам прочитал, — сказал Василий, — а вот дальше: «Уведомляю вас...»

— «Уведомляю вас... — продолжала Елена, — я на...зна...-чен... на пос...тоянную, а не на временную должность в рудник...»

— И это все я прочитал, — горячился Василий, — а вот это какой такой рудник?

Дальше этих слов, написанных бисерно-красиво, буквы были связаны так искусно между собою, что никак не разобрать, где кончается «е» и начинается «с», но Елена разобрала: — «Рид...-дер...ский».

— Верно, — подхватил Митрий, — есть такой в горах, под Белками. (Район белоснежных гор Алтая, во главе с ледниками Белухи).

— «Спроси Митрия», — читает открывшая секрет рукописания Елена и тут Митрий, хоть и может читать дальше, не мешает Елене показать себя, а только подмигивает Катерине, — «не может-ли... он... справить... три подводы... и перевезти мою семью из рудника Чудака... в рудник Риддерский?» — Елена читает голосом твердым, хоть и по складам, но уверенно, а Митрий ее перебивает:

— Понятное дело могу! Вот и Игренюху припрягу к Игренему. Пара будет знатная. А ежели по первопутку, то и четверо дровней могу наладить. У Вялкова одолжить можно кошеву обитую войлоком, очень даже приятно! — Митрий был особенно доволен, что старик-отец дает ему такое важное порученье: всю семью, значит мачиху, Соломею Игнатьевну и четырех ее детей как бы поручает его попеченью.

— Вот это новость так новость! — восклицает Василий. — Это значит из Чудака старика нашего переводят во-он куда. Стало быть, придется тебе перевозить всю ту же домашность, которую мы, — помнишь? — лет тому десять укладывали, увязывали отсюда и перевезли в Чудак. Вон какое дело! А ну-ка, Митрий, тут вот еще приписано внизу, не разобрал я.

Митрий снова хмурит брови, но притворяется, что разобрать не может и протягивает письмо Елене. Так уж он решил возвысить ее сегодня перед всем честным застольем.

Елена снова краснеет, на этот раз от удовольствия и разбирает также медленно, но верно:

— «Пашеньку», читает она, но Василий Лукич ее перебивает:

— Вот я тоже читаю: «пашенку перевели...» Какая у них пашенка, давно всю землю здесь забросили?

— Пашеньку... — опять читает Елена, — перевели в учеб...ную команду... во Владивосток...

— Ну, так значит Павла, меньшака в учебную команду... — подхватил Василий Лукич. — Ну, это другое дело! Парень грамотный, раз в учебную команду, значит в унтер-офицеры выйдет... Но, батюшки, куда-же его угнали? Митрий, ты знаешь, где это Владивосток?

Митрий посмотрел на Елену. Та подняла голову, подумать, вспомнить.

— Это где-то под Китаем. — мечтательно пыталась угадать Елена. — Это где-то за Амуром рекой.

— Ну, я же и говорю: вон куда законопатили Пашеньку. — с уверенностью знатока опять выкрикнул Василий. И округлил на Елену большие серые глаза свои: — И откуда ты, кума, все это знаешь? Я знал, что где-то далеко, а что за Амуром рекой, этого не знал.

Елена на этот раз поглядела на Митрия. Тот тоже должен знать, потому что сам рассказывал, как он, когда был подростком, припрягал тройку лошадей из заводской конюшни, а из другого рудника была другая тройка. На шестерке из станицы Убинской Митрий вез до Шемонаихи походную кухню в обозе великого князя Владимира Александровича.

— Владимир, ведь, и заложил город на Дальнем Востоке. Потому и называется он Влади-Восток, — уверенно прибавила Елена.

— Помнишь! — спросила Митрия Елена, — как великий князь Владимир проезжал?

— Ну, а к чему это помнить? — спросил он в свою очередь, не поняв намека.

— Ну, к тому, откуда мы знаем, где Владивосток.

— Я же туда не доехал. — Митрий все еще не понимал и пожал плечами.

— Ты не доехал, да Владимир Александрович, брат государя, доехал. На перекладных шесть тысяч верст проехал, чтобы новый город заложить и потом туда железную дорогу стали строить. Вот откуда я и знаю, потому что книжечка об этом была

написана, у сестры Лизаветы и сейчас она есть.

Только теперь Митрий понял, как умна и понятлива его Елена. Ухмыльнулся и пошутил:

— Ну, ты же у меня все знаешь. Не даром «папнька» тебя мудреной называл.

Солнце закатилось, когда все веселые, сытые и довольные друг другом и собою гости распрощались и разошлись по домам.

Митрий только теперь почуял, что он голоден, собрал вокруг себя ребят и они все вместе закончили День Покрова хорошим, обильным ужином, тем более, что и малые дети к вечеру опять проголодались. Подавала и угощала Елена. Оничка была вроде почетной гостьи. Розовая и счастливая, что она так хорошо все делала и всем угодила, она молча улыбалась и ела с небывалым удовольствием.

Николай пришел от Вялковых уже в потемках. Через плечо на нем висели два зайца, связанные за задние лапки веревочкой. Шкурки их были серые, что не предвещало в скором времени настоящего снегопада. Вялков застрелил только четырех, двух отдал Николаю, двух взял себе, на мясо собакам. Сами Вялковы заячьего мяса не ели. Но Николай-Микола уверял отца и мать: заячье мясо даже лучше гусятины. Он ел зайца, приготовленного Алехой Кучерявым. И рассказал матери, как надо его жарить и лучше есть холодным, а не горячим. А из шкурок он сделал теплую шапку для себя из одной и теплые чулочки для мамы из другой. Елене сразу стало теплее в теле и на сердце. Микола лаской к матери не отличался и эта забота о ее не раз простуженных ногах ее растрогала. Она спросила его:

— Поди голоден? Я тебе гуся оставила.

— Какой там голоден! Там такой был ужин — три дня есть не захочу.

Митрий из-за темноты в избе даже наклонился к сапогам Миколы.

— Не продырявил?

— Да нет! — весело ответил Николай. — Смотри, даже без царапинки. Мне тетка Вялчиха свои дает, хорошие, с онучами как раз мне впору.

Значит, все в порядке и добро, что Вялковы приласкали Миколу. У Митрия явилось опять охота даже Вялкову помочь в горячее время и даже без всякой платы. Для дружбы с хорошими людьми.

Огня в избе не зажигали. На печке сушились подсолнечные семячки. Митрий любил в потемках погрызть и поплеваться. Слышался ловкий, поспешный щелк и сухие поплевыванья в руку легкой кожуры. Елене было некогда. И так до темноты запоздала с дойкою коров. Обе коровы почти что на издое, а надо все-таки выдаивать. Егорку в Филиппов Пост с молока снимут, наравне со старшими, а Фенька и Андрюшка без молока зимой не проживут. Так и Митрий норовит: лучше коров подкармливать, болтушкой с отрубями поить, а молоко выдаивать, пока уж вовсе вымя не обмякнет. Да, зима идет, забот не мало. А об Игренюхе Василия Лукича Митрий поделился новостью даже с Миколой:

— Вот, сынок, у нас будет и еще лошадка. Кум Василий приехал из Семипалатинска, кобылу свою на зиму нам оставляет.

Микола поднял кверху прямой, красивый носик. Носик этот отпечатался на стекле окошка, в которое еще виднелся свет угасашей зари. Строгий, молчаливый носик повернут был в сторону отца и Егорка хорошо запомнил, что Микола не шевельнулся, не раскрыл рта для вопроса, а ждал, что еще сам отец скажет.

— Бог даст, зимой мы с тобой четырех запрягать можем, а потом, на поводу Стригунка можно будет приучать тащить легкие дровни.

— Нет, — сказал Микола твердо, зная, что он говорит, — Стригунка до весны я бы даже в пристяжку запрягать не пробовал.

Митрий промолчал. Молчанье длилось долго, видно было, что Митрий думал: прав Микола или нет? Наконец он нашел подходящий ответ сыну:

— Дал бы нам всем Бог здоровья, а там видно будет.

Микола был доволен. И спорить не надо. Он осмелел:

— А Игренюху мы попробуем. У Вялковых я видел в завозне старую кошеву. На Рождестве я попрошу у них, мы запряжем кобылу. Она молода еще, должна на вожжах ходить не хуже Гнедчика.

Митрий глухо рассмеялся и перестал щелкать семячки:

— Вот как раз я про эту кошеву вспомнил. По первопутку нам придется бабушку из Чудака с домашностью перевозить. Дедушку назначили на новую должность... — Он повернулся в сторону жены: — Куда это, Елена?

— В рудник Риддерский, — отчеканила Елена и прибавила:

— А ты бы сперва все как следует разузнал. Ведь и Чудак-то не так уж далеко. Может быть лучше бы тебе навестить Соломею Игнатьевну еще до зимы, пока снегу нету?

Наступило новое молчанье, после которого Митрий встал с лавки и бросил на печку остатки недощелканных семячек.

— А ведь ты дело говоришь, Елена. Лет десять я не видел стариков, а и живем не за морями! — Видно было, как заволновался Митрий, заспешил в словах и движеньях. Потом скомандовал:

— А, ну-ка, давайте спать ложиться! Утро вечера, сказано, мудренее. Посмотрим, какую погоду Бог даст завтра. Зайцы-то еще серые. Вялков знает: снег нынче выпадет не скоро.

Подожгла Елена неугомонную душу Митрия. Не привык он лежмя лежать. Много в нем дремлет придавленной бедностью силы. Почти не спал всю ночь. Дело и простое — поехать, навестить мачиху и братьев и сестер от одного отца, а все-таки не так все просто.

Встал утром Митрий на рассвете. Вышел во двор, поплескал в лицо из висячего рукомойника, даже волосы смочил, причесался, вошел в избу, наскоро покрестился на иконы. Надел на себя старый, короткий зипунишко, подпоясался, как на работу, и пошел без завтрака и чаю, к куму Василию.

— Ну, куманек, давай дело решим. Могу тебя с семьей на своих отвезти до города. — Василий долго и молча смотрел на брата большими строгими глазами.

— Значит, ты и взаболь1) Игренюху берешь на попеченье? Это дело. Акулина, ставь самовар!

— Нет, куманек, чаи мне распевать некогда. Надо еще соломы на поветь навозить, поветь не вся еще закрыта. Ты решай и время назначай. Избу твою и без тебя заколочу, чтобы ветер окошки не выдул. А я отвезу тебя да поеду опять же в дорогу. В Чудак хочу с'ездить, все дознать, как там и что. Старик заехал теперь так далеко от нас, что мы его теперь может и совсем не увидим.

— Опять же дело говоришь, — одобрил Василий. — Сборы у нас легкие. Вот два узла да кое-какая мелочь, Акулина хочет взять для хозяйства. На одну подводу все уложится.

Через два дня на паре, Гнедчик и Игренька, Митрий запылил-поехал по дороге на Убинскую деревню. Кстати, Павла Иваныча и Грушеньку повидать. А дальше и к матери Елены, Александре Федоровне в Убинский фарпост заехали.

---

1) Взаболь — в самом деле, всерьез.

Старенькая стала, голова трясется, а голос звучит все также приказом. Порадовалась урожаю Митрия, одобрила и детский урожай. Трех последних внучат еще не довелось повидать. Ну, пусть растут и без бабушки. Ездить ей по гостям не удается. Еще две девки на руках, Марья да Варвара.

— На свадьбу обеих, хоть плач, а привези Елену. —наказала она Митрию. — Лошади свои, можешь и с детьми приехать!

Остальной путь до города Митрий сделал ровно в сутки. Гнал, морщилась Акулина от тряски, но доехали. Квартирешка далеко за городом, вернее в Казачьей части, но лучшей и искать не будут, пока Василий не найдет должность. На счет денег? Денег Василий занял у Трусова. Поверил до второй получки. Из первой, Василий никому не обещал. Обманывать не надо, а из второй — Акулина сама голодать будет — заставит заплатить. О плате Митрию за провоз вопроса и не поднималось. Игренюха пускай будет за все в ответе. А все-таки, Василий, пошептался с Акулиной, вынес Митрию пятьдесят копеек серебром, Митрий замахал руками. У него есть свой овес коням, краюха хлеба не тронута, а на полдороге до дому — в поселке Шульбинском, казаки — родня Елены; накормят самого и лошадей и на дорогу кое-что в запас положат. Лишь бы Бог лошадкам да самому дал здоровья.

А вышло еще лучше. На утро, еще не успел Василий вернуться с базара, как Митрий уже откормил и запрег лошадей. Василий решил проводить его до постоялого двора Анны Андреевны Пальшиной, как раз при выезде на тракт. Остановились, Василий говорит:

— Ты подожди, я кое-что узнаю. — Убежал во двор, народу на постоялом было мало, движенье в город начнется, когда установится зимняя дорога. Вдруг выходит Василий с каким-то человеком. — Вот, куманек, тебе пассажир имеется. Не совсем по пути, а может быть и сторгуетесь. Мне же пора бежать. Хочу сегодня же начальника пожарной команды достучаться. — Расцеловались по-братски и расстались.

Перед Митрием стоит человек, вроде как солдат, не то чиновник. Разговорились: с парохода человек, из Омска, только что с пристани. И надо ему в село Бородулиху. Митрий понял, что это будет крюк, а все-таки из Бородулихи, через деревню Перерыв, можно спрямить и в Николаевский рудник. В Шульбинский поселок не попадет...

— А сколько дадите? — спросил Митрий вежливо, на вы.

— Не знаю, сколько возьмешь? — спросил человек совсем по-просту, видать, что из простых, хоть и одет опрятно, по городскому. Наполовину солдат да он и вышел из солдатской службы, только что сверх солдатского мундира новое пальто надел.

— А у вас что, в Бородулихе есть родня? — спросил Митрий.

— И дом и жена и родители, — ответил человек. И предложил: — Пятерку заплачу. Больше до дому и занять не у кого.

Митрий даже испугался. Пять рублей! Да он в шахте за семь рублей шесть дней работал. Но для того, чтобы не упустить пассажира, для отвода глаз, сказал и о себе:

— А у меня пять человек детей. Жена дома ждать будет. Это ведь мне два дня лишних ехать.

— Ну, дома, когда приедем, что нибудь прибавлю, —сказал человек.

— А много у вас вещей? — спросил еще Митрий.

— Да какие у меня вещи? Сундучек солдатский, весь мой и богаж.

Вынес человек с постоялого свой сундучек, а на руке шинель. Надел шинель, а пальто снял и уложил отдельно, завернул в рубашку. Новое пальто, вчера купил. Сел и поехали.

Провел Митрий в дороге два лишних дня и то для того, чтобы не гнать, не перепотить лошадей. Привез пять целковых целиком, да всякого добра и сена и овса ему солдатская семъя на радостях на дорогу надавали, а еще и ребятишкам на гостинцы сам отец-хозяин, человек вроде Кайгодарова, такой же молчаливый и собою могутной, вынес рубь-целковый серебром. На этот рубль-целковый и разорился Митрий: накупил в деревне Перерыве всякой всячины Елене и ребятам, все больше сладости и всем по маленькой обновке: Елене частый гребешок. Давно просила. Желтый, роговой, зубья с двух концов. После такого уже нельзя на вошку в голове пожаловаться. До последней вычешет. Оничке купил медный крестик. Жаловалась, что купалась и утопила свой. Егорке купил плетеный поясок, с кисточками; Феньке шелковую ленточку, первую в ее жизни — розовую, узенькую, но можно и бантик сделать. Андрюшке и Миколке ничего из гостинцев не купил, за то довольно для всех витых конфет и карамельки, но для Миколы из рубля оставил всю сдачу — ровно четырнадцать копеек. Пусть сам себе, что желает, купит. Этим и угодил большаку больше всего. В первый раз в жизни у Миколы появились собственные деньги. В праздники

он будет носить их в кармане штанов, так чтобы изредка брякнули. В этом есть особый знак благополучия.

Да, скоро сказка говорится да дело мешкатно творится. Сборы на поездку в Чудак начались в День Покрова, а вышло, что пришлось поехать в город, вдвое дальше, а оттуда опять сделал крюк и потерял два лишних дня, а до Чудака-то и всего каких нибудь сорок верст, только совсем в другую сторону, в сторону города Усткаменогорска. Вернувшись же из Бородулихи, с пятью рублями, как с неба упавшими, разменял пятерку у Зырянова, отнес половину подати сборщику, вручил оставшиеся три рубля Елене, наказал:

— Спрячь подальше! — Это значило даже не за спину Николая Угодника, а в сундук, на дно, чтобы и самим было трудно найти.

Погода стояла еще ясная: решил с Миколой соломы навозить на поветь, не для настила и покрытия повети, а на запас, для корма скотине. Сена из-за Убы реки до рекостава привезти не удастся. Вода уже поднялась в реке, а паром с Покрова снят. Коровы из табуна были уже распущены, лошади шатались без пастухов, на атавах, а все-таки иногда уйдут на чужое гумно, где есть не молоченные снопы, разобьют скирды, потравят чужой хлеб, греха не оберешься. Коров можно было уже пускать на опустевшие огороды, а за лошадьми нужен догляд. Поручил Миколе, одну лошадь держать дома, кормить ее охвостьем с гумна, но изредка выезжать на пашню, попасти других коней и жеребенка с Буланухой. Вырос, долгоногий Карька, шерсть к осени стала длинной и мохнатой. Микола рад быть с лошадьми. Только жаль, не накосили несколько копешек сена вокруг пашен. Хорошей травы много зря пропало.

Дождей еще нет, а вода в реке поднялась, потому что в лесах, в верховьях реки Убы, снег выпал глубокий: как солнышко пригреет, так и реки прибудет. А вихри на полях вздымают пыль, старое сено, вырывают даже жниву с корнем и сворачивают все в винтообразные столбы, носятся по склонам. Это опять таки из ущелий и из гор дикие ветрогоны набегают на поля, попадут в долинку, негде разгуляться, они сталкиваются друг с другом, сдвигают, учетверяют силу и озоруют. Иногда и стог сена либо скирду хлеба опрокинут, а иногда и крышу с избы сорвут.

Вот этот вихрь, что пробежал черным крутовеем по селу,

через огороды и через улицы, через поветь Касьяновых, спасибо не ударил в полураскрытый лоб Митриевой крыши, но заставил Митрия и еще на один день задержать поездку в рудник Чудак. Всей семьей чинили эту дыру, все равно и от снегу каждую зиму надо защищать потолок избы. Все старые доски, две жердочки от прясла, остатки чащи — все использовал Митрий, а сама Елена сделала замазку из глины с конским свежим пометом, Митрий подкинул даже охапку мякины — замазали — пусть сохнет, пока сухо. Ветер даже поможет. Чтобы дождем не размыло, Митрий поверх замазки наложил соломы так, как переселенцы кроют свои крыши: ряд соломки, слой замазки, и опять. Только бы успело до первого дождя подсохнуть, потом никакой дождь не размоет. Все будет скатываться.

Для всей семьи эта починка крыши была вроде праздника. Все поняли — будет теплее, суше и с потолка не потечет. Закончили работу рано, ужинать сели засветло. Только чай почему-то показался Митрию горьким. Попробовал молоко, так и есть: молоко с полынью. Оничка уже дня два молока в рот не брала, а Андрюшка, как возьмет в рот, так и орать. Оничка только стрельнула по Егорке глазками. Ни слова. Егорка пил чай с молоком и с хлебом, ему все ни-по-чем. Миколы дома не было. Увел лошадей пастись на пашню. Назавтра утром приведет пару Игрених. Игренюха Василия пойдет в пристяжках. Но опять сборы, то да се, до обеда затянулись. День короче. После обеда Митрий привел с водопоя лошадей, вводит их в ограду и видит: Егорка только что наложил под морду Бурёнки свежей полыни, вроде зеленой травки. Понял Митрий, почему молоко горькое; как был с поводом в руках, так концом повода и взмахнул и через плечо стегнул Егорку, который только что повернулся к отцу с улыбкой хозяина, который подкармливает коров, когда на повети нет еще запаса сена.

Егорка заорал не столько от ожога ременным поводом, сколько от невыразимой, самой страшной, обиды: за что? Он же подкармливает коровушек. Ползает на брюхе меж корней уже засохшей старой полыни, чтобы раздобыть зеленую травку, какая посвежее, а его так больно бьют и кто же? Родной тятенька, который никогда еще его пальцем не тронул; стегнул его так больно и даже второй раз поднял конец повода да остановился, потому что понял: не надо было бить.

Все это произошло так неожиданно и быстро даже и для самого Митрия, что, пока Егорка приплясывал от боли и отча-

янья, защемило сердце Митрия, жаль ему стало парнишку. Видно, что по детской глупости, а не со злым умыслом, он это сделал. Пока давали лошадям овса, решил утешить Егорку. Подошел к нему уже в избе, потрогал по всклокоченным, давно не стриженным белокурым, волосам и говорит:

— Ну, не плач, я тебя к бабушке в гости возьму с собой.

Егорка, как стоял перед отцом с открытым для продолжения плача ртом, так, с полными слез глазами, и спросил, еле выговорил всхлипывающими губами:

— Это правда?

— Правда, сынок. Глупый ты, зачем же полынью коров кормить? Молока-то в рот нельзя взять.

Егорка сразу-же простил отцу не только потому, что он возьмет его в поездку к бабушке, а потому что стегнул он его в первый и, наверное, в последний раз. Мать Егорку шлепала «по башке» и не раз, по разным случаям. То сметану как-то ложкой начал хватать из запаса для масла, то за то, что Оничку дразнил и грозил поцарапать, то с Фенькой из-за пирожка подрался... Микола бил его уже не раз и еще будет бить, потому что Егорка от кого-то научился дразнить брата «кривым султаном» за то, что тот, по несчастью, потерял один глаз. Оничка гонялась за ним с прутиком. Но ни разу не могла догнать. Всегда, ловко удирал, а чаще успевал залезть в полынную трущебу, куда даже куры не всегда могли пролезть, а Оничка и подавно. Но отец никогда его не бил, а с собою часто брал «для веселья» и для великой радости Егорки, в поездки, которые Миколке или Оничке даже не снились. Вот почему не только простил Егорка отца, но проникся к нему особой нежностью. Конечно, в тех редких случаях, когда отец был груб с матерью, Егорка всегда был на стороне матери. Но об этом тяжело и даже не хотелось вспоминать. Главное-же понял Егорка из этого случая с полынью, которой он кормил Бурёнку, что он сам виноват. Он виноват уже тем, что Оничка это заметила и грозила, что «скажет. маме, а он не послушался, а Оничка знала и маме не сказала. Это он понял; понял, что отец мог стегнуть его два, а то и три раза, а он стегнул только один раз. Вот этого Егорка никогда не забудет. Хотел стегнуть второй раз и уже поднял руку, размахнулся и... не стегнул, потому что Егорка перед этим глупо радовался, как бы хвастался перед отцом, что делает добро, а на самом деле делал зло: молоко было горьким после этого еще несколько дней.

А теперь еще и награда: отец берет его с собой в рудник Чудак, к бабушке. Если бы не побил, наверное не взял бы. Это самое главное, что радовало Егорку. Но мама? Мама, на этот раз чуть все дело не испортила. Она спрашивает Митрия:

— Куда ты его возьмешь, разутого, раздетого? Людей смешить?

Но уперся отец, вот уж по-настоящему добрый, любящий отец. Он твердо приказал Елене:

— Иди к Катерине. Я знаю, у нее давно хранится пальтецо, как раз теперь на рост Егорки.

Слыхала об этом пальтеце Елена. Историческое пальтецо. Осталось оно от Коленьки Ползунова, того самого семилетнего Коленьки, который давно уже спит под белым мраморным памятником на Крощенской Горке, пальтецо досталось Катерине, когда она, еще девушкой была во услуженьи в доме уже другого горного пристава. Сама она овдовела, не дождавшись сына. Так пальтецо и лежит у нее в сундуке, обложенное для сохранности от моли «богородской» духовитой травкой.

Пошла Елена к Катерине. Та вынула из сундука пальтецо: хорошо, что напомнили, надо проветрить да почистить. Развернула, положила поверх покрывала на кровати: пальтецо, как сейчас от портного, да такое красивое, мягкое, светло-серого сукна и на шелковой подкладке. Отвороты бархатные, карманчики из мягкой фланели с застежками на клапанчиках. Пальтецо просто загляденье, картинка для показа.

— Вот и суди сама, — говорит Елене Катерина. — Как же такое пальтецо наденет Егорка? Перво-на-перво, оно ему будет велико. — И еще раз рассказала, откуда пальтецо. Да, сшито оно было для Коли Ползунова... Для того самого, который спит теперь под белым памятником на Крещенской Горке.

Ползуновых Бог не благословил другим сынком. А Коленьке сшили его к Пасхе, только раз он его и надел, на Страстной неделе к причастию. Вскоре заболел да и умер. Больше никто и никогда не надевал его.

— Мне бы не жалко, да ведь смешно, по полу тащиться будет, а потом: нельзя же босоногому такое пальтецо в дорогу. Такое надо надевать с лаковыми сапожками да рубашку шелковую либо атласную.

Даже и без этих возражений, Елена сама бы не решилась брать такое пальтецо. Ничего не стоит испортить да и очень уж оно барского вида. Княжичу такое надевать. И не огорчилась

отказом Катерины. Поняла. Понял и Митрий. Вместо красивого пальтеца с барича, пришлось Егорку одевать в Оничкину фланелевую кофточку, а Микола великодушно уступил ему свои сапоги. Сапоги для Егорки были так велики, что пришлось наматывать на ноги несколько тряпок и тащил Егорка эти сапоги, как гири. Микола отдал Егорке даже свой картуз. А для защиты от ветра, Елена дала в руки Егорки свою шаль и наказала Митрию:

— Не простуди ты его. А то и картуз ветром сдует — не уследишь.

Когда уселись в телегу с запасами овса и кое-каких гостинцев бабушке: жаренную курицу, десяток яичек, мешечек подсолнечных семячек, сдобных калачиков на всю семью, — Микола подошел к телеге, впервые обнял Егорку вроде как по-братски и, смеясь одним здоровым глазом из-под изуродованной шрамом брови, сказал:

— Ну и чучело-же ты гороховое!

Отец приподнял кнут на пару лошадей. В корню был Игренька, в пристяжках Игренюха Василия Лукича. Микола придержал Цыгана и Бульку, чтобы не погнались собаки следом. Затархтела телега по улице, вниз, к мосту, под тополевой рощей, а оттуда влево по проселку, в далекое синевшее ущелье, куда Митрий и сам давным давно не ездил. Не приходилось бывать в Чудаке больше десяти лет, с тех пор как перевозили туда отца и мачиху из рудника Николаевского. Игренька попросил бича, зато Игренюха горячилась, пришлось ее сдерживать. Изогнула шею колесом. Хорошая, молодая кобыла. Не мешало бы весною «огулять» ее, пусть и у Василия будет приплод. Пылил проселок позади телеги. Солнце поднялось высоко.

Дорога вьется по извилистой долине речки, карабкается на увал — горбатое взгорье, — теряется среди опустошенных осенних пашен и непаханных пустырей, заросших высоким бурьяном. Вот опять круто вправо, опять почти что назад — влево. По дороге ни заимочки, ни деревеньки. Игреняя, значит светлорыжая масть лошадей, стала темно-бурой от пота; под шлеями — белая пена. Это хорошо: значит — лошади под кожей имеют жирок. Ну, пусть пройдут немного шагом. Можно и остановиться, путь отдохнут, подумают, как жизнь пройти.

Расстояния до Чудака никто не мерил. Мерят его по времени, по качеству дороги, по погоде. Старики не даром говорят: «Не лошадь везет, а погодье». А и от коня зависит: на хорошей лошади тут и тридцати не будет, а на плохой, да в грязь, и целый день проплачешь.

Митрию думается в одиночестве скачками. Егорка же не собеседник, а все-же для Егорки он прикрикнул на лошадок:

— Ну, ретивые, златогривые! — и косится на Егорку.

Под большим картузом ни Егоркиной рожицы, ни глаз его, ни носика не видно.

— Ну как? Не замерз?

Егорка поднимает мордочку, счастливая улыбка кривит ее в забавную гримасу и голосок пищит с усилием:

— Не-ет. Нисколичко!

— Ну, вот и молодец, — подбадривает отец. — Только нос в гостях почаще вытирай. — Митрий поправил на Егорке картуз, подтыкал шаль, чтобы прикрыть всего поплотнее и мирно, наставительно прибавил: — А ежели за стол посадят с взрослыми, с малыми-ли, ничего без спросу со стола сам не хватай. Смотри, как другие делают. Бабушка, Соломея Игнатьевна, строгая, порядок любит. Чистотка.

Давно не видел Митрий мачехи, да и вышел из возраста, когда ее побаивался, а все же сохранилось нечто вроде боязни, в данном случае, за Егорку: уж очень Егорка смешно одет. В пути есть время кое-что вспомнить, и вспомнил многое, старое и обидное. Но постарался все заглушить песенкой. Запел негромко, тонким голосом, по бабьи. Слова приходили не сразу и не по порядку. Один мотивчик уносил его в одно забытое, другой — в другое. Тут и далекое, тут и близкое, почти вчерашнее, а поля и косогоры перед глазами — все же вот они, их ни забыть, ни похоронить в печали нельзя. Всего и не объять и не вспомнить и не понять. Жисть — она история мудреная.

Песенка без слов из бабьего голоса переходит в тенористый мужской и находит слова:

— Уж ты, гуленька, мой голубочек,
Ах, златокрылый ты воркуночек.
Ты зачем-пошто в гости не летаешь,
Разве горюшка моего не знаешь?

Не его это песня, а Еленина, и это правда, у нее горя побольше, болезни да роды детей, да обиды, им наносимые. Это

ее песенка и помогает пожалеть Елену. А Егорка слушает и может быть когда-то вспомнит по иному, чем сейчас слышит и понимает. Ему жаль и мать и отца, обоих. Стегнул его по спине поводом, а все-таки жаль отца. Не по бедности, нет, бедности Егорка не знает, богатства не понимает и не думает о том, что другие дети живут сытнее и одеты лучше. Это для него нипочем.

Вот так, через голос отца, с далеких белых вершин и через ропот колес телеги по колеям травянистой проселочной дороги, стрелой вонзается в Егркино сердечко родительская грусть-тоска. И если жизнь его продлится, тоска эта пойдет за ним следом до гробовой доски.

На закате солнца, с последнего спуска в широкую долину, зажглись вдали, на противоположном склоне, много-много окон и все они горели вдоль одного, длинного, двухэтажного здания. А внизу, в самой долине, как и в Николаевском руднике, много домиков; разные, пестрые, больше серые, но и в них то тут то там пламенели окошки, большие и малые. Только здесь потеснее, все дома прижались друг к другу, как будто и улиц между ними не было. Новых тесовых крыш совсем не видно, но есть зеленые, крашеные, значит, железные крыши. Значит и здесь есть Зыряновы и Кайгородовы, богатенькие люди.

Вот почти что сразу и подъехали, становились у серого, низкого дома. Ворота в ограду не закрыты: одна воротина висит косо, на одной петле, точно так, как весной висела и во дворе Митрия; только эти ворота посолиднее, тесовые. В ограде мусор, много листьев, опавших с больших деревьев возле дома. Митрий сошел с телеги, открыл вторую воротину, ввел лошадей в поводу внутрь просторной ограды. Никто не вышел им навстречу. Старая рабочая телега стоит под навесом, где должны были стоять выездные дрожки на железном ходу. Их нет. Нет и лошадей в конюшне. Но выездные саночки, что были еще там, в новом каретнике Луки Спиридоныча в Николаевском руднике, стоят на возвышении, целые и даже не очень постаревшие, покрыты рогожей, видно, что берегутся. Любит старик лошадок и хороший экипаж умеет беречь. Значит на лошадках и на дрожках он и укатил в Риддерский Рудник за двести верст. А хозяйство запущено: сына, Павла, уже два года дома нет, в солдатах, далеко.

Все это быстро окинул взглядом Митрий, пока вводил в

ограду лошадей. Оставил Егорку в телеге, вошел на заднее крылечко, вытер ноги о старый коврик, помнит и его когда-то новым. Высморкался, утер усы рукою, постучался в дверь. Не сразу за дверью послышались возня и детские голоса. Большие, карие глаза, точь в точь, как у мачихи, на смуглом личике девочки удивленно встретили его в приоткрытой двери. Позади девочки толпились двое мальчиков, один поменьше Егорки — вылитый Лука Спиридоныч, другой побольше, похож на Павла, значит на Соломею Игнатьевну. Он знал их имена. Раису знал трех лет в Николаевске, мальчики родились в Чудаке, он их впервые видит. Раисе тринадцать лет. Она узнала Митрия по обличию, а может просто догадалась. Сразу бросилась к нему на шею, крикнула братцам:

— Да это же наш Митенька. Глядите, как папенька на портрете.

Оба мальчика, не поздоровались, пустились по двору, посмотреть на лошадей, а там, в телеге, сидит Егорка, смешной в своем наряде. С шумом, с криком помогли ему вылезти из своего гнезда, а у него в этом гнезде остался один сапог вместе с тряпками-онучами. Раиса подбежала, помогла надеть сапог, прибавила веселья. Повели все трое Егорку в дом под руки, потому что не мог он двигаться, ноги стали как деревянные, отсидел. Митрий задержался в доме: все то же, как было когда-то, еще в детстве был тот же «тавалет» — родной его матери приданое, большое, в рост человека зеркало. Увидел в нем себя. С юности себя во весь рост нигде не видел: правда что, как капля похож на родителя, только родитель-то, вон он на «списанном» портрете на стене, одет в сюртук и в белой манишке на груди и галстук черный, бантом. Куда ему до родителя? А возраст, пожалуй — что, тот же,под сорок было отцу. когда «списали» с него этот портрет.

Шум отвлек Митрия от портрета, он оглянулся: в гостиную комнату вводили Егорку. Тотчас бросился к нему — вытер нос. Егоркина рожица расплылась в улыбке от небывалой ласки незнакомых детей.

— Ну, здоровайся с дядьями! — кричит Егорке Раиса.

Егорка только теперь понял, что надо поздороваться со всеми. Двинулся по направлению большого зеркала и там, рядом с двумя мальчиками, увидел третьяго. Да, там они самые — Костя и Ваня, а кто же третий? Чудно! Кофточка на нем Оничкина и сапоги тащатся по полу, точь в точь, как сапоги,

которые Егорке дал Микола. Не здороваясь с «дядями», Егорка движется все ближе к этому третьему, а тот движется прямо на него. А из-за спины того, что движется, смотрят на него большие, смеющиеся глаза Раисы и даже язык высунула, дразнит.

Все вокруг него стояли молча, потешались. Даже Митрий понял, что Егорка околдован зеркалом и не понимает, что это он сам себя видит. Затих, остановился и тот, в зеркале остановился. Егорка испугался и заревел и тот, в зеркале, скривил лицо и видно, что ревет, такой смешной, курносый, некрасивый, даже противный парнишка. Когда от этого навождения он еще громче заревел и зажмурил глаза, в комнату неожиданно, с парадного крыльца, вбежала полненькая, круглолицая девушка в черном жакетике и в белой шапочке. — это Серафима, ей уже шестнадцать лет. Не здороваясь с Митрием и видя, что гость-племянник плачет, она бросилась к нему, склонясь даже на колени, вытерла ему слезы и набросилась на Раису:

— Ну, это уж ты его расквилила! Тебе во всем потеха!.. Не плачь, не плачь! — Быстрый взгляд серых, чуть раскосых глаз, стрельнул на Митрия, прищурился в приветливой улыбке, но Егорку не бросила. Усадила на пол, стала снимать с него тяжелые сапоги и говорит: — Беги-ка, босиком побегай, лучше будет... — Сняла с него и кофточку, утешала. Засмеялся Егорка, только теперь понял, что в этом стекле, что его так напугало, все они ненастоящие, другие, но все-таки, как они там в стекле все ходят и помещаются? Только теперь Серафима бросилась к брату Митрию, обняла нежно и поцеловала трижды, по одному разу в волосатые щеки и раз в усы. Все в доме ожило. Серафима сама разделась, осталась в пестром платьице, бросилась на кухню самовар ставить; шалунья Раиса бегала за ней следом и рассказывала с ужимками, какой он, Егорка, смешной и глупый.

— Но ты посмотри: он весь в тебя — такой же курносый и глаза щелками?

А Серафима от этого еще ласковее приголубила Егорку: подбежит, поворкует да опять на кухню.

Все быстро наладилось, ожило в доме. Егорка согрелся, смотрит вокруг себя с удивлением на этих родных людей и на вещи и на мебель, какой он никогда не видывал. Повеселел и Митрий. Понравились ему его младшие сестрицы и братцы от одного отца, только от разных матерей, а смотри какие лас-

ковые, просто даже удивительно. Особенно понравилась Сара: Серафимой ее в доме никто не называет, как и Раису — зовут Раей. А мать их Соломея — тоже удивительно, как будто все имена Еленой из Евангелия вычитаны. Да и ее собственный дед — казак донской — Исус, потому что отца ее, значит Митриева тестя, хоть в живых он и не застал, а все время слышал, как его величали: Петр Исусович. Удивительно...

Сара и Рая увлекли Митрия на кухню, оставили мальчиков играть в гостинной, и там наперебой все ему рассказывали, а сами готовили ужин.

— Маменька пошла по делу к Улагину, торговцу нашему. — Серафима говорила так быстро, что Раиса сразу же должна была переводить для Митрия ее скороговорку на более медленный лад. — Старается она найти покупателя на наш дом. А папенька еще перед Успеньем уехал в горы, на своих Вороненьких. Знаешь, он ведь без лошадки шагу не шагнет. Писал нам, что Чудак должны закрыть и он вернется дом продать. А теперь его там должность задержала, нам самим придется дом продавать и всю домашность на возах перевозить. Я говорю маменьке: продай ты весь этот старый хлам, там новое все купим. А она мне: потому никто и не купит, что хлам, а на новое где денег взять?

— Мы все радешеньки переселиться, — подхватывает Рая — тут такая скука. Нынче даже учитель еще не приехал. А я в Риддерске скорее все закончу — там наверное школа не нашей чета.

— Папенька пишет, — перебивает Сара — там школа громадная и церковь каменная и много господ живут при горном деле. Там у них «головку» золотую из руды вырабатывают... А какая это «головка» я чего-то не пойму. Маму спрашивала, она говорит это секрет. Митенька, ты знаешь, почему это секрет?

— Это не секрет. Это особыми гранитными колесами дробят и в муку мелят руду, а вода подбегает под колеса и простой песок уносит, а золотоносный остается на листах. Вот это и есть головка. Наши рудовозы возят ее в Змеёво плавить, в Риддерске плавильного завода нет, а есть только «бегуны» — это камни, вроде жерновов, только они не лежа ходят, а стоя катаются по два вряд. А там ремни длинные, широкие к осям идут, а оси ворочает вода, шум такой, что ничего не слышно, когда «бегуны» бегают.

Слушали Митрия внимательно и жадно и Рая даже похвалила:

— Ты, Митенька, даже секреты можешь толковать. Вот я теперь маменьке все растолкую. А она у нас у-умница. Как что не знает, сейчас же у нее секрет.

— Ну, ты тоже не болтай, — прервала ее Сара — маменька у нас над папенькой глава. Она ему, бывало, наказывает: «Ты не гордись, что жалованье получаешь. Получить не мудрость, а вот мудрость тратить — это великий секрет».

— Ну и што же: маменька умеет тратить? — спрашивает Митрий.

— Да еще как. У нее ни один грош даром не пройдет. Папенька ее за это очень уважает. А иначе, как бы мы прожили, такая семья, на одно папенькино жалованье? А ему же еще и лошадки стоят денег и людей угостить любит.

— А папенька выпивает? — понизил голос Митрий.

Девочки переглянулись. Помолчали, потом решили ответить каждая по своему, но одним духом, обе вместе:

— Изредка и понемножку, — осторожно призналась Сара.

— Они это делают оба-вместе, — оправдательно сказала Рая. — Это их секрет...

Все вместе рассмеялись.

В это время в кухню вбежали все три мальчика. Ваня кричит, показывая на черные, в цыпках, Егоркины ноги:

— А я думал это у него чулки на ногах!

— Раиса! — голос Серафимы строг: — веди его сейчас же в баню. Вымой ему ноги. — И побежали в баню, через двор, все четверо.

Митрий пошел следом. Лошади стояли все еще запряженными. Распрег их, поставил под навес выстаиваться и начал наводить порядок во дворе. Серафима выбежала, звала чай пить, пока обед будет готов. Ответил ей:

— Лучше маменьку подождем! — продолжал мести, скрести, переставлять в порядок разбросанные по ограде хозяйственные вещи. Уже и Егорку, вымытого, провели в дом, уже и сумерки нахмурились над домом, когда Митрий услыхал позади себя знакомый, звучный, строгий голос:

— Это кто тут у меня без спросу распоряжается?

Митрий даже испугался, но когда она его обняла, назвала Митенькой, оба расплакались от радости.

— Сара говорит, ты и есть без меня не стал. Пойдем-ка

в дом, бросай метлу. Я тебе рада-радешенька.

Когда все сели за стол, Соломея сама спустилась в подполье, принесла пузатый кувшинчик.

— У старика там, по секрету, еще три таких хранится, а я секреты его знаю. Жду его со дня на день, а для гостя дорогого один распочнем. Серафима, рюмочки принеси из столовой! Мы тут и по праздникам столуемся. Стара я стала топтаться взад да вперед. Ну и кухня у нас, видишь, поместительная. Зимой мы тут все греемся. Сарочка, накорми сперва ребят да пусть отсюда уходят. — Уронила взгляд на Егорку, кивнула ему головой, как бы отдельно, на особицу еще раз поздоровалась и спросила у Митрия: — Это, что же у тебя самый младший?

— Нет, — ответил Митрий — под ним есть еще дочка, Фенька, по четвертому годочку да еще сынок, Андреем звать. Тому только второй пошел.

Соломея Игнатьевна зорко, насквозь пронзила Митрия взглядом и с укором спросила:

— И еще будут? — И когда Митрий виновато опустил глаза и не ответил, Соломея продолжала: — Вот то-то, плодовито ваше племя. Видал моих-то, вон они: мал мала меньше, а старику-то, ведь, под семьдесят. Ешь, да выпьем на здоровье! — Налила только себе да Митрию. Перекрестясь, молча и торжественно выпили. И молча продолжали есть. Когда же дети наелись, Соломея и Серафиму услала из кухни. Велела не убирать со стола только кувшинчик да рюмочки. Наливка была крепкая и после двух она расплакалась. Пашеньку, сыночка любимого, вспомнила.

— Угнали его куда-то, аж на Сахалин царю служить.

Обернулась еще раз в сторону столовой, где Серафима звенела посудой, наказала:

— Пусть те там не шумят. Пусть Рая им сказки почитает. Чтобы тихо было в доме. Да на ночь, чтобы не ленились чистые рубашки снять. Сама им вслух молитвы прочитаешь. Я тут посидеть хочу, с гостем побеседовать.

Все это было то же, что не нравилось ему в раннем детстве. Строгость, чистота, порядок и молитвы. Тогда она была совсем юна, а молиться также строго всем пасынкам наказывала и сама читала вслух; Луку Спиридоныча и того за столом осадит: — «Лоб-то бы перекрестил перед даром Божьим!» — Вот она была какая, и такую же теперь видел перед собою Митрий, и прони-

кался к ней новым страхом. Нет, это не страх. Это тоже что-то хорошее.

А Соломея продолжала говорить. Чуялось, что давно ни с кем не говорила по сердцу. Налила еще по рюмочке, сказала: по последней, и отставила кувшинчик подальше от себя.

— Ну, ты еще в соку, если и еще будут ребята, выростишь, выкормишь, только вот Елене-то не так легко их рожать да хоронить, а ростить и того горше, когда нужда да болезни. Сколько ей уже? Тридцать три, а мне-то, дуре, ведь пятьдесят второй, а видишь: Косте-то всего пять лет. Разве это не грех?

— И еще будут! — сказал повеселевший Митрий. — Здоровье у тебя — дай Бог всякому.

Понравилась эта шутка Соломее, но она замахала руками:

— Окстись, 1) мужик, не смейся!

Вспомнили о старом, только о хорошем, плохого, как будто и не было. Говорила одна Соломея, Митрий молчал, дивился мачихе: постарела, но не очень, пополнела, а в волосах ни сединки и лицо без морщинок. Все-таки, почти что барыня. Работы тяжелой никогда не знала. Не то, что Елена, замота, всегда суха-худа и чем питается? Всегда на сухаре да на чаю без сахара. А тут весь дом нужды не знает, а старику и вправду, должно быть, не легко на старости всю семью содержать. И выходило, что Митрий все-таки герой: и нужды больше и семья больше и изба убогая, а вот есть силы, даже отцу мог бы как нибудь помочь.

Уже и голоса в доме затихли. Егорку Рая уложила вместе с Костей. Костя повернулся к нему спиной и сразу уснул, а Егорке не давали спать «цыпки». Вымыли ему ноги в бане с мылом, вот и жжет и садит, а плакать не смеет. Терпит, только спать не может.

До поздна засиделись в кухне Соломея с Митрием, наговорились за все годы.

Вспомнил Митрий, что лошади все еще не спущены к сену, пошел, пощупал их сухие шкуры, погладил по шеям, привязал к телеге с сеном, опять вернулся в дом. Соломея Игнатьевна все еще сидела у стола в кухне, ждала. Показала на кувшин и спросила:

— А еще по одной?

— Ну нет, много довольны! — решительно сказал Митрий.

---

1) Перекрестись.

Она не настаивала, а Митрий все-таки присел, хотел спросить о том, хватает ли им родительских заработков, но подумал, что это неудобно и спросил про другое:

— Значит дом этот продавать будете?

— Да кто купит? — оживилась Соломея. — Рудник закрывается, чиновники и мастеровые свои дома имеют, да и те наполовину разъедутся работу искать в других местах. Ходила я сегодня к нашему богатею. Болтали люди, что он по дешевке пол-села скупил. Все враки. Он сам жалуется, никто долгов не платит. В Устькаменогорск решили переезжать. Ой, ты не знаешь, как я бьюсь! Девочек надо учить. Серафима уже два года ходит, работу ищет, хоть бы горничной. Раиса еще и школу не кончила, а эти двое вот-вот опять из рубашек и из всего выростут, их тоже надо одевать, учить... А старика того гляди в отставку уволят. А пенсия ему будет девять рублей в месяц!..

Тут Митрий решился вроде как помочь:

— В Риддерск я вас всех на своих лошадях без копейки перевезу.

Соломея Игнатьевна громко рассмеялась и отчаянно махнула на него рукой:

— Ой, Митенька, родной! Да куда я на зиму в чужое место из своего угла с четырьмя детьми поеду? Вот он сам приедет, пусть распоряжается, как знает, а на квартиру в Риддере я не пойду. Ежели продаст здесь дом хоть за пол-цены да купит там, тогда поеду.

Тут она решительно встала и повела Митрия в гостиную, оттуда провела к спальне мальчиков, потом к двери отдельной спальни девочек, а позади, в глубине корридора и ее спальня, большая, с горой подушек на большой кровати.

Потом обратно, рядом с гостиной в кабинет Луки Спиридоныча.

— Он тут всегда спит, видишь девочки для тебя постель на диване приготовили? — она пощупала, мягко ли, достаточно ли теплых одеял.

— Вот тут ты и спи, отдыхай со Христом! — перекрестила его издали, повернулась уходить и еще прибавила: — А ты не обессудь меня. Это я лишнего выпила, жалуюсь. Ты-то сам с Еленой да с пятерней в одной избе живешь да еще хвалишься: без копейки нас перевезешь этакую даль...

— Ну, наше положенье другое. Мне нынче Господь ппе-

нички уродил и скотинки прибавилось. Четырех коней по первопутку могу запречь...

— Ну и слава Тебе Господи, что не жалуешься, а мне и подавно грех роптать... Спи на здоровье! — Плотная, невысокая ее фигура еще раз развеяла широкими юбками, когда она еще раз круто, молодо повернулась и ушла к себе по коридорчику.

Митрий как стоял посреди отцовского, небольшого кабинета, так и остался в недоумении, один, впервые среди вещей и мебели отца, почти что барина. Перед письменным столом узнал старое, фигурное кресло, на которое никогда раньше, в юности, не посмел бы сесть. И теперь не решался. Посмотрел на письменный стол, на нем в порядке папки с бумагами, какие-то книги, чернильница и песочница одной формы, из темной меди, тут же маленькие счеты с костяными четками. Все опрятно, все в порядке. Неудобно тронуть. И верилось и не верилось, что все это отцовское, его родного отца, который стал как бы чужим с тех пор, как ввел в дом молодую женщину, не родную мать. А она теперь и родной роднее.

Подошел к этажерке в углу. Разные там книги, безделушки, должно быть дары от начальства или от заводских мастеровых. В красном углу одна большая икона — Спасителя, а поодаль от нее в раме портрет Царя-Освободителя. Узнал сразу: у Елены есть поменьше и без рамки. А на другой стене — вот он сам Лука Спиридоныч, «срисованный» на портрет. В большой раме, под стеклом. Да, срисован, как живой, такой точно, каким помнит его Митрий в юности, лет двадцать пять тому назад. И в темном сюртуке, в том самом, в котором венчался с Соломеей. И обличье «благородное» — и борода, как у Митрия, узенькая, козликом, и бачки пушистые, а руки белые, совсем барские. Да, похож Митрий на отца, но где же ему равняться? Вот и рубашка с отложным, накрахмаленным воротничком и галстук бантом. То да не то, а похож, не даром Раиса сразу узнала.

И приятно, а не смел раздеваться Митрий, чтобы лечь в отцовскую постель. Уж очень все чисто да мягко и пахнет душисто. Вспомнил, что отец никогда не курил, потому и Митрий никогда не пробовал курить. Устремился на икону, постоял, пока прочел в уме молитвы, какие вспомнил; сегодня особенно захотелось постоять перед божницей: мачеха его перекрестила. С усмешкой на губах разделся, погасил лампу, лег в постель, как в рай погрузился. Лучше быть не может. Особенных дум не приходило, а заснуть не мог. Волнительно было — лежать

в постели родного отца. Уж очень трудна была жизнь шахтера, а и пахаря не легче. А мачиха права: грешно роптать. — На этой думке и заснул да спал так крепко без просыпу, что когда утром проснулся, в окна льется солнечный свет, из кухни слышны голоса, а Митрий озирается и понять не может, где он и что это такое вокруг — все незнакомое и будто как во сне. Встал на ноги, увидел на стене портрет отца — все вспомнил.

Не было у Митрия никогда такой охоты, как в этот день — все в ограде и в конюшне и под навесом и в полисаднике — все вверх дном перевернуть, все вычистить, прибрать, поправить. Прежде всего ворота исправил; попробовал, запираются без труда и не скрипят. Мачиха и Серафима едва его принудили войти в дом покушать. Лошадей почистил, телегу смазал, все сделал и делать больше нечего. Зато, вечером, пир был горой, ужин в столовой, без малых ребят, только Серафима за столом. Даже Раиса кушала заранее с мальчиками. Соломея Игнатьевна в светлой, кашемировой шали на плечах, сидела королевой и рассказывала и расспрашивала, смеялась и плакала. Была довольна, как никогда, своим пасынком и не знала и не думала, что такой он удалец и на все руки молодец.

Кувшинчик они в этот вечер докончили вдвоем, но после четвертой, Митрий опять уперся, не упросишь. И это понравилось Соломее. Но не понравилось ей, что Митрий больше погостить не захотел. Завтра решил ехать. Того гляди снег повалит, дома хлопот тоже непочатый край. Еще одну ночь проспал в родительской постели, на пружинном, мягком диване, а утром собирался долго. На споры ушло много времени. Пришлось оспаривать мачиху, которая надавала всяких добротных вещей, из которых выросли и девочки и мальчики, а Митриевым ребятишкам все пригодится. И Елене кое-что с себя, и Митрию от дедушки. Что нужно починить — Елена мастерица, починит. Неловко было брать, а уговорила. Каждому в семье подарок, а Елене, на особицу — кашемировую шаль со своих плеч.

Пришлось спорить с Серафимой, с Раей, Ваней и даже с Костей, — все уговаривали остаться у них еще, хоть на денек. Тут Митрия переспорить не могли. Решил ехать.

Соломея Игнатьевна вспомнила, что у Егорки, кроме фланелевой кофточки с плеч сестрицы Оничкн, ничего нет, а на дворе подул холодный ветер. Пошла на чердак, долго там рылась в разном тряпье. Хотела еще кое-что отобрать для ребят Митрия, да все не мыто и помято, не решилась, но попался ей старый

сюртук Луки Спиридоныча, тоже помятый, позеленевший от времени, но суконный, крепкий. Тот самый, в котором он когда-то был «срисован» на портрете и в котором он венчался с Соломеей; отряхнула с него пыль и в него перед самым от'ездом, закутала Егорку. Митрий узнал сюртук и не то от жалости к себе и к отцу, не то от радости, что бабушка укутывает внука в такую дорогую для семейства вещь — украдкою смахнул со щек слезинки.

Распрощавшись и расставшись с домом бабушки, выехали на извилистый проселок между залитых солнцем ущелий. Ветер дул навстречу острый и холодный. Митрий обратился к закутанному в теплый дедушкин сюртук Егорке:

— Ну, что, сынок, поглянулась тебе твоя бабушка?

Егорка только расплылся в довольной улыбке и даже не знал, надо-ли и как на это ответить. А отец потрогал рукой добротность сукна и подкладки под сюртуком, прибавил:

— А сюртук-то этот дедушкин. В нем он на патрете срисован. Видел на стене под стеклом висит? Да, вот какой это сюртук. Память дорогая!

Егорка не видел себя в своем наряде: большой Миколкин картуз надвинут был на него по-уши, а сюртук, поверх Оничкиной кофточки, торчал углами и весь Егоркин вид был точ в точь, как чучело, какое на огородах, пугать ворон, ставят. Этого и Митрий не заметил.

Навстречу, вместе с ветром надвигалась серо-белая туча. Вскоре из нее повалил первый, вихристый, крупными хлопьями, снег. В колеях дороги он смешивался с пылью, превращался в вязкую грязь и наматывал на колеса липкую тяжесть. Надо было ехать тише, а и задерживаться опасно. И остановиться по дороге негде: ни заимочки, ни деревеньки на пути. Ну, ничего — лошадки отдохнули, довезут. А земля давно ждала белоснежного Покрова Пресвятой Богородицы. Ехали медленно и Митрий пел молитву Богордице, тонким, бабьим голосом, а думал о Елене: не захворала бы опять. Непогодь настает...

— «Пресвята-ая Богородица спаси-й на-ас!..»

IX

ДЕДУШКА ПРИЕХАЛ!

НАРЕДКОСТЬ сухая и ветреная осень стояла до начала ноября. Озимые всходы ржи, что яркими зелеными квадратами радовали глаз среди осенней серости полей, покрылись пылью, некоторые пожелтели и, видимо, тосковали о белом, теплом покрове из влажного снега, чтобы выжить и прозябнуть, а весною снова возродиться с еще большей яркостью. Но не было дождей, не было и снега. Скот бродил по сопкам и притоптанным полям, прятался от ветра в безлистные кустарники, а чаще возвращался к дворам и жался в подветренную сторону, стараясь убить время в дремотном ожидании подачки, хоть бы клочка соломы. Река Уба еще не застыла, сено из-за реки не вывозилось и только наиболее опытные хозяева, на случай осенней бескормицы, имели запасы сена вокруг своих пашен. Но таких было немного. Большинство должны были кормить и лошадей и коров соломой, в лучшем случае мякиной, но мякину надо было смачивать водой, а вода застывала. Хорошие хозяева кладут во дворах или пригонах куски соли, синие, как мрамор, по полпуда весом и если много скота, не один кусок, а несколько, чтобы корова или лошадь могла свободно подойти, полизать и с большею охотой пойти на водопой, а потом, не столько от голода, сколько от скуки и для тепла, скотина будет жевать хотя бы и плохую солому.

Но вот затихли ветры, на небе сгустились темные тучи, пошел тихий, ровный, большими хлопьями, снег. Шел и тут же на земле таял. Шел весь день и шел всю ночь, из пыльных улиц и дорог сделал густую, вязкую грязь. Загнали всех коров, телят, овечек и лошадей, — а их у Митрия с жеребенком и Стригунком — уже целый табунок — шесть голов, — загнали всех во двор, под крышу, но и крыша — плоская поветь — протекает. Господи, пошли морозца! Снег не будет таять, ляжет плотным слоем на повети и не будет мочить обросшие теплой шерстью шкуры животных. Только там и не каплет, где на

повети сметан скирдок запасной соломы. Во дворе сразу стало тепло и весело. Митрий пересчитал всех: две больших коровы, телка-двухлетка да такой же бычек. Придется к Рождеству заколоть, на весь мясоед будет свое мясо. А лучше бы пробиться да обойтись овечкой, но и овечку жалко. Может и двойню родит. В общем — с тремя овечками, да годовалым теленком уже четырнадцать голов скота... Сердце радуется. Движенья ускоряются. Снег ли, дождь ли, надо ехать за соломой да накосить хоть ржавой осоки в ручье. Веселей им будет дрожать под капелью.

Запрягли Игренюху — ею теперь пользовались в самых спешных случаях: молодая, выдержит, и другим передышка. Некованные копыта скользят на скатах, телега вязнет в грязи, но Митрий и Микола, где нужно, соскочат с воза, подопрут плечом, подтолкнут воз — к потемкам привезли воз мокрой, только очень ржавой осоки. Солому не решились распочинать, чтобы скирд не промочило. Привезли осоку, частью сметали на поветь, поверх мокрого настлали соломы. Смотрят — пар пошел с повети вниз, во двор. Значит — мокрое к мокрому прибавило тепла, а в воздухе настывает. Слава Богу, морозец все подсушит.

Поужинали при огарке свечки — купил Митрий три свечки у Зырянова, истратил шесть копеек из запаса казны на божнице — все-таки и это показывает благополучие семьи. Есть чем осветиться. Конечно, жиры от гусей и кур особо сберегаются, — поджарить яичко, блин испечь, и на «выжирках» иногда можно и простой фитилек поддерживать. Так Елена и делает, когда надо подольше посидеть за починкой или квашню ночью подмешать. А свечка — это уже вовсе слава Богу.

Поужинали, приказал Митрий потушить свечку, посидели, пощелкали семечек, легли пораньше спать. Долго ли, коротко ли спали, загудело в трубе. Завыло. Послышались постукиванья кончиком соломы о стекло окошка. Послышались, как крупные зерна пшеницы, постегиванья в стены. Где-то засвистело, где-то грохнуло, — это ведро с плетня свалилось, сохло после мытья пола в избе. Помойное ведро, оно же и для стирки, белье парить в печке, обезпокоило Елену: ветром унесет, укатит, снегом занесет и не найдешь, а ей как раз оно нужно. Стирка предстоит, в чем, как не в ведре можно растаять снег, иначе воды с ключа не наносишься. Встала со своей кровати, где она спит с Оничкой и Фенькой, хотела выбежать, догнать ведро, вышла в сени,

толкнула дверь на крылечко, не отворяется. Снегу навалило на крыльцо — целый сумёт. Босая не решилась выбежать на снег, вернулась в избу, крикнула Митрию на полати, где он спит с Миколой и Егоркой — Егорка в срединке, чтобы не упал с полатей:

— Ой, муженек, кажется похоронит нас тут, не выгребемся!

— Снег идет? — радостно спросил Митрий спросонья. — Вот Бог даст и реки станут. Можно будет сеном запастись. Не вдомек мне, не запас сенца во время. — И тоже вспомнил, обои дровни лежат в пригоне. Занесет до утра, не выгребешь. Не удалось убрать под крышу. Ну, весь скот в тепле, под крышей и то слава Богу.

Егорка проснулся от этого тревожного разговора отпа и матери и спросил с полатей:

— А Цыган с Булькой не замерзнут?

Митрий зевнул в ответ и протянул:

— У них шубы теплые, сынок. Не замерзнут. — Повернулся на другой бок и про себя прибавил: — Тоже хозяин: о своей скотине заботится.

Микола перелез с палатей на печку, вынул твердый клубок из старых тряпок, из круглой дырки, которая служила отдушиной на поветь, просунул руку в отдушину и с горстью снега в руке вернулся на полати. Послышался визг Егорки, а потом и Митрий крикнул, и захохотал, как от щекотки. Андрюшка в люльке заплакал. Фенька тоже испугалась.

— Он меня снегом!.. Прямо в брюшко насыпал! — кричал Егорка.

Переполох был веселый, для мрачного Миколы это было редко — всех развеселить. Но он был горд рассказать:

— Почти под самый карниз крыши на поветь навалило! Все бело!.. Вот Михайла Василич сегодня погонит лисиц. Он говорил: «Как снег выпадет, дома меня не ищи!»

И вот тут случилось нечто, чего Егорка никогда, никогда не забудет. Не забудет потому, что было все точно так, как он услышал, как это прозвучало в голосе его матери и как все тут же и произошло на яву.

— Буря мглою небо кроет, — послышалось снизу, сначала, даже, неизвестно, чей это был голос. Был он по-мужски басовит, был он напевен и медленно, торжественно произносил никогда не слыханные в этой избе слова:

— «Вихри снежные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя.»

Все это точно-точнехонько так и было и так навсегда и запомнилось.

— «То по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит.»

Все слушали в избе. Даже Андрюшка успокоился, и слышно было, как тоненькой дудой подпевает матери его пустой рожок. Оничка не спала и слушала. Фенька широко раскрытыми глазами смотрела в темный потолок. Митрий тяжело вздыхал от своих дум.

— «Наша ветхая лачужка и печальна и темна. Что же ты, моя старушка, приумолка у окна? Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой по утру шла!»

Елена не сказала, кто это постучался в их убогую избу в ту ночь. Но постучался кто-то столь родной и близкий и столь великий, столь все понимающий и знающий все подробности их жизни, что он никогда — никогда их не оставит, а Егорку поведет через все тернистые пути его будущей жизни и поможет, поможет перенести, все вытерпеть. И никогда-никогда не забудется эта буранливая ночь в темной избе, как ночь великая, благословенная, когда во всем величии возросла до небес душа Егоркиной матери, простой малограмотной казачьей дочери, Елены. И будет самое ее святое имя, рядом с именами самых великих людей, вести и озарять Егоркин путь через великие препятствия и унижения и через непредвиденные, страшные извилины и соблазны и многократные угрозы смерти...

Пока же, ночь пройдет, настанет утро белое, завалит окна и двери сугробами снега, трудное, но новое и полное напряженных сил в борьбе за жизнь, настанет утро настоящей зимы, с морозом, со льдом вокруг озерных берегов и с заберегами вдоль речных потоков. Но оживет село, выгребется из-под снега, задымит всеми избяными трубами, закурит живая жизнь.

Еще неделя-другая, санный путь установился, разгладились под полозьями саней дороги. Стали реки. Появилось сено на поветях, запылали лучшие, прибереженные с весны сухие поленица дров в печи. Запахло свежими пшеничными калачиками. Из трех зарезанных и замороженнных гусей, один пошел на заговенный обед перед преддверьем Филипповского Поста. И

настал Филиппов Пост, трескучий, многоснежный, такой морозный, что если на улице плюнешь, то слюна падает на дорогу льдинкой.

Случилось опять так, что Митрий нашел себе пассажиров, нанялся отвезти из села учителя с его молодой женой. И всего-то учитель побыл только с Покрова. Начал школу в одной угловой комнате громадного здания казенного лазарета, и не понравились ему ни школа, ни люди, ни ученики. Сказывают, строжился над всеми, кричал на сторожа — не умеет печек, как следует вытопить, все печки дымят. Списался с каким-то дальним селом в горах, оставил школу без учителя и стал искать подводу. Зырянов указал на Митрия, дескать есть пара подходящих лошадей. Справил Митрий дровни с отводными, вроде кошевы, запрег Игреньку с Гнедчиком, поехал укладывать багаж учителя. Микола поехал с ним до лазарета помогать увязать воз. Поверх зипунчика и тощего стеганного своего халатика, надел Миколка на себя дедушкин старый сюртук, вбежал в теплую комнату учителя — жена его вышла с папироской во рту — Микола долго рассматривал ее одним глазом, а она долго смеялась над его нарядом. Понес Микола из комнаты узлы и кожаный сундучек, чемоданом называл его учитель. Все вынесли из комнаты, осталась только икона, почему-то завешенная цветной тряпкой, вроде полушалка. Вошел и Митрий, когда учитель с женой в теплых шубах уже сидели в кошеве, обложенные узлами и подушками, оглядел все кругом, взял с подоконника две коробки из-под табаку, красивые коробочки, жалко было бросить. Сунул их в руку Миколке и сказал:

— Унеси домой. Одну дай Оничке, другую Егорке. — И еще повторил наказ по хозяйству: — В большой мороз скот гоняй на водопой только один раз, перед вечером. Если нет бурана, днем держи их в пригоне. Разбрасывай соломки, а на ночь во дворе давай всем сена вдоволь.

Одет был Митрий в новую овчинную шубу, дешевенькую, но белую, как мука, и как будто мукой беленую, купил ее у киргиз, отдал два мешка пшеницы. Поверх шубы была натянута сермяга, на ногах старые валенки с кожаными подошвами. На голове шапка из того самого зайца, которого как-то привез с охоты с Вялковым Микола. На Миколе была шапка из другого зайца. Рукавицы на обоих одинаковые: варежки из своей овечьей шерсти Елена сама вечерами успела связать, а поверх варежек

— желтоватой лосины рукавицы, мягкие, крепкие, купил Митрий у Зырянова. Учителя нанялся везти за двенадцать рублей в ту самую деревню рудовозов, где летом были с Егоркой у богатых староверов. Задатком получил три рубля на срочные расходы, а девять получит на месте. У Митрия была большая опять победа: двенадцать целковых в лежачее зимнее время, да это почти что лошадь можно купить, а потом же, увидит он опять своих дружков по дороге. Лошадки на овсе подправлены так, что когда он покатил от здания лазарета, Миколка видел, как лошадки бойко заиграли в запряжке. Пар из ноздрей и снежная пыль позади кошевы смешалась в одну дымку, которая крутилась и медленно таяла вдали мимо Крещенской Горки.

Миколка получше рассмотрел коробочки из-под табаку, сунул их за пазуху, вбежал еще раз в опустевшую школу, в которую вошел сторож и стал сдвигать ученические скамьи и учительский стол в один угол. Микола побежал домой, благо с горки, мороз подгонял, хотелось на бегу согреться. Дедушкин сюртук висел на нем черно-зеленым мешком. Он знал, что жена учителя над его одежой посмеялась. За то и он не взлюбил ни учителя, ни его жену. Никогда бы не пошел к ним в школу учиться. Пусть других дураков найдут учиться в этой школе. «Тоже учительша: курит, а Бога тряпкой завесила!» Прогонят их староверы.

Солнце слепило глаза — так ослепляюще бел был снег кругом. А мороз пронизывал через сукно сюртука и тонкий халатик под ним. Но новые сапоги, войлочные чулки, заячья шапка и теплые рукавицы делали Миколу мужиком, а мужик на морозе никогда не должен замерзнуть, лишь бы не стоял и не сидел на месте. А стоять нет времени. Первое дело из наказа отца — надо закончить перевозку сена из-за Убы. Вместе с отцом распочали стог, оставлять его нельзя: пойдет новый снег, завалит, не найдешь, и надо опять разгребать, да и дорогу к стогу протаптывать. А на одной лошади, без отца, — это только наплачешься.

Забежал в избу. Видит: мать выставляет из печки корчаги. Вдоль печки на скамье лежит уже желобок, вчера Микола ходил за ним к Касьяновым. У тех все есть, все можно взять на время, а все-таки неловко было Миколе ждать, пока Мавра Спиридоновна думала: дать или не дать? Но как не дашь? Какие-ни-на-есть соседи. Елена еще с вечера поставила в печку шесть корчаг

для сусла. Теперь она их выставляла, горячие, пахнувшие солодом, замазанные сверху ржаным тестом. Поставила в ряд на желобок. Под один конец желоба, который был немножко ниже другого конца, подставила начисто вымытую деревянную квашню. Егорка с печки свесил голову в нетерпеливом ожидании. Оничка ждала знака матери начать вынимать деревянные затычки из дырочек, проделанных в нижней части корчаг. Деревянные затычки были обернуты куделей и замазаны тестом, немножко обгорели. Фенька и Андрюшка сидели на кровати, укутанные одеялом, смотрели широко открытыми глазами на мать, на Оничку, на ряд черных, пузатых корчаг. Микола бросил Егорке на печь одну из коробочек из школы, другою повел перед носом Онички:

— Это тебе от тятеньки гостинчик, — сказал, но не сводил глаз с матери.

Оничка и Егорка так напряженно ждали, когда вынутся затычки из корчаг, и верили и не верили, что по желобку побежит в квашню сусло. Никогда мать своего сусла не делала, но Егорка знает его сладость. Как мед. Он ел его у рудовозов, в прошлый Петропавловский Пост. Но вот Елена перекрестилась, улыбнулась и сказала Оничке:

— Ну, вынимай! Одну сперва, из дальней корчаги.

С трудом вынулась затычка. Крепко сидела и кончик трудно было захватить: он обгорел почти до кудельки. Густая, душистая горячая влага побежала струйкой. Докатилась до конца желоба, тоненьким коричневым шнурочком ударилась в дно квашни. Лицо Елены расцвело, когда она взяла на палец капельку сусла и лизнула языком.

— Открывай другую! — скомандовала она Оничке.

Оничка была уже готова вынуть вторую, крепко, без ошибки уцепилась пальчиками в затычку, а когда вынула, облизала кончик затычки, обмотанный куделькой и тоже расцвела в улыбке.

— Сладкое! — воскликнула она.

Струйка увеличилась и уже загудела в пустоте квашни ласковым журчаньем.

— Третью! — весело звучал голос Елены. — Слава Тебе Господи, сусло удалось, а я-то боялась. Солод-то у меня в сенях отсырел. Впервые сама солод делала. *)

---

*) Солод делается из проросших зерен ржи, потом сушат его и мелют в муку.

Микола бросился было к кухонному шкапчику. —(Кухни в избе не было, но место, где хозяйка стряпает, называется: куть.) Схватил чашку, подставил под струю, но мать решительно отстранила его руку.

— Нельзя! Чуточку попробуй, а пить нельзя. С горячего сусла понос может случиться. Открой, Оничка, остальные! Миколушка, неси дров. Надо воду кипятить!

Сусло загудело в квашне потоком. Оничка подхватывала его из ручейка на пальчик и лизала, облизывалась и опять пальчиком в рот. Потом она увидела в свободной руке сунутую ей коробочку, всмотрелась в нее, открыла, понюхала внутри. Егорка вспомнил и о своей коробочке. Отвел глаза от сусла, тоже открыл коробочку, понюхал, как это сделала Оничка, сел поплотнее на печке и засмотрелся на узоры на бумажной крышечке. Там был рисунок: красивые, высокие ворота, в которые входят верблюды, много верблюдов, на них едут какие-то люди, в золотых одеждах, а позади них, на верблюдах, ящики, такие точно, как вся эта коробочка и что-то написано внизу во всю длинну коробочки. Он догадался: надо спросить у мамы. Подал коробочку матери:

— Мама. Прочитай. Что тут написано?

Матери было некогда и руки у нее в сусле. Она потянулась к коробочке, удивилась, откуда коробка? Микола как раз вошел с дровами. Она спросила его:

— Это ты дал ему коробочку?

— Ему и Оничке — поправил Микола. — Тятенька из школы, от учителя прислал.

Елена даже руки вытерла о фартук, чтобы взять и лучше рассмотреть чудесную коробочку. Прочла на крышке:

— «Высший сорт. Богдыхан.»

Открыла, увидела остатки рыжих волокон табаку. И тоже понюхала. Сказала:

— Ароматный. Ну, вот, — сказала она Егорке: — Береги коробочку, не запачкай.

Оничка отнесла свою коробочку в кукольный уголок, сразу спрятала и стала наливать из ведра воду в большой чугун. Елена подожгла дрова, подхватила ухватом чугун, подвинула ближе к огню и увидела, что квашня почти наполнилась суслом. Достала с верхней полки на шкапу гончарную миску, отлила в нее часть сусла из квашни, но сусло быстро снова набегало. Другой, большой посудины не было. Надо было наполнять горшки и

крынки. А сусло все еще идет, такое же густое, сладкое, не ждала Елена, что столько набежит. Ведь в корчаги она наложила ржаное месиво с солодом, ну, не больше как на два ведра. Ведь каждая корчага выложена изнутри жгутами из соломы, больше половины места взяла эта соломенная обкладка корчажных стенок.

Откуда же берется сусло? Это значит, запечатанный сверху ржаным тестом пар не испарялся, а уходил обратно в корчаги и там превращался в сусло. Знали древние славяне, как использовать дар Божий! От них и сусло, от них пришел и саломат. Вот вытечет все сусло, Елена наполнит кипятком корчаги, постоят немного с затычками. откроет и потечет теперь уже густой квас. А после густого кваса так же она наполнит кипятком корчаги и побежит обыкновенный квас, тот самый, который делается, если хмелем заправить, крепким, хмельным пивом. Но пиво может одурманить человека, как одурманивает и табак, хоть и высшего сорта — Богдыхан, — слава Богу, в доме нет табашников, — а сусло и густой квас, это даже не напитки, это благородное кушанье, сладкое, питательное, не стыдно и гостям на празднике подать. А если сварить его с ягодами да разных сортов — боярская еда. Радовалась Елена, на весь пост будет у них и квас двух сортов и сусло, ребятам в празднички побаловаться.

— Нет, за сеном сегодня не поедешь, — сказала Николаю мать. — За сеном поедешь завтра, пораньше. А сегодня помоги нам с Оничкой с этим делом справиться. Беги к тетке Касьянихе. Скажи, мама в ножки кланяется, просит еще кадку, квас густой некуда из корчаг выцедить. Простой-то квас и в корчаги выцедим, одна после другой освободятся. Часть суслица остудим, скипячу с сушеною клубникой, на обед с хлебцем будет всем на здоровье.

Разогрелась печка. Кипела работа в избе, но и на дворе надо скотину не забывать. Выгнал Микола из двора лошадей и коров, из-под копыт их мимо окошек послышался хруст и скрип с визгом. Настывает день. Окошки заволокло инеем, ничего не видно. К вечеру распорядилась Елена переловить куриц. Некоторые из них пытались взлететь на седало под поветью, а не могли. Падают на землю, как подстреленные. Ловили трое: мать, Микола и Оничка. Таскали и сажали под печку, заранее Митрием загороженную доской с дырками, чтобы было куда курам просовывать головы. У нескольких кур помет к хвостам

примерз. А ночью учуяла спросонья Елена, овечка как-то необычно мекекает. Вышла: так и есть. Двойничков родила. Хорошенькие, кучерявые и еще мокрые. Слава Богу, во время вышла! И овечку с ягненком ввели в избу. Нанесли свежего сена. Утром, при солнышке оба ягненка уже прыгали возле матери. Господи, как все премудро устроил еси!

Опять начался день, требующий движений быстрых и положенных на всякий час, на всякую минуту. Микола наскоро напился горячего чая, без молока, без сахара, но с хлебом, а на хлебец посыпал соли и наложил соленого чесноку. Вкусно и сытно. Вчера наелись сусла досыта. Жаловаться нечего. Запрег Булануху. Жеребенка оставил во дворе. Нечего за матерью все время гоняться. И далеко за Убу за сеном ехать. Уложил на дровни малые копенные вилы, взял железную лопату, может быть где надо будет снег откапывать. Привязал веревкой вместе с вилами и лопатой «бастрык» — гладкую, крепкую жердочку, в длину дровней, чтобы побольше сена на дровни наложить и сверху придавить и притянуть «бастрыком»: к передку дровней привязывается петля, в нее всовывается один конец «бастрыка», а сзади, к одному копылу веревкой через «бастрык», к другому копылу — тяжестью тела, подпоясавшись, надавишь вниз, все туже и туже, воз не растрясется, не повалится. Все это от отца узнал Микола, и есть над чем подумать, есть на чем согреться. А замерз — слезай с воза, прячься от ветра или бурана за воз — Булануха сама дорогу домой знает.

Это вам не русская сиротская зима. Это сибирская зима, где вырастают тысячи Микул-героев, закаленных с детства северо-восточных, крепких россиян.

Вот так жили, так каждый день борьба; проворные движенья, каждому порученье что-то сделать, Оничка носит воду с дальнего ключа на коромысле. Гнёт ее ветер, румянит щеки, щиплет носик. Валенки с материнских ног для всех одни: для матери, для Егорки, выбежать по нужде во двор, и даже для Феньки. Большая уже для нужды в избе садиться. Протоптали кони всего села торную дорожку к колодцу, что для всех зимою служит водопоем, вблизи одной из рощ. Ходит на журавле большое общественное ведро, выливается вода в большое корыто выдолбленное из большого тополя. Так поят коров и лошадей.

Три дня прошло с отъезда Митрия. На четвертую ночь опять разразилась снежная буря, замела, запечатала дворы. Бились мужики и бабы, выгребаясь из своих жилищ. Хорошо, что есть запас сена и муки в доме. Хорошо, что в самый трескучий мороз можно скот не гонять на водопой: могут похватать и снега. Но в избах душно. Тут и куры и ягнята, а у многих и маленькие телята живут. И у Митрия будут. Куда их, как не под кровать? На пятый день сердце Елены наполнилось тревогой. Если весной до деревни рудовозов съездил в четыре дня, да еще гостил у Воробьевых, то почему теперь, когда и торговать нечем и на санях путь легче — почему вот уже пять суток; а Митрия нет, как нет?

И долго с жировиком сидит ночью, жена и мать, шьет и думает, и вдруг начнет утешать себя песней:

— Отчего же, мама, ты опять не спишь?
И вечор все пряла и теперь сидишь?

В глазах зарябит-зарябит, и голос дрогнет. Мысли неспокойные рисуют страшную картину:

— Ах, мой ненаглядный, прясть-то нет уж сил.
Все-то мне так грустно, Божий свет не мил.

Ну, не пять недель, а только пять дней прошло, а все-таки из песни слова не выкинешь, а песня ранит сердце каким-то предчувствием:

— Пятая неделя уж к концу идет,
А отец не едет, весточки не шлет.
И Господь помилуй, если с мужиком,
Грех какой случится на пути большом?

И льются слезы помимо воли, вопреки надеждам.

— Дело мое бабье, как тогда мне быть?
Кто нас, горьких, станет одевать-кормить?

— И откуда, ты маменька, знаешь столько песен? — робко спросила Оничка и тоже вытерла пальчиками слезы. Она это запомнит, над своими куклами будет также петь и плакать.

Вот и неделя прошла, а Митрия нету. С утра до вечера Микола борется с сугробами снега. Прокопал дорогу из двора в пригоны, навалил против избы сугроб, через который уже не видно домов через улицу. А мороз опять усилился, запасы дров поубавились. На скоте прибавилась, запушилась шерсть. На

снежные маски из ноздрей струится стрелообразный отработанный пар. У Елены накопилась стирка. Наносили в избу снегу. Оничка носит воду с дальнего ключа только для питья и пищи. На мытье и стирку они растаивают снег. Но на речку Оничка должна ходить почти что каждый день. Дорожка на дальный ключ, хоть и кривая, но уже протоптана взрослыми, по ней легко тащить большие валенки с материнских ног. Легко, когда она идет туда с пустыми ведрами. Но когда надо идти обратно с ведрами, наполненными водой, валенки скользят, ведра на коромысле качаются, вода из них расплескивается и Оничка с трудом доносит половину воды и та в ведрах застывает. Воду надо экономить даже и снеговую, потому что из полного ведра снега натаивается не больше четверти ведра. Вот почему и самая стирка производится редко, грязного белья накапливается много, и, когда Елена разводит стирку в избе стоит пар, пол мокрый и скользкий. Горячей воды не хватает. А дети кричат да ссорятся. Даже между Оничкой и Миколой произошла настоящая драка из-за дедушкиного сюртука, который они называют сертук, а не сюртук. Оничка не может идти по-воду в одной своей фланелевой кофточке, а Миколе надо ехать на пашню, на гумно, за соломой. Во дворе слишком много настыло-намерзло конского и коровьего помета, в мороз его невозможно вычистить. Надо все делать с топором, подрубать каждую «глызину», чтобы застылый помет сгрести в сторону. Поэтому нужно больше соломы, чтобы подстилать, чтобы скотина могла лечь и отдохнуть. Это важнее всякой воды и всякой стирки. Микола тоже не может ехать в мороз за три версты в одной сермяжке. Кроме того, тятенька ему отдал сюртук. Но не успела мать остановить спор, Оничка рванула из рук Миколы сюртук, а Микола с силой уперся в скользкий пол, не хотел отдать одежины, сюртук и разорвался как раз пополам, на две части. И заплакали все, всей избою. Дети от крика и ссоры, мать от горя: ведь и в самом деле не в чем будет ни тому, ни другой даже выйти на работу. А Елена как раз наготовила мокрого белья, рубах, штанов и всякой пестрой всячины, выжала их как могла для того, чтобы Микола и Оничка понесли всю «стирку» на палке на пруд, в проруби прополоскать. В избе уж вовсе на это не хватит никакой воды. И вот тебе, извольте: разорвали сюртук, такую теплую, суконную одежину, такую нужную, когда и отца в доме нету. Села Елена у печки на скамью, разрыдалась, больше от нервного напряженья,

а дети ревут, все ревут хором и никто не знает, как помочь делу.

И в это самое время перед окнами мелькнула и остановилась тень, и послышался скрип полозьев и лошадиных копыт. А главное ласковый малиновый звон «шеркунцов». *)

— Тятенька приехал! — крикнул Микола, выбежал, пряча по дороге слезы в рукавичку. Елена бросилась было к дверям, но остановилась, потом метнулась по избе. Мокро на полу, мыльная пена набрызгана на стенке печки, корыто полно помоев, белье со скамьи свалилось кучей на пол. Ну, все равно, увидит, что стирка. «Слава Богу, что вернулся, наконец. Вишь — шеркунцы купил!» Опустила руки, все равно невозможно навести порядок. Только крикнула придушенным, хриплым от раздраженья голосом:

— Замолчите вы, вытрите носы!.. Лезьте на печку, на полати. Живо!..

В это время двери отворились, в избу вместе с человеком быстро вкатился белый густой пар, невидно, кто вошел, только по ногам, не Митрий. Очень непростые, глубокие, опойковые калоши и шуба енотовая. Не успел пар в избе рассеяться и подняться, показать голову гостя, вошел Микола. Впустил новое облако пара, пар закутал опять всего гостя. Елена быстро одернула высоко подтыканную рабочую юбчонку. Догадка ударила ее в сердце, как огнем обожгла. А вот и пар поднялся к потолку, человек рассматривает, снимает с головы желтый, господский башлык, а башлык пристыл к енотовому воротнику шубы, к усам и к седым волосам вошедшего.

Первое, что бросилась сделать Елена — толкнула босой ногою разорванный на две части и лежавший на полу сюртук. Пока был пар, подхватила, бросила его на полати. Потом отступила перед прошедшим вперед человеком, а он, снявши меховую шапку, прошел ближе, стал посредине избы и коротенько покрестился на иконы. Елена так и захлебнулась одним только словом, в котором прозвучало все ее отчаянье и вся ее нежданная, но такая несчастная радость; радость, пораженная испугом и стыдом и усилившимся страхом, Митрия нет. Что-то с ним случилось? И все-таки выдавила из себя, выдыхнула это слово:

*) Шеркунцы — ряд разного размера круглых колокольчиков, пришитых к ремню, надетому на шею лошади. Тяжелые, свинцовые дробинки внутри, производят мягкий, «малиновый» звон.

— Папенька! — Бросилась на теплую в енотовой шубе, грудь Луки Спиридоныча и потом, отступивши от него, повалилась на скамейку без сил и воли, худая, в грязной мокрой юбке и не могла произнести больше ни слова. Только слышно было, что в горле у нее что-то хлюпало и душило ее. Такой же, удушающий комок, подступил к горлу нежданного гостя.

Хотя замерз с дороги старик, он понял, что не во время приехал, не в урочный час вошел в эту сырую, парную избу с запахом куриного помета, с овечьими орешками на мокром сене. Увидел или не увидел через облако пара разорванный, когда-то парадный его сюртук, в котором он венчался, подошел к Елене, взял ее за плечи, выправил из-под енотового воротника узенькую, седенькую бородку, стряхнул с нее покатившиеся слезинки и сказал негромко, понимающе:

— А ты не плачь! Не плачь!.. Еленушка. Ты пока приберись, успокойся. Самоварчик поставь, старика с дороги согреть чайком. А я сейчас к Зырянову заеду, деткам твоим гостинчиков куплю. Ничего... Не плачь... Я сейчас вернусь.

И не стал ни о чем спрашивать, не рассмотрел внучат, не поднял глаз на печку, где сидел Егорка с котенком в руках, не оглянулся даже на Елену, не видел, а может быть и видел, да не хотел показать виду, что видел: заплаканных глаз девочек, сидевших на кровати в виноватой тишине. Просто надел шапку на вставшие дыбом на голове редкие, седые волосы, откинул назад развязанный башлык и вышел. Видно было, что выходит на короткое время. Потом все увидит, расспросит, всех внучат рассмотрит и перецелует. Молча вышел. Миколка вышел следом. Дедушка сел в саночки, взял в руки вожжи, взглянул на Миколу, сказал ему:

— Ну, я сейчас вернусь! Скажи матери, пусть не спешит с самоваром, я только к Зырянову заеду, куплю вам всем гостинчиков.

Пара вороных, в пене под инеем, заскрипела копытами по снегу. Шеркунцы далекой сказочкой зазвенели и растаял их звук за снежным скрипом фигуристых саночек.

Егорка слез с печи, подбежал к окошку, пролизал на стекле дырку в инее, что залепил окошко, и узнал сани: это те самые, что стояли в каретнике, под рогожей, в Чудаке. Значит это и есть сам дедушка.

В избе началась суета. Все спешили всё прибрать, почи-

стить. Даже самовар был не чищенным, позеленел от сырости. Почистили и самовар золой из печки.

— Миколушка! — сказала мать — Бери все это мокрое белье. Неси на улицу, развешивай на прясло в пригоне. Полоскать уж некогда. Мороз и так подбелит. Оничка, выставь корыто в сени. Овечку выведете во двор. Пусть там побудет. Ягнятки без нее пусть поживут в избе. Потом, когда проголодаются, впустим ее. Да сена свежего на пол принеси, Микола. Оничка, надень на Феньку чистенькое платьице. И Егорке достань свежую рубашку. Там есть еще одна, от рудовозов. И все сидите смирно. Когда дедушка приедет, чтобы никто ни пикнул. Принеси Оничка снегу, пусть снегом мордочки помоют. Воды-то на самовар, дай Бог, хватило бы!

Егорка уже сам достал через отдушину с повети горсточку снегу и тер себе под носом и опять доставал одной рукой, чтобы сделать пригоршни и мыть лицо двумя руками. Это он умел. Даже может снегом вместо воды напиться.

Все было готово. Время проходило уже не так быстро, а дедушка не возвращается. Уже и самовар устал шуметь на столе. Стол был накрыт чистой скатертью, чашки и блюдца и сахарница, покрытая опрокинутой стеклянной крышечкой так, чтобы несколько кусочков сахару, последнее, что было в доме, показывали, что сахарница полная — все стояло на столе. И меду баночка и отдельно, в кути на лавке, приготовлено сусло, если дедушка пожелает. А если он не постничает, то и яички есть в опилках. Есть и пятачки на божнице, надо бы послать Миколу купить шкалик да за шкаликом для такого дорогого гостя посылать стыдно. А хорошей наливки не осталось. Сама Елена прибралась, надела чистое темное платье и синий фартук. Волосы заправила под косыночку, оставила височки. Все было готово для гостя дорогого. Но не ехал дедушка.

Оничка выбежала, смотрела в сторону дома Зыряновыхъ — ничего из-за сугробов не видно. Потом Егорка выбежал босой, поплясал на жгучем снегу на ступеньках. Нету дедушки.

Солнце покраснело на закате. В доме все проголодались. Сунула малым горячего молока. Большим налила по чашке сусла, дала по куску ржаного хлеба. Заморили червячка. Темно уже. А дедушки нету.

И вечером не приехал. Не показался и на утро. Уж даже и дети ждали не обещанных гостинцев, а только дедушку, взгля-

нуть бы на него, как следует, услышать бы, как он говорит, увидеть бы, очень ли он стар или молодец-молодцом, в мороз, на саночках, на паре вороных, в енотовой теплой шубе и в желтом красивом башлыке, прикатил, как сокол? Не приехал дедушка и днем до обеда. В обед решила Елена послать Миколку к Зыряновым: был ли у них дедушка? Не случилось ли чего?

Вошел Миколка не в дом, а в лавку. В дом могли и не пустить. Спросил Григория Евстафьевича еле слышно, чтобы стоявшие в лавке покупатели не слышали:

— У вас наш дедушка?

Зырянов сразу не признал Миколку. Заячья его шапка была новостью для памятливого торговца. Миколка скинул шапку, чтобы быть почтительнее — это уж природа от отца, всегда, со всеми вести себя меньшим. Услыхал Зырянов Миколку только при повторном вопросе, склонился к нему и ответил, даже с ласковой улыбочкой:

— Как же, как же, милый сын, у нас Лука Спиридоныч. Иди-тко, иди, повидайся с дедушкой! — И протолкнул внутрь дома Миколку через коридорчик. Сидел дедушка за столом, заставленным всякой всячиной. Жена Зырянова угощала его из кипящего самовара чаем. Сидел дедушка, попивал винцо и всхлипывал. И увидал он через стенное зеркало позади себя Миколку, узнал его по шапке, подозвал, обнял и стал на него проливать настоящие, соленые, с запахом вина, слезы. Говорил же он Зырянихе Домне Ивановне:

— Вот это мой внучек! Старшенький? — спросил он у Миколки и сам же ответил: — Самый старшенький от старшего сына моего, Митиньки... А у Василия, заехал, изба заколочена... А у Митиньки!.. — Тут дедушка захлебнулся и долго всматривался в покрасневшее на морозе, а может быть и от волненья, лицо Миколы, даже поцеловал шрам над глазом и ничего не сказал, только покачал головой, закрыл лицо белой, тонкою рукою и стал всхлипывать.

Домна Ивановна стала его утешать:

— Да ничего худого не случилось! Ну, уехал Василий в город. Слыхали, в пожарные поступил, на жалованье. А и у Митрия нынче и хлеб и сено есть и даже вот уехал, на своих лошадях, пассажиров нашел.

Не очень был пьян дедушка, но то и дело всхлипывал и говорил:

— А я приехал, Домна Ивановна, на своих, на вороненьких, с бубенцами да в енотах, покрасоваться, богатством своим похвастаться, да прямо в этот вертеп нужды и горя! Ну, не сукин ли я сын? Ну, не подлец ли, старый пес?

И прижимал к себе Миколу, не пускал его, а Миколе стало уже жаль деда, старенького, пьяненького и хотелось поскорее вырваться и убежать домой, чтобы и там пожалели дедушку. Затих Лука Спиридоныч. Выпил он немного, а уже его расслабило. Задремал. Рука опустилась на ручку кресла, в котором сидел. Микола потихоньку отступил, надел шапку, вышел через тот же коридорчик в лавочку, а оттуда проскользнул межь покупателей и не взглянувши на купца Зырянова, ушел. Домой прибежал с одышкой, рассказал не по порядку, как умел, и сердито потребовал от матери:

— Дай, мама, что нибудь поесть! Мне надо за соломой опять ехать...

Уже под вечер на второй день подкатили к Митриевой избе дедушкины вороные. Он был трезв и ласков и спокоен. Но не выразил желанья остаться на чай, даже не разделся, посидел в шубе, с башлыком за плечами. Грустными глазами огляделся, подозвал поочередно всех внучат, поговорил с каждым, погладил по голове Егорку и даже наказал Елене:

— А этого ты в школу отдай! Этот в меня, лопоносый! — И встал, не высокий, но прямой и розовый, глаза из-под густых бровей посмотрели на Елену ласково: — Ну, со все Бог! — Широко улыбнулся и прибавил: — Выпиваю я, Еленушка, не часто и больше с радости, а на этот раз у Зыряновых выпил с горя. Ну, прости, Христа ради. Не гневайся. — И уехал.

Уехал он из села не сразу, а заехал к дочери своей, Катерине. Катерина пришла к Елене только на второй день после отъезда дедушки. Елена и вся ее семья еще не пришли в себя от обиды и растерянности в догадках: почему дедушка, пробывши в селе Николаевском более двух суток, не посетил их, как полагалось, не остался даже чаю попить и поговорить с Еленой? Дети же Елены больше всего опечалились тем, что дедушка сам обещал купить им гостинцев, а потом либо забыл, либо решил, что малыми подарками большой нужды не поправишь.

Катерина все разъяснила так, как и сама Елена поняла из бессвязного и поспешного рассказа Миколки.

— Да у меня же есть чистая комната! — жаловалась Ка-

терина. — Правда, я живу с Любашкой в стряпчей избе, а горницу зимой не отапливаю, так у меня есть дрова, я в одночасье могу затопить «голландку». *) Уговаривала его остаться, ночевать, — не захотел. Расплакался, покаялся: зашел, говорит, в лавку к Зыряновым. Те его узнали, никак не отпустили, упросили хоть бы обогреться с дороги. А к чаю подали водочки. Выпил, развезло его. Устал с дороги, задремал сразу же. Его уложили спать, он и проспал до утра. И лошадей его ввели в крытый двор, работник распрег, накормил, напоил, овса задал. А на утро, спозаранку, опять его угостили вином. Так и загулял. А потом, говорят, увидел Миколку, сердце заболело обо всех и опять подвыпил. Запоем он не пьет, а вот так выпьет и начнет каждый день опохмеляться, другой раз целую неделю. Сказал, что приезжал со всеми попрощаться. Приехал в Чудак неделю назад, дом успел продать за бесценок и всю семью увозит в Риддерск.

— А у меня другое горе: Митрий-то вот уж вторую неделю, как уехал. Я не знаю, что и подумать, — пожаловалась Елена.

— Ах, да ничего с ним не случится! —уверенно сказала Катерина. — Отвез одних, наверное нашел еще куда-нибудь новых пассажиров.

Так оно и было. Только что ушла Катерина, под потемочки заскрипели полозья у крыльца. Только Митрий с трудом вышел из дровней-кошевки. Со стоном, еле передвигая ноги, вошел в избу и молча дал понять, чтобы помогли ему раздеться. На печку его пришлось подсаживать. Несколько лет тому назад, при ходьбе в Сугатовский рудник, отморозил пальцы на ногах, которые и без того были растравлены купоросной водою в шахте. Теперь те же пальцы распухли так, что валенки с трудом и болью дал снимать. Охал и дрожал. Никто ни о чем его не смел спрашивать и он ничем не интересовался. Только и сказал:

— Кожу из саней вынесите.

Микола уже распрег лошадей, ввел их в тепло двора, покрыл обоих одним старым пологом. А из дровней, кроме кожи, стал выносить какие-то узлы, «полштуки» «киргизина» (коричневая ткань на штаны или на другую верхнюю одежду), в твердой синей бумаге полголовки сахару, деревянный ящичек с мелочами,

*) Угловая, выложенная из кирпича печь, в которой нельзя печь хлебы или варить пищу, называлась «голландская печь».

полмешка проса, а самое важное для глаза Миколы, на самом дне, под сеном, покрытые новою рогожей, лежали две бараньих туши. Небольшие, вытянутые в струнку, без голов, но белые от застывшего жира. Не с удовольствием, а сердито выносил все это в сени Микола. Ворчал:

— Вот навез опять добра, а сам свалился!

Только на второй день, когда немного пришел в себя, но все еще в горячке, рассказал Митрий:

— У рудовозов, дай им Бог здоровья, отсиделся в самые непролазные заносы. Опять надавали кое чего. Потом решил проехать в Змеёво, давно дядю с теткой не видал. Старик такой же кряж дубовый. Без него тетка просто бы замаялась. Семья у нее большая, муж давно умер, дети кто куда и все несут из дома, а не в дом. Оттуда приключился случай до Колывани, на Алее, солдатку с двумя малыми детьми везти. Думаю, дома все равно на печке пролежу. повез за пять рублей. Далеконько в сторону. А из Колывани опять же до Змеёва нашелся пассажир. Зять у него в Змеёве в приказчиках служит. Ну, мне почти что по дороге домой, крюк совсем небольшой. Вот и еще трешница. Накупил кое чего. С праздником будете.

— А кожа, тятя? Кожа одна поди рублей десять стоит? — спросил Николай.

— Да, да, кожа! — согласился Митрий. —Кожа не моя. Кожу по дороге нашел...

Все замолчали. Елена сказала:

— Кожа с печатью. Дорогая кожа.

— Знаю, что с печатью, — вздохнул Митрий. — Придется писаря Лапшина спросить насчет кожи. — И опять все долго молчали. В молчании этом как бы пронесся страх и соблазн: объявлять о находке или можно из кожи всей семье сапог нашить?

— Нет, сапожник не поверит, что такую кожу для себя купил. — сказал Митрий с новым глубоким вздохом.

А Елена в это время рассказала Митрию о приезде дедушки. Митрий выслушал и ничего не сказал. Только после долгого всеобщего молчанья решил твердо:

— Отнеси, Елена, кожу сама к старосте. Лапшин знает, что и как поступить.

Писарь Лапшин, конечно, знал, что делать. Он написал в волостное правление, а оттуда бумага пошла по сельским старостам. Через неделю, когда Митрий все еще лежал на печке,

у его избы слезли с добрых оседланных коней два мужика. Оба пожилые, одетые в теплые, хорошие шубы-барнаулки — значит, не беленые мукой и не из дешевой козлины, а чернёные, из настоящих овечьих шкур. Вошли в избу, степенно помолились на иконы, поклонились хозяйке, нашли глазами на печке хозяина; степенно, поясным поклоном и ему поклонились; огляделы избу, детей, погладили красивые, полуседые бороды. Были они похожи друг на друга, как родные братья. Не сразу заговорили, зачем пожаловали. Так иногда приезжают незнакомые люди и издалека заводят разговор, чтобы разогреть сердца хозяев и начать говорить «дело» — сватовство невесты. Но у Митрия невесты были еще малы и такие богатые сваты к нему не приедут. Понял Митрий, что приехали они от старосты. Кожа была уже приторочена к одному из седел, хотя Митрию этого, через тусклые заснеженные окошки, не было видно, а Миколка был уже на улице и увидел кожу, ту самую.

— Ну, кожу мы нашли — дошли, наконец, до точки степенные гости. Во всем их обличье, в манере говорить, в одеже, было то же, что Митрий знал по рудовозам. Не наш брат, мелкота да беднота, а люди, видать, крестьяне первородные. — И вот приехали по-Божьему с тобой поговорить, — продолжал один из них, — По судам тебя решили не таскать...

Митрий приподнялся на локте, посунулся с печки и с обидой перебил почтенного:

— Как так по судам? Я вашу кожу не воровал, я нашел ее на дороге. Да еще из-за этой кожи ноги свои в снегу промочил. Ее так занесло снегом в стороне от дороги, я сперва и не заметил. Только когда оглянулся, вижу торчит что-то из-под снега. А лошади меня уже пронесли. Завернуть на узенькой дороге было трудно. Вернулся я пешком, лопаты нет, откапывал руками... Потому что снег со льдом... Промочил ноги, в валенки снег насыпался, а высушиться было негде. Вот и отморозил ноги. А вы: «по судам»... Побойтесь Бога!.. — голос Митрия сорвался как в слезах. Он повалился на спину... Лихорадка трясла его, зуб на зуб не попадал. Не столько от простуды, сколько от обиды.

Второй из почтенных гостей, видимо постарше первого, в свою очередь погладил свою длинную, лопатой, бороду и подал знак первому, что теперь он скажет слово:

— Не гневайся, мил-человек, мы судить тебя не собираемся. Мы видим твою нужду и хотим дело это кончить по-Божьему. А

вина твоя, мил-человек, в том, что ты увез кожу в такую далекую местность, нам пришлось за нею ехать из-под Змеёва, а ты в Змеёве ее не объявил.

Митрий, казалось, даже уже и не слушал говорившего. Выступила вперед, на середину избы, Елена. Валенки ее были также стары и растоптаны, как и лежавшие возле печки валенки Митрия. Но голос Елены прозвучал по-мужски, низко и твердо:

— Кожу вашу на другой же день я сама отнесла здешнему старосте. А мой муж, сами видите, приехал простуженный, ноги отморожены. Бог видит: кожу вашу мы скрывать не хотели.

Митрий снова приподнялся на локтях. Голос его окреп:

— Кожу вашу я нашел, может, в пятнадати верстах от Змеёва. Должен я был возвращаться в Змеёво и искать ее хозяев? Вы сами видите, у меня все дети раздеты-разуты, а никогда за чужую щепочку не запнулся. А другой, на моем месте, да ежели знатье, что вы такие люди, ни кому бы не сказал и не показал, а спрятал бы и обул бы своих босых детей...

— Ну, мы же и не спорим, мил-человек. Напротив того — мягче заговорил первый гость. Напротив того, мы вот приехали сказать, что кожу мы получили, а тебя прощаем... И вот даже на нужду твою, деткам к праздничку, готовы дар оставить. — Он вынул из-под полы шубы, из бокового кармана теплой куртки, стопку пятаков и положил ее на стол.

В избе наступило мертвое молчанье. Положенье было щекотливое: Елене захотелось эти пятаки швырнуть под ноги «гостям», а у Миколки загорелось любопытство: сколько они оставляют? Митрий с печки не мог видеть и не хотел. Но не хотел и спорить: он уж и так напуган: с богатым не судись. Доказывай, что не украл. А так, судить не будут и то слава Богу. Пусть только дадут ему хоть похворать у себя без обиды.

Уехали почтенные, «первородные» крестьяне. Миколка выбежал им вслед. Красная, крепкая, не конская, а бычачья кожа, свернутая большою трубкой, торчала за седлом одного из всадников, как колчан богатыря, как это видел Микола на одной из картинок в материных книжках.

В избе никто до глубокой темноты не мог ни о чем говорить. Митрий тяжело дышал. Молчал и крепил сердце.

X

СВАДЕБНЫЙ ПИР

Митрий Лукич — Тысяцкий

ВЕСЬ Филиппов пост в эту зиму был особенно многоснежным и морозным. Снега хрустели и скрипели под сапогами и копытами и под полозьями саней. Сильней всего рассвирепел мороз перед Рождеством, ломился в избы и дома с треском и стучал железным кулаком устрашающе и властно.

Митрий встал с одра болезни за неделю до Рождества, но все же долго быть на морозе не мог, ноги его начинали ныть и гнали его в избу. Вся тяжесть по хозяйству свалилась на плечи Миколы и Онички. Елена прихварывала. Определилось, что она еще в страду «повредилась», а после недавней возни с тяжелыми корчагами для сусла, вся ее беременность сошла на-нет .

На долю Егорки выпала особая обязанность, помогать матери в избе, няньчить Андрюшку, вынести помои, внести муки или крупы из сеней. На улицу он мог выбегать только по своей нужде. Босые ноги долго не могли выдержать даже на соломе во дворе, а снимать с матери и опять надевать ее валенки, он просто ленился и хотел быть быстрым молодцом даже и без обуви. Он же должен был следить за курами (под печкой), кормить их и наливать в длинное корытце воды, чистить из-под них помет. Овечка сама привыкла ждать у входа в сени из двора своей очереди войти в избу и покормить ягняток. Но ягнятки были самой радостной забавою для всей семьи, в особенности Фенька с ними не могла расстаться, а Андрюшка заливался смехом, с визгом от восторга, когда два черненьких чертенка прыгали по сену, сражались друг с другом или начинали в один голос, мелодично, звать свою мать-овечку со двора. Но главная и важная обязанность Егорки, тотчас после приезда отца из последнего его путешествия и незаслуженной обиды с кожей,

это мазать гусиным салом отмороженные пальцы тятеньки и нежно, осторожно обматывать их чистой тряпочкой до следующей перевязки. Раньше, когда Митрий работал в шахтах в Сугатовске, эту должность — очистки ног отца от ядовитой грязи шахт и от купороса — исполнял Микола. Теперь Микола — главный в доме хозяин и управитель со скотиной. Ему редко удавалось быть в избе, и то лишь посушиться, выспаться, и что-нибудь поесть. Тяжело было для всех, когда и мать и отец были больными одновременно. Но не без добрых душ на свете. Бабушка Аксинья слепая, под водительством своей внучки, Варьки, приходила аккуратно каждый вечер и если не могла ничем помочь, то умела мягко, многословно рассказать о том, как Сам Иисус Христос терпел и нам велел. Руки у нее были мягкие и когда она «правила живот» Елене, та спокойно засыпала под ее воркованье, а Аксинья гнала домой Варьку и наказывала своей снохе прислать ей в избу Мигрия весь ужин для себя и для Варьки. Но на деле-же подходила с миской к печке и, стоя, уговаривала Митрия «не брезговать» и поесть из рук старухи. Это только для здоровья, и при этом она читала про себя какие-то молитвы и Митрий должен был слушаться и уверять, что больше он не хочет. Аксинья раздавала остатки Феньке либо Андрюшке, а когда было что, то и Егорке.

Бабушка Колотушкина давно сама болела и зимой ей тоже не в чем было выйти. Аксинью же не держали дома ни бури, ни морозы, а все ее больные и почитатели, наделяли ее печеным и вареным и, отдельно, в дом ее привозили что-нибудь потяжелее: пуд муки, замороженного молока, а иногда и целый окорок. У нее всегда было чем поделиться с беднотой и все ей верили: она вылечит. Если не лекарствами и травами, так наговорами, а лучше словом Божиим и молитвою.

Весь пост Егорка выдержал постную еду. Коровы стали давать совсем мало молока, но Феньке и Андрюшке много и не требовалось, однако кошке Егорка завидовал. Ей всегда плеснут в маленькую гончарную мисочку, а Егорке даже пенку с кипяченого молока для Андрюшки не дадут. Но вот осталось до Рождества меньше недели. Митрий сохранил таки жизнь и бычку-двухлетке, и овечке; две купленных им бараньи туши обеспечивали почти весь праздник и часть мясоеда. А там, до масленой недели, опять видно будет. Он приободрился, старался не припадать на больные ноги, опять навел порядок во

дворе, в сенях, помог Миколе привезти еще два лишних воза сена, даже у кого-то на селе выменял, на привезенное от рудовозов просо, три толстых чурки сухой сосны, напилил с Миколой дров, наколол, сложил в поленницу. Для Елены это было просто праздником, так как все весенние дрова она уже сожгла, а сырые, осеннего запаса, мелкие дровишки, в печи только шипели, а не варили, не пекли. И она к праздникам, после Аксиньиных «правил», почуяла себя бодрее. На детях эта перемена отразилась к лучшему, как солнышко весной на первых всходах хлеба. Было веселей еще и от того, что будут жирные мясные щи, будут пироги-курники с начинкой и будут самые любимые для всех детей рождественские сладости — это сырчики. Егорка сам следил, как мать отваривала из накопленных крынок молока творог, как мешала его со сметаной и делала круглые, большие колобки, укладывала их рядышком на длинную дощечку — десять. Он пересчитал всех в семье. Семеро, но Андрюшке же не дадут целого сырчика. Значит, четыре в запасе. Во всяком случае, Егорке один целиком дадут. Мать вынесла все сырчики в сени, на мороз. Ох, он помнит, в прошлом году было только шесть и маленькие, а эти большие, как шаньги, и десять!

В сочельник, перед вечером, замела метелица. Егорка видел в окошко, как коровы, проходя мимо избы из открытого пригона в теплый двор, мотали головами, стряхивая снег и загибая шеи вбок от бури. Оничка вышла с подойником доить. Егорка считал часы. Вот будет ночь и в полночь зазвонят к утрене. Тятенька и Микола еще в потемках почистили свои сапоги, мылись над деревянной шайкой у порога. Отец поливал сперва Миколе, а потом Микола отцу. А в это время со слезами в избу вошла Оничка.

— Бурёнка не дается. Лягнула и пролила все молоко из подойника...

Вот тебе и на! Весь пост молока никто не пил, а теперь и с чаем не будет.

— Ну, ничего — сказал отец. — Значит, надо ей дать отдых. Теленочка скоро принесет.

Но когда-то будет этот теленочек, после теленка сразу все равно все молоко отдадут теленку. Оно желтое. Егорка знает. Но и это еще не вся беда. После ранней службы, еще до возвращенья Митрия с Миколкой из церкви, пришли двое стариков с

мешками на плечах. Прошли на середину избы, помолились и спросили:

— Можно Христа прославить?

Мать сказала: можно. Славьте Господа Христа. — И стали они петь, но слова выговаривали непонятно. Мама знала, а поправлять не смела. Божьи люди, нищие.

— Пресущественного рождает... А волхы же со зездою патешествуют...

— Наш бо-ради-радиса... Отроче младо Предвечный Бог.

«Отроче младо — Предвечный Бог» это Егорка запомнил и понял: маленький Христос родился давно-давно, далеко-далеко, в Святой Земле от молоденькой непорочной, еврейской девушки и в пещере, куда пастухи загоняли овечек, коров и ослов в плохую погоду. Все это ему мама рассказывала и показывала на картинке в книжке. А все-таки на нищих — христославщиков он рассердился, потому что мама отдала им два сырчика, значит, восемь осталось. А потом пришли еще мальчишки — тоже славить Христа и мама отдала еще два сырчика. Значит, осталось шесть. Но пришел славить Христа и Семен Ефремыч, Семочка Уродкин, добрый и самый бедный нищий, тот самый, который весною сушил сладкие сухари за селом и дал Егорке сухариков погрызть и даже дал немножко, чтобы маме отнес. Для Семочки не жалко было сырчика. Но все-таки еще пришли мальчишки и осталось всего четыре. А пришли они все еще до розговения. Когда сели за стол после обедни, на стол подали два и те не стылыми, а растаяли в печке и разделили на малые частицы. Егорке даже вкусные мясные щи не пошли в горло. Тут еще Микола отнял у него новую, крашенную, деревянную, ложку — Егорка разревелся, не стал есть и его высадили из-за стола...

А Рождество празднуется три дня. Славельщики приходят и приходят. Мать никому не отказывает и уж сладкие пирожки и шанежки подает. А потом, из тех пятаков, что оставили «почтенные гости», приезжавшие за кожей, а они, как потом Микола сосчитал, оставили шестьдесят копеек, — Митрий наменял в церкви копеек и сам давал копейки, кому не хватало пирожков и шанежек. Вот почему и Оничка, когда справляла Рождество для своих кукол, то для их угощенья у нее не было ничего настоящего, и вместо сырничков она раскладывала на самодельные бумажные тарелочки снежок, который тут же, под

божницей, в углу под лавкой, наскребла со стены. Промерз тут угол насквозь. Завалинка в этом месте, значит, не была хорошо завалена навозом. Но все-таки, Егорка и Фенька были у Онички гостями и ели с бумажных тарелочек кусочки снега и чмокали губами, показывая куклам, как сладко их угощенье. Сапожок для куклы «барина» к этому времени Егорка уже закончил, но другого сделать не успел. А пришел поздравить с праздником Алеха Кучерявый. Крестясь на иконы, он увидел, как дети Митрия играют в куклы, увидел сапожок на «барине», наклонился, взял «барина», снял с него сапожок и громко, весело сказал:

— Отцы и матери! Да это же растет у вас настоящий сапожник! Он же вас всех обует и оденет! — И не хотел отдать сапожок ни Егорке, ни Оничке, а взял его с собой показать Михайле настоящему сапожнику. А Михайло по праздникам всегда в кабаке сидит. Денег у него никогда не бывает, а в кабаке, нет-нет да кто-нибудь и подаст стаканчик. Алеха пошел в кабак, выставил сапожок на полку рядом с бутылками вина и рассказал, какой у Митрия парнишка растет. Стоял там сапожок все Рождество, все пьяницы узнали про будущую Егоркину славу. Казенок тогда еще не было. Целовальником был Трусов, высокий, бородатый, справный мужик. Он угостил Алеху водкой. Стали захаживать в кабак и такие люди, которые раньше не захаживали и, значит, увеличился у Трусова доход. Сапожок так и остался в кабаке, а потом куда-то кто-то утащил сапожок из кабака. Так Оничкин кукольный «барин» и остался босиком.

Рождество на третий день прояснилось. Батюшка с псаломщиком ездили по селу с крестом. В первый день праздника обошли только главные дома: первое дело к лекарю, Ивану Никифоровичу Горкунову. У него нельзя не посидеть. Столы полны едой и винами — глаза рябит. Потом к Зыряновым. У этих посидишь час и трудно уже ноги выпрямить. А зимний день короток, надо уже и вечерню служить. На второй день батюшка идет с крестом по всем домам по порядку, не разбирая ни бедных, ни богатых. А изба Митрия посередине села. К вечеру не дошли. Значит, пришел их черед на третий день. Вот уже пара лошадей, запряженная в большую кошеву с Матичкой Плохоруким на козлах, остановилась у крыльца Касьяновых. В избе у Митрия суета. Сейчас батюшка к ним придет. Матичке и подъезжать не надо. Батюшка с псаломщиком в кошеву садиться

не будут, время тратить, они пешком улицу перейдут, но в кошеву Касьяновы что-то кладут. Матичка оборачивается, показывает, как уложить, потому что кошева почти полна до краев: за весь день надавали люди и печеного и вареного, кто плицу зерна, кто кружок замороженного молока, кто кусок сала, а кто целого поросенка. Митрий ничего такого не имеет, но у Николы Милостивого за спиной есть стопка пятачков. Четыре пятачка — благодарность щедрая, батюшка не спрашивает ничего. Казною ведает псаломщик; карманы его рясы широкие и глубокие, выручку сочтут дома. И быстро, еще дверь в избу только отворяется, а псаломщик уже гугнит простуженным, хриплым голосом:

— Ро-ождество Твое, Христе Бо-оже на-аш...

А батюшка, развертывая крест из эпитрахили, подхватывает:

— Воссия мирови свет разума...

Быстро все кончается, два слова привета батюшка произносит всякому, все подходят ко кресту, целуют. Егорка запоминает приятный запах от батюшкиной руки, пропахшей дымком от ладана, и холодок от серебряного креста остается у него на губах, как прикосновенье льдинки. Вместе с тем остается страх перед батюшкой, когда тот смотрит в лицо Егорки строго и как бы читает его мысли: «Сырчики ты нищим пожалел? Ага?» И невозможно не взглянуть в батюшкино лицо, розовое от мороза и большое в мягкой, не очень длинной, но сливающейся с меховым воротником, бороде. Запомнил навсегда: батюшка не седой, а псаломщик с сединой.

Ушли. Матичка Плохорукий делает короткий переезд через высокие сугробы снега. Вот они остановятся около писаря Лапшина. Ну, оттуда скоро не выйдут. Лапшин вышлет с кем-нибудь из своих людей стаканчик водки Матичке, чтобы согреть его, давно согнувшегося на козлах кошевы. А Митрий и его семья, еще сегодня войдут уже в будние дни, начнут возню в сенях, во дворе, в пригоне, возле скотины. Еще будут святки. Прибегут маскированные люди, некоторые страшными, в вывороченных шубах, и все как будто старики, а голоса молодые. Покричат, попляшут, острую шутку бросят Митрию, нанесут в избу снегу, измокрят пол. Но это так и полагается. В день Крещенья на водосвятии у выстроенной из льдин на пруду «Иордани» все очистятся. Будут и такие, которые свои страшные образины должны будут смыть купаньем в ледяной воде. Егорка этого не видывал, а Микола видел сам и в подробностях рас-

сказывал. Раздевались тут же на льду, бросались в прорубь, окунались с головой и выплывали красные, и хоть бы кто кашлянул! Оденется на ходу и побежит домой, прямо на печку. И спасен. Хилый да больной в ледяную воду не бросится, а здоровому только па здоровье...

Вот и мясоед настал. Гульливый, с катаньями на санях и в кошевах, верхами и на тройках. Откуда и богачи в селе Николаевском находятся? Вот тройка разукрашена: дуга с позолотой вырезана, как шелками вышита. Колокольцев под нею — с полдюжины. Гривы у лошадей в лентах, вожжи гарусные, плетеные любовною рукой. Это невесты для женихов еще до свадьбы выплетают такие разноцветные возжи, все из чистой шерсти и из крепкой конопляной нитки. Да вот же это кто на тройке: Никитушка Воробьев с Ольгой, Елениной племянницей и тремя ее сестрами да с братьями Александром и Ильей — всего их семеро, на небольших красивых санях, сидят по краям, только Ольга и Никита посредине рядышком, а Александр стоит в санях и правит лошадьми, держит гарусные вожжи. Ясное дело — тройка Виктора Степаныча Жеребцова. Вот она и останаваливается около избы. Да, семеро. Внесли в избу Митрия шум, веселье, розовую душистую молодость. Все ясно. Ольга просватана. Через две недели свадьба.

— Нет, дяденька Митрий Лукич и ты, тетенька Елена Петровна, не отказывайтесь, папенька и маменька в ножки вам кланяются, просят милости на свадьбу...

Да как же тут откажешь? При всей бедности, при всех болезнях и немощах — сам Бог силы посылает. И опять же не без помощи добрых людей. Две недели срок короткий, надо успеть в город съездить, пшенички придется мешков пять продать, ну и самим давно пора приодеться, чтобы не стыдно было в люди показаться. Да и какие люди приняли участие в этой свадьбе! Вся родня у Воробьевых богачи. Родня по линии Жеребцовых тоже в грязь лицом не ударят. Павел Иваныч с Грушенькой из деревни Убинской и с ними целый поезд крашеных саней и парами и тройками. Да из Убинского форпоста — казаки — мужья младших сестер Елены. Да сами Зыряновы и Трусовы и Будкеевы. Кому захочется лишить себя чести погулять в такой компании? А Митрия к тому же наметили, как старшего из зятьев Лизаветы, Ольгиной матери, быть «тысяцким», это вроде как распорядитель всеми торжествами и порядками.

На всю округу церковь только в Николаевском руднике. Тут и венчанье, тут и первый свадебный пир у «тысяцкого».

Откуда и взялось? И сапоги со скрипом, с высунувшимися из-за голенищей новыми из цветного киргизского войлока чулками. Тепло и богато. Под суконную, старого, но добротного черного сукна, еще отцовскую «тальму», Митрий надел теплую «байковую» (фланелевую) рубаху с отворотами и с пышным черным галстуком, как у отца на «срисованном» портрете. Брюки из-под тальмы и высоких голенищ не видны: сойдут старые, с заплатами. На голову шапки не требуется. Тысяцкий всюду на виду, поедет он во всем свадебном обозе впереди всех троек и подвод, при нем будут иконы для благословения. А подпоясался он новой красной гарусной опояской, а длинный, такого же качества, теплый красный шарф замотал вокруг шеи, крест на крест спускается от шеи к опояске и концы его, с кистями, затыкаются с боков под ту же опояску. И голос и слова нашлись и прибаутки нужные вспомнились и от себя кое-что присочинил: вышел с честью Митрий Лукич, как тысяцкий самой богатой свадьбы в сорок подвод в обозе. Когда промчались через все село из Таловского рудника и к церкви, па гору, звон от колокольцев, от ботал и от шеркунцев вызвал на улицу все населенье, и повалили люди к церкви, и заполнили весь храм, даже ограду переполнили. На жениха и невесту наглядеться невозможно: как маков цвет невеста в подвенечном платье. Матичка Плохоруков заранее всю церковь натопил так, что можно было и шубы снять, чтобы все видели белое, по последней выкройке псаломщицы сшитое, кружевное платье. Принцессы и те не все так хороши, не все так нарядны, как Ольга. А и жених красавец, высокий, кучерявый, в новенькой казачьей форме. Красные лампасы на брюках, а сапоги с набором, выше колен голенищи и, когда скинул казацкую шинель в церкви и стал рядом с невестой — хоть плачь от радости за всех на свете!

. И кто поверит, кто поверит, что после небывалого торжественного венчанья в церкви, после шумного и громозвонного проезда всем обозом двух кругов по улицам села, весь этот обоз, в сорок с лишним подвод, тройками и парами и одиночками, должен был остановиться и запрудить улицу против избы тысяцкого, Митрия Лукича?..

Ой ты гой еси, нищета неописуемая! Кто поверит, кто поверит, что Елена, сама почетная сваха, должна была принять

и первая накормить и напоить всех дорогих, всех почетных, всех самых богатых и знатных гостей у себя в убогой, маленькой избе? Потом, сытые, они поедут снова кататься, проветриться и поедут в дом родителей невесты, за девять верст от Николаевска, но это только уже к вечеру, а самая-то шумная, самая первая, самая голодная орава будет пить и есть у Митрия и наедятся все досыта, хотя и воздержатся от выпивки, хотя и выпивки для всех здесь хватит до-пьяна: сами Воробьевы привезли ведро, да Трусов полведра, да разные наливки от сестры Елены. Но как всех вместить в одну избу, как установить столы и скамьи и усадить хотя бы самых главных гостей? Новобрачных в красный угол, под образа, а с ними рядом батюшку и матушку, а потом родителей по старшинству, потом почетных и желанных девушек — подружек Ольги. И как протолкаться с блюдами, с подносами, заставленными рюмками, с пирогами, с разными причудливыми печеньями? В новенькой наколочке, сшитой собственными руками по картинке, взятой у той же псаломщицы, в новых полусапожках с шерстяным чулочком, в новом, одолженном у сестры Лизаветы, из голубого рипса, в талию, платье, Елена была розовой от волнения и сияла радостью, как будто и заботы — никакой! При помощи Миколки, Онички и Егорки, все заранее наготовила. Понятно, что Жеребцовы наварили, напекли, нанесли и навезли всего, чего не могло быть у Елены, но она сумела все это подать и разделить и, если все в одну очередь не смогли усесться за столы, то и в холодных сенях, кстати уже опустевших от запасов зерна за зиму, были расставлены столы. Мужчины и женщины не спесивились, не завидовали красному углу. Открывши дверь в избу, в которой было жарко и от печки, и от людских тел, впускали в сени довольно света и тепла и были как бы за одним застольем. И было так, что, когда все уже наелись и согрелись выпивкой, Елена сама расчистила небольшой круг на полу избы и первая сама показала пример для пляски остальным. Пол был вымыт, чист, без сена. Куры из-под печки и ягнята куда-то ловко спрятаны без ущерба для хозяйства. Фенька и Андрюшка уведены к Касьяновым. Оничка волчком крутилась у ног всех и каждого, помогая матери, заранее все запомнившая, всему наученная, маленькая мастерица церемонии. Она всех умиляла своей строгостью и как будто никого и ничего не замечала, кроме своей матери, которую понимала с одного взгляда и ее розовый бантик в белокурой косичке всюду мелькал, нырял вниз, под-

прыгивал вверх и возвышался над толпою. По временам опа подпрыгивала на приступку печки и, стоя на одной ножке, смотрела сверху вниз, готовая на всякий зов отца или матери. Они знали, где ее найти и то и дело отдавали новые распоряженья.

Микола был почетным кучером тысяцкого, значит это он сам выпросил у Вялкова, который был, понятно, одним из гостей на свадьбе вместе с Марьей Федоровной и старшим тестем и сестрой, ту самую кошевку, которая стояла без нужды в завозне. Подновил ее обивку, запрег в нее Гнедчика в корень, а Стригунчика в пристяжки. Начистил сбрую, украсил ее мелким, дешевым, но блестящим, под серебро, набором. Выпросил у Касьяновых крашеную дугу. Сам где-то достал несколько колокольчиков. Заплел лошадкам гривы, подвязал бантами хвосты, украсил заплетенные гривы своих любимчиков, ретивых лошадей, разноцветными ленточками, и подал пару Митрию как раз, когда тот хотел уже просить опять таки Касьянова, выручить его и дать пару лошадей с работником. Нельзя же тысяцкому, и лошадьми править, и свадебный обоз вести, и иконы нести впереди жениха и невесты в храм и из храма. И вот Микола — кучер у отца. Это самый важный в жизни всей семьи случай, когда все село и вся окрестность могут видеть, что Митрий не последний человек в селе и что Гнедчик и Стригунчик могут быть передовою парой во всем свадебном поезде. Ничего, что разномастные, но резвые, поджарые, как бегунцы.

Один Егорка оставался не у дел. Правда, в самом начале суеты перед приездом из церкви всего этого невиданного, тепло одетого, разнообразного народу, ему было приказано стоять у входа и закрывать и открывать двери, потому что многие, входя и выходя, забывали это делать и в избу из сеней валил холод. Но когда сени соединялись с избою и когда тепло было и в сенях и там полно было народу, Егорка влез на кровать и тут же был завален и с головою похоронен шубами, меховыми и суконными, женскими кацавейками, всякими шарфами и опоясками, так что видна была лишь голова. Его никто не замечал, он жадно пожирал глазами все, что было перед ним невиданного, неслыханного, невероятного. Он видел отца, опять чуть пьяненького, веселого, разговорчивого, разливавшего вино в разнокалиберные рюмки и стаканы. Отец ему очень понравился. В новых сапогах, он казался выше ростом и моложе и красивее. Но

больше всего он смотрел на мать, любовался ею издали и сравнивал ее с другими женщинами: только Ольга казалась ему моложе и красивее, все остальные не привлекали его взглядов. Но когда начали петь, он не мог долго выдержать. Стал закрывать руками уши, все немножко удалялось, но когда невольно ладошки рук уставали держать уши закрытыми, тогда звуки песен еще больше глушили его и утомляли до тошноты в желудке. Ему хотелось зарыться во все эти мягкие, теплые, пахучие шубы, но он не мог уснуть и мучился. Очень много лиц перед глазами, много шума, много непонятных и, казалось ему, глупых слов и звуков, от которых не было спасенья. Но одно ему понравилось и запомнилось на всю жизнь.

Это, когда после шумной пляски, потрясшей всю избу топаньем, вышел из-за стола новобрачный Никитушка, красавец писаный и подошел к другому красавцу писаному, Александру Жеребцову и сказал ему:

— Ну, свояк, давай побратаемся!

В избе вдруг наступила тишина. Все на них смотрели ласково, любовно и чего-то ждали. А важнее и еще красивее всех в эти минуты была Ольга. Из-под ее кружевной как из снега слепленной вуали, выбивались золотые волны расплетенной косы, а глаза ее, большие, смотрели, то на брата, то на молодого мужа и это тоже унесет Егорка в жизнь, как то, чего не следует забывать. И ответил красавец Александр, точь в точь такой же ростом, стройный и высокий, только не в казацких брюках с красными лампасами, запущенными за голенища, а в черной куртке, в черных брюках навыпуск поверх черных лаковых сапог, ответил Саша Жеребцов голосом молодым, но уже басовитым:

— Давай, зятек, побратаемся!

Митрий знал, что надо делать. Он поднес обоим по стаканчику. Красавцы взяли стаканчики не торопясь, посмотрели во все стороны, посмотрели друг на друга, скрестили правые руки локтями, медленно, смотря друг другу прямо в глаза, выпили, оба, для порядка, сморщились и крякнули, поставили обратно на подносик рюмки и опять пристально посмотрели друг другу в глаза, и обнялись.

Егорка во всю жизнь свою не сможет понять одной подробности. Почему, после долгого братского объятия, оба эти молодца-красавца вдруг оба заплакали? И заплакавши, они покачивались в стороны и ни на кого не смотрели, а потом Александр начал:

— «Было дело под Полтавой, дело славное, друзья!»

Никитушка подхватил более высоким голосом и стройно продолжалось:

— «Мы дрались тогда со Шведом, под знаменами Петра.»

Вытянул шею Егорка из груды теплых шуб и женских шалей. И с тех самых пор на все его, короткие-ли, долгие-ли дни, врубилась в его память вся эта песня без пропуска единого слова. Потому что вышла Елена в гущу гостей, сидевших за столом, расставленным буквой П от божницы до порога и стоявших с тарелками и вилками в руках, а некоторые с поднятыми стаканчиками вина, приподняла обе руки вверх и стала ими управлять всеми. И повторяла каждый стих снова, чтобы могли петь и те, кто песни этой не знает. А двое певцов начинали новый стих:

— «Наш могучий император, память вечная ему,
Сам ружьем солдатским правил, сам он пушки заряжал.»

И вся картина Полтавской битвы тут же рисовалась всем и вдавливалась в сердце каждого, а в потрясенное сердчишко Егорки она входила непонятной болью до слез:

— «Вдруг одна пуля-злодейка в шляпу царскую впилась».

Откуда, как, но видит глупыш Егорка все поле битвы и царя Петра, мчащагося на коне впереди своих солдат-героев. А то, что не смутился царь и вторая пуля ударилась в его седло, а вскоре же и третья, прямо ему в грудь; и то, что висел на груди его крест православный, и звякнула пуля, завизжала и отскочила; и то, что цел и невредим царь-иператор продолжал мчаться по огненному и окровавленному полю битвы, — не то, что испугало, но потрясло небывалой радостью семилетнего парнишку. И заревел Егорка, слезами сладкими заплакал, сам не зная, почему. Потому ли, что стояли Александр и Никита, каждый склонивши голову на плечо друг другу и лица их были красными от волнения и от напряженья в песне, или потому, что все гости до единого слушались движений рук его матери, отчего и мать, и Никитушку, и Александра, и весь этот поющий и потный и переполнивший избу народ было ему жалко? Но только не чуял себя Егорка. Не было Егорки вовсе, не было ни его рук, ни

ног, ни головы, ни проголодавшегося брюшка а была только песня и была от нее боль, и боль эта была такая сладкая, что вот так бы все и плакал и слушал и болел.

Из всех щелей, просвечивавших в сени и из открытой отдушинки над печью и из выбитого, заткнутого подушкой, малого окошка что в кути, валил на улицу пар. А на улице среди всех саней и кошевок и дровней и сугробов толпа-толпой народу. Ждали опять выхода невесты и молодого, и как они сядут на свою тройку и как Митрий будет командовать, куда и каким порядком ехать. И шум, и гам, и звон колокольцев, и скрип копыт и полозьев, и красные лица женщин и мужчин, и все-все унесется из избы и от избы вместе со всеми шубами, шалями, кацавейками, с отцом и матерью, с Миколой и с теплом избы. Останется Егорка один в избе, потому что Оничка убежит к Касьяновым и они ее домой не отпустят. Она там будет с Фенькой и Андрюшкой ночевать и пить и есть. Один Егорка должен будет догадаться, что дверь в сени надо затворить. А дверь запотела сверху до низу и пот на ней обледенел и не затворяется она в притворе, а мокрый пол в избе тоже покрывается льдом и холодит босые ноги... Кое-как прикрыл он дверь, прыгнул погреть ноги на теплую печку, а оттуда в темнеющей избе увидел столы и скамьи и повсюду остатки еды... Посуда и вилки на столах, на скамьях, на полу и так много еды и так тошнит от голода и от резкого винного запаха, что он не знал, можно ли слезть с печки и выбрать себе, что хочется. Ведь сказано: без спросу ничего нельзя хватать. Кружилась у него голова, и валило его на горячую печку полежать... Так он и не слез с печки, повалился, поплакал еще потихоньку, поныл и заснул голодный.

И никогда никто не спросит и не узнает, почему Егорка так горько плакал, когда все остальные радовались и веселились? Чуяло-ли сердце его что-нибудь из его личной жизни в будущем? Чуяло-ли судьбу отца и матери и братьев и сестер? Или оно уже прочло судьбу Никитушки, который в том же году, через полгода, на озере Зайсане, переправляясь на пароме через протоки Черного Иртыша, от испуга лишь одной необученной лошади, в ряду других испуганных коней и всадников, спрыгнет с парома в воду и не утонет, нет, он отлично умел плавать и лошадь обучил всем случаям в опасности, но чужая лошадь во время провала в воду лягнет его в голову и свалится Никитушка в озеро с парома и унесет его водой, хотя и будут говорить его

товарищи, что видели кровавое его лицо в воде. И не найдут его нигде и никогда, и останется Ольга, девятнадцатилетняя вдова, ждать и надеяться, долго ждать и еще дольше мучиться тоскою о своем суженом, таком прекрасном, таком нежном, таком юном и смелом казаке. А может быть Егорка уже тогда, во время этих первых шумных пьяных песен, которые оглушили его и заставили зажимать уши, может быть тогда пожалел он на веки вечные всех этих людей, богатых и знатных, нарядных и веселых. А может быть, и самого себя, того не зная, пожалел, потому что не мог же поднять головы, упал на печку голодным. В избе все настывало, а он уснул ничем не укрытый. Долго ль простудиться? И умрет, как много умирает детей. И похоронят, и поплачет мать его, а потом в нужде да в хлопотах забудет и она. Но это все равно, все равно. Кто будет о нем думать, когда в избе осталось столько всякой благодати, только бы не объелся: с раннего утра ничего не ел. Не умрет. И скотина в одну ночь без хозяина не умрет. Раз в жизни привелось родителям побыть в почете и на виду у самых избранных людей. А уж Жеребцовы дали пир воистину горой. От них и до дому мало кто ночью дорогу найдет. Но и спать никто не будет. Гулять, так не один день терять. Кое-как подремлют, да завтра спозаранку надо в новый дом, на новый пир всем обозом ехать. И молодых замучат, не спустят их с глаз, пока не придет время, по приказу тысяцкого, запереть их в холодном амбаре, чтобы свахи и дружки и все опытные бабы лично убедились, что честною Ольга вышла замуж, чтобы Виктору Степанычу и Лизавете Петровне при всем честном народе поднести по полному стакану в чистых, в целеньких сосудах, а не в разбитых, не в загрязненных рюмочках, чтобы не опозорить при всем честном народе.

Чуть свет-заря, вернулся Митрий на часок в свою избу. Привез сестер невесты, трех сестриц: Яю, Лизу и Сонечку. Слетал за своей сестрой Катериной, та успела выспаться, поручил им прибирать и разбирать съедобное из остатков, мыть посуду, разбирать кому что надлежит и отнести со спасибом за одолжение. Катерина накормила и Егорку, а Оничка привела домой Феньку и Андрюшку. Всем надолго хватит всякого добра от свадебного пира. Митрий оставил дома Миколу хозяйничать, сам один поехал

опять включиться в обоз свадебного шума и звона и долгих застольных пирований в разных домах. Многие дома ждут гостей, столы накрыты. На всю неделю хватит пищи и вина для всех. Распахнись русская душа, пей, веселись и наслаждайся законом. На то и зимний мясоед. Летом женятся только бездомные.

Целую неделю шумели свадебные пиршества. Все участники свадьбы не успели у себя принять гостей, хотя в день бывало до пяти-шести застолий в разных домах, а не побывать у кого-либо, особенно, кто победнее, было бы обидой: люди готовились. Но, чтобы ускорить конец пиров, два-три хозяина устраивали прием вскладчину; однако все были так сыты и пьяны, что только пошумят, потычут вилками в наряженнаго гуся или поросенка, попробуют вкусных пирогов, разопьют вино и опять из жарких, душных изб на улицу, к запряженным парам и тройкам и снова, с гиком, с песнями. кататься и прохлаждать красные, лоснящиеся от сытости лица. Все уже устали, охрипли от песен и смеха, а после катанья надо было снова подъезжать к новым хлебосольным хозяевам, к накрытым столам, загроможденным всякой снедью, бутылками и жбанами, пирогами и вареньями. А так как на селе не одна свадьба справлялась, то и собаки все охрипли, устали лаять на быстро проносившихся людей...

Митрий никогда нигде не напивался, но как тысяцкий все еще следил за порядком. Больше всего теперь он жалел чужих лошадей, которые стояли в запряжке по целым ночам напролет, без сена и овса, без глотка воды. Забота о лошадях — прикрыть попоной или пологом, а нет, то и рогожей чужих коней, подсунуть клок сена, принести ведро воды и попоить — часто отвлекали его от попоек и приставаний с лишней рюмкой водки. Это держало его голову в здравом уме и твердой памяти. По правде говоря, устал он от гулянки, а бросить нельзя — обидятся, он — тысяцкий. И жаль ему было смотреть на молодых.

Молодые, Ольга и Никитушка, как самые почетные князь и княгиня в застольях, не могли, не имели ни прав, ни смелости отказаться от приема в каждом доме. Без них и пир не в пир. И хотя они были сыты и до головной боли угорели от вин и вынужденных поцелуев — иначе гости кричат: «вино горькое!» — надо подсластить поцелуем молодых — к концу недели так изнемогли, что на некоторых пирах Ольга падала на грудь Никитушки и тут же, за столом, засыпала, притворяясь пьяной.

Последний пир был дан Минаевыми у тех же Жеребцовых в Таловском руднике, и это был опять особый пир, совместный — Грушеньки Минаевой и Лизаветы Жеребцовой, Ольгиной матери, которая хотела выручить сестру и помочь устроить прием на славу — с гармонистами, со скрипкой и пляской Алеши Колюшкина, с хороводом всех подружек Ольги. А Виктор Степаныч устроил маскарад из дюжины мужчин. Кто волком, кто медведем, кто лошадью, они неожиданно ворвались в дом, все в вывороченных наизнанку шубах, шерстью наружу, с платками на лицах, только с дырками для глаз, и начинали обнимать непременно чужих баб, стараясь каждую похитить и увлечь на улицу, выбелить в снегу — «от греха очистить».

Отсюда весь свадебный поезд растаял: половина разъехалась по домам, вторая половина, включая взрослых из семьи Жеребцовых, молодых и их родителей и кое-кого из родни тех и других — отправились за сорок верст в станицу жениха, догуливать уже на месте с казаками Воробьевыми. Там новый поезд увеличится и будет новый пир горой.

Там в большом и светлом доме у хозяев Воробьевых, после первого и многолюдного пиршества, дали, наконец, свободу и покой и молодым. Уже все охрипли, все без голосов, только новые, свежие гости всем распоряжались, угощали, закармливали приезжих, и скоро позабыли о молодых супругах, а те, в светлой горнице, на мягких перинах, только что привезенных из Таловска на особой подводе, вместе с другим приданым Ольги, под новыми мягкими одеялами, отсыпались ночь и день, даже не обнявшись. Сон их длился, как вечность, а может быть был он, как одна минутка, потому что счастье все-таки пришло наяву, трезвое и стыдливое, но и хмельное хмелем юности и удивления: Как нашли друг друга? Как это случилось, что они законченные, полноправные князь и княгиня — муж и жена?

Да, вот так приходит счастье, длится вечность, либо краткую минутку и улетит бесследно и навсегда. Кто знал, кто знал, что так скоро и так страшно их разлучит страшная судьба? Но счастьем, настоящим и обманчивым, мир держится, народ размножается, тем земля стоит. Шум и свадебный гам стоит весь мясоед, не только тут в селе или станице, не только во всем уезде или в губернии, он гудит и двигает людей, веселит и пьянит, звенит колокольцами, скрипит полозьями саней, пестрит в глазах разноцветными шалями, шубами, лентами, шарфами, крашеными

дугами на всем пространстве Сибири и всего Зауралья, и Пермской и Беломорской, и Олонецкой и прочая и прочая Руси Северной, закутанной в морозы и снега. И так от моря и до моря, вплоть до сыропустной недели, чтобы, очистивши животы от мяса, приготовить их к Великому Посту, а в течении Великого Поста, под унылый, медленный и одинокий звон колокола, замолить грехи пиров и разгулий. Тогда и грудные младенцы приучаются поститься, потому что у матерей от постной пищи усохнет молоко в сосцах грудей.

Но, ведь, и Великий Пост не вечен. Минуют посты и молитвы во имя души, придет в блистании весенних разливов весна и с нею Пасха. И опять будет пир на целую неделю, но за ним — уже грезится пашня, свежая земля, ждущая зерен и оплодотворения. Егорке исполнится полных семь лет. Теперь его возьмут на пашню. А там, он помнит по прошлому году, эти жаворонки все взлетают, выше, выше и поют, поют, поют свою, должно быть, очень мудрую песенку о счастье.

XI

ЕГОРКИН АНГЕЛ

В этот же мясоед женился Алеха Кучерявый как раз на Анне Кайгородовой, у которой подростал парнишка от работника Игнахи. Свадьбу сыграли скромно. Алеха не хотел вводить в убыток тестя, а сам денег не имел, но Вялковы устроили так, чтобы было все честь-честью, без хлопот и одолжений и чтобы люди не показывали пальцем на молодого мужика, дескать на чужой грех позарился, жену в придачу взял. Нет, Алеха стал жить своим домом, продолжал работать у Вялкова, пока сам тесть, Кузьма Иваныч, придет и попросит войти в его дом хозяином. Пусть это будет позже, после пахоты, летом, а пока что Алеха сам сколачивал себе свое гнездо и даже мальчика Петруньку взял к себе.

Митрий, вскоре после Ольгиной свадьбы, побывал в гостях у молодых Алехи с Анной; угостили его, пришел он домой уже поздно, лег на кровать. Елена еще возилась по хозяйству, дети уже спали, только Микола чинил при жировике седло для Стригунка. Вдруг врывается в избу растрепанная Анна, в одном платьице, босая, кричит:

— Батюшки, спасите! Он меня убить грозится... Спрячьте меня, ради Христа!

Елена, не долго думая, шепчет ей:

— Лезь на кровать, ложись с Митрием рядом... — А сама шмыг под кровать.

Митрий почуял возле себя теплое тело чужой, молодой женщины, смутился, но делать нечего, обнял, как свою жену, укрыл ее с головой и притворился спящим, а в это время ураганом врывается Кучерявый, кричит:

— Врешь, я следом за тобой гнался! — И увидел на подушке прядь знакомых белокурых волос. У Елены же он знал,

волосы светло-рыжие. Сдернул одеяло с Митрия, замотал обе руки в косы Анны и так и стащил ее с кровати. Все дети в избе переполошились, заорали; Егорка свесил голову с полатей, Микола бросил седло еще до прихода Алехи, стоял, как вкопанный. Елена выскользнула из-под кровати, вцепилась в волосы Алехи и кричит:

— Не смей, не смей ее трогать! Меня ударь, меня бей!..

Алеха Кучерявый, большой, дикий, полупьяный, оторопел, бросил Анну и стоял над нею, не понимая, что делать. А Елена кричит:

— За что ты ее? Не смей бить. Убьешь — сам себя погубишь, в острог попадешь...

Митрий свесил с кровати босые ноги, не мог понять, как все это произошло и почему он принял к себе чужую бабу, а Елена металась по избе львицей, какою он никогда ее не видывал, и кричала:

— Сейчас же при мне помиритесь! Кланяйтесь друг другу в ноги! Ты, сперва, орел безкрылый! Ты виноват, ты и кланяйся ей в ноги, первый! А потом она тебе...

Оба послушались, поклонились друг другу в ноги. А в это время, босой Митрий сошел с кровати, бросился в сени, там стояла под мешком оставшаяся от свадьбы полубутылка. Принес, разлил наспех в два стаканчика, молча поднес первому Алехе. Тот, со стаканчиком в руках, сел на лавку, смотрит, как Анна плачет и трясущимися обеими руками принимает от Митрия стаканчик, а пить первой не решается.

— Пейте, я говорю! — рассвирепел Митрий. — Чорт вас угораздил драться, я только что заснул.

Алеха встал и подошел к Анне.

— Ну, выпьем, что-ли?

— А не будешь драться? Ну, чем я виновата, его чорт принес, в кои-то веки... Я его и не звала. На мальченку, говорит, приехал поглядеть...

— Я так и поняла, — вступилась Елена. — Да он, подлец, не муж и не отец, а негодяй-разлучник... И раз ты, Алешенька, взял жену с ребенком, надо и ребенка принять, как своего... А его, подлеца, нужно в три шеи из деревни гнать!..

Все разъяснилось. Игнаха, бывший работник и незаконный отец Петруньки, явился в село тоже не трезвым. Пришел в дом Кайгородова, когда там как раз была Анна. Алеха от кого-то

услыхал, — нашлись такие кумушки, в одночасье донесли Алехе, — он побежал туда, а там Игнахи уж и след простыл. Алеха пришел домой, разбушевался, бросился во двор искать орудие убийства. Анна и убежала, в чем была, и прямо под защиту Митрия и Елены.

Ушли они от Митрия и Елены в обнимку. Елена дала Анне свою кацавейку, а Митрий сам надел на ее босые ноги новые Еленины сапожки.

Егорка все это хорошо и точно запомнил, потому что у него в тот вечер сильно, от испуга, разболелась голова. Он не мог уснуть, метался на полатях и видел и не мог не видеть, как Алеха выволок за косы Анну с кровати. Он видел это и во сне и на яву всю ночь, до самого утра. А утром и есть не захотел.

По-настоящему Егорка захворал с первой недели Великого Поста, даже с самого утра Чистого Понедельника, значит на завтра после Прощеного Дня. А вечером в Прощеный День перед окнами их избушки деревенские парни торжественно сожгли всю Масленицу; сожгли остатки всего скоромного и молочного и даже самые грехи людей. Для семилетнего парнишки это было невиданное зрелище: Масленица была наряжена в вывороченную шубу, в бабью красную шаль с тряпичным ребенком в одной руке и с обхлыстанным березовым веником в другой. Это был мужик с рыжеватой бородой, но он все время визжал по бабьи и парил ребенка, приговаривая всякую смешную всячину... Егорка не все понимал, что к чему, но мужики и бабы и парни брались за животы и хохотали, с визгом, с восторженным ругательством, с довольной краснотой на лицах. Перед этим, около полудня, за селом, возле церкви, говорят, «брали» город, нарошешный, из снежных кирпичей, и Масленица там тоже принимала какое-то участие, будто бы получила штоф вина и вместе с победителем, Царем Максимилианом, *) напилась, но вмеру, так, чтобы смешнее валять дурака... И вот Егорка видел, как на возу соломы была торчмя поставлена старая просмоленная ось, на оси колесо, все обвитое сеном и соломой, а на колесе сидела и с визгом плакала Масленица. На голове ее был венец из соломы,

*)Рассказ «Царь Максимилиан» помещен в сборнике «В просторах Сибири», том II, Книгоиздательство Писателей, С. Петербург, 1914 год.

соломенная шуба и соломенный в руках ребенок... Уж не помнит Егорка, как это вышло, что тряпичного ребенка переменили, но на колесе продолжался «бабий» визг до самого заката, когда в дыму от загоревшейся соломы все скрылось и Егорка не мог больше вытерпеть: ноги так закоченели, что он убежал в избушку и прыгнул сразу на печку... Он потому и за деревню, где город брали, не ходил, что у него не было сапог, а тут возле избы, понятно, не вытерпел, выскочил, как был в одной рубашенке и босой, и все-таки поджимая ноги, как гусак красные лапы, простоял в толпе довольно долго...

Потом с печки слез на общий стол: заговлялись пирогом со щучиной, запивали его густым квасом, черпая квас ложками из общей чашки, впоследние пили чай с молоком и с хрустящим, очень сладким, проваренным в постном масле «хворостом». За столом, кроме отца и матери, был старший брат Микола, державший себя настоящим работящим мужиком; сестренка Оничка, хорошенькая с разгоревшимися на улице щеками и еще какой-то странный дедушка, замореный и оборванный так, что его на праздники никто в селе не принимал. И всегда таких почему-то посылали в Митриеву избу. Митрий иногда артачился, размахивая руками, кричал: ребят своих-де негде положить, ни постлать, ни одеться, а они — в это время взмах руки куда-то за угол избы, — всяких Лазарей насылают...

Но старик-бобыль был уже в избе и ясно, что у Митрия не поднималась рука вытолкнуть на мороз дрожавшего и покорно ждавшего своей участи нищего. А Елена, с нахмуренно-суровым видом уже усаживала старичонку на скамейку и поправляла Митрия:

— Скажешь тоже: Лазарь... Лазари-то всякие бывают. Под видом таких-то, может, ангела Господь для испытания людям посылает...

Егорка ел за столом сладкий хворост и так как его было для всех мало, а мать давала старику в молоке, чтобы беззубый мог легче проглотить, то к ангелу возникло нечто вроде зависти и очень не хотелось верить, чтобы вот такие были ангелы. Егорка поджимал из-под скамейки ноги, которые все еще ныли от мороза и, не кончив своей чашки чаю, потому что к нему не осталось ни молока, ни хвороста, хотел поскорее прыгнуть на печку, как за столом было решено, что старика положить некуда, кроме как на печку, потому что хоть он может быть и ангел, а все-таки

отдать ему последнюю одежину, чтобы обовшивил, даже мать не согласилась. И пришлось Егорке лечь на пол, вместе с братом и сестренкой, под одну материну изношенную беличью шубку. Егорка задрожал и еще ночью начал бредить... На утро, однако, его поднял крик матери, которая при свете разглядела старикову голову и завопила:

— Обстричь его надо скорее!.. Егорушка, беги-ко, милый сынок, к тетке Касьянихе, попроси у них ножницы...

И побежал Егорка, понятно, босиком, через улицу, по колена утопая в снегу, и принес ножницы, но уже как в тумане видел старика и над ним всю семью в ужасе и крике. Не понравилось Егорке, что со старика срывают его последние лохмотья и почему-то мать бросает их в горящую печку. Еще запомнил Егорка, как старичек, и без того совсем маленький, согнулся еще более от старости и от стыдливости, закрывался волосатыми, грязными руками и крутил головою, хихикал и что-то бормотал. Весь он был серый, в седой шерсти, в морщинах от худобы, но Егорке было уже все равно, может это страшный сон, и как во сне все также исчезло и забылось... Зазнобило его, затрясло. Он прыгнул на кровать, закрылся наваленными на ней какими-то тяжелыми лохмотьями и был рад, что никто теперь не найдет его и что никого и ничего он больше не помнит и не знает.

Сколько времени прошло — неизвестно, только опять увидел, будто сон, Егорка: брат Микола раздел его силой, как старика того, а мать и сестренка наготовили на полу кипяток в большой лоханке и еще бросают в него горячие камни, а отец держит над лоханкой войлок и кричит:

— Сажайте скорее!

И посадили его на лохань, утонули его взгляд и память в пару, которым была наполнена изба и все опять пропало надолго из памяти и из глаз.

Потом еще пришел в себя: сидит он на коленях отца, под тем окошком, в которое видно было закатывающееся солнышко, а отец дает ему несколько подсолнушных зерен и говорит:

— Мы уже скоро отпашемся, а ты все дома лежишь. На пашню-то когда же ты пойдешь?

Захотелось Егорке на пашню, так сладко захотелось, что закружилась голова и заплакалось от радости. Но все опять куда-то уплыло надолго, должно быть на недели. И не помнит Егорка, как это так вышло, что Пасха пришла после подсолнушных

зерен. Пасха была еще вся в ручьях и солнечных лужах, похожих на сусло. Вынесла его мать на заваленку, усадила и дала ему красное яичко, и помнит он, что яичко было тепленькое от его горячей рученки. Приложил он его к щеке, а потом уронил, яичко разбилось, красные кожурки упали на черную землю, но есть яичко не захотелось и все тело снова запросилось тоже на землю, лежать и спать, спать под ласковым таким солнышком, впервые в жизни показавшимся красным и близким, тут же за соседским домом Кирилы Касьянова. Может после Пасхи отец с подсолнушными зернами пришел с пашни, но Егорке так и на всю жизнь запомнилось, что сперва отпахались, а потом Пасха пришла. Это очень важно потому, что после Пасхи было опять явление: старик сидел возле кровати, тот самый старик, который теперь был чистенький, хотя и весь в заплатках, что-то мастерил, кажется, гнездо для курицы-наседки и соблазнял Егорку небывалой в жизни историей:

— А ты, слышь, поправляйся скорей, да мы с тобой на рреку Убу либо на Таловкуррыбачить, едят те мухи, пойдем... Там наррежем пррутиков зеленых, да моррдочку сплетем, ррыбы наловим, да уху славне-ецкую сваррим. Да пррутиков-то еще домой прринесем, да дома пестеррушки сплетем, яички из-под курриц собирать.

Сидел и долго ворковал, всякое «р» растягивал и за это был такой особенный, такой хороший дедушка. Так поманило Егорку на речные берега, а зеленые прутики впервые стали для него чем-то особенно-несбыточным, далеким, дорогим. И луга пригрезелись, зеленые, далекие, с цветами и птичьим пением, и «пестеррушки» стали ему грезиться такими милыми, как будто все в них заключалось: счастье и сама жизнь.

Но опять исчез старик, не мог дождаться себе спутника на берега реки, ушел будто рыбачить, а потом весенние вольные дороги должно быть уманили бобыля бродить по берегам других рек. Исчез бесследно навсегда. А может, в самом деле, это был ангел, поманивший в чистые дубравы, позвавший в далекие пути — как знать? Только Егорка все еще лежал в постели, худой и легкий, как соломинка; переносила его мать с кровати на пол, с пола на крыльцо, где пахло уже летней травою, скошенной на ближней ляге и привезенной на отцовской телеге для Карьки и для Буланухи.

Хорошо было дремать на кривом, непокрытом крылечке; уж

так хорошо, что даже мухи, залеплявшие его личико, не мешали ему дремать, потому что вот сейчас прилетит с поля ветерок, дунет на мух и прогонит их. Такой ласковый ветерок, что даже мать не могла так приласкать.

Вот тут впервые, с этого крылечка, всмотрелся Егорка в небо. Днем голубизна его была так глубока и загадочна, а вечером, когда мать запаздывала унести Егорку в избу, на небе открывалось столько светлых и таких далеких и слегка мигающих глаз... Вот где они и вот их сколько настоящих ангелов!

Свыкся Егорка со своей беспомощностью и покинутостью всеми. Даже мать уж не скрывала своего равнодушия к судьбе Егорки и говорила о нем с приходившими к ней соседками, как о покойнике:

— Рада бы была, если бы Господь прибрал его. Помучился. Уже полгода чахнет, не выздоравливает, не помирает. Не пьет, не ест: — чем жив — удивление, да и только.

И сам Егорка слушал о себе все это равнодушно, даже безучастно, лишь изредка закроет глаза и слушает себя — жив он еще или уже мертвый? Взглянет на небо — там облака плывут, на них наверное мягко будет лежать, если он умрет. Там с ангелами, должно быть хорошо. Все, кто умрет, все там, и никто еще не возвращался на землю. Значит, там лучше. И Петровна и соседки говорят, что Богу нужны самые кроткие, самые хорошие. Хороший ли Егорка — вот главная была его тревога. Но твердо знал, без подсказа, и сам так думал, что если умрет, то там на небе будет вечно маленьким, семилетним Егорушкой. И Васенька, и Феденька, что до него родились и умерли младенцами, тоже будут маленькими, и когда он там их встретит, то водиться с ними будет. Им будет хорошо с ним, он уже большой, а они там маленькие, и одни.

И текут сами Егоркины мысли, текут по новому, так что даже, может быть, и маменька так не может придумать. А маменька грамотная немного. Егорка раз увидел, как Петровна читала в воскресенье книжку: лицо ее было спокойное, без единой сердитой морщинки, глаза совсем закрыты, будто она спит, но губы чуть-чуть шевелятся и тихо-тихо шепчут, складывая из букв слова книги. И такое далекое лицо тогда, и в то же время такое светлое и милое — так бы и молиться на него всю жизн... Хорошо, что он, Егорка, раньше маменьки умрет — он все узнает там, все так устроит, что когда туда прибудет мамень-

ка, он встретит ее и уж тогда будет с ней всегда, всегда. А то тут ей некогда с ним побыть — так ее замучила бедность, да и тятенька часто ругает. А там и тятенька не будет ругаться, там все будут хорошими, и день там будет вечный, ночей там не бывает... Хорошо бы поскорее улететь. Но почему-то не берет его Господь — так и маменька скучает.

Лежит Егорка, сам себя не чует, лежит и стонать боится, потому что на всякий стон маменька отзывается:

— Чего тебе? Попить?

Егорка хочет ответить, но губенки слиплись, едва их разнял, а в горле, вместо голоса, что-то булькнуло. И вдруг услышал он материн шопот, какого никогда еще не слышал: шопот и сморканье и какое-то повизгивание в ее горле. И услышал:

— Владычица, Матушка!.. За что же так дитя безвинное страдает?.. — И перенесла его в избу, на кровать.

Понял Егорка, что мать все-таки его жалеет, но более всего понял, что ему ее еще больше жалко. Так жалко, что если бы мог, — плакал бы день и ночь, всю бы жизнь плакал. Но не плачется — весь насквозь высох. Лица матери не видел, потому что видел стену, а на стене старая побелка потрескалась на мелкие, такие извилистые бороздочки, и глаз невольно тянется — куда они ведут?.. То кажутся эти бороздочки большими бесконечными дорогами, путанными, сплетенными, как невод: по таким дорогам всякий заблудится. А вот шла, шла дорога и провалилась в щель бревна, а из щели усы таракана торчат. Ух, какой матерый!.. Потянулся пальчиком к таракану, но пальчик зацепился за дырочку старого одеяла и не мог подняться. Ну и не надо. Смотрел на таракана, а вспомнил муравья: в прошлом году Ванька Агафонов у муравья квасу просил на палочку... Ванька давал Егорке полизать палочку, и правда, кисло было на языке. Значит делают муравьи квас. Умные.

Егорка поворочал во рту языком и почему-то захотелось ему квасу. Вот, целый жбан бы выпил. И проскрипел он что-то, а мать поняла, что совсем отходит. Подошла к нему, наклонилась, а он ей сердито так:

— Ква-су-у!..

Она так и бросилась со всей прытью на улицу: своего-то квасу не было, а в доме и своих корчаг не было, чтобы квас делать. Для сусла занимала у Касьяновых, а у них всегда квас бывает. Прибежала туда и еле переводя дух сказала:

— Спиридоновна, родимая, квасу мой-то болезный захотел. Либо это перед самой смертью, либо...

— Нет, уж это на поправу! — Спиридоновна тоже заспешила, даже сама пошла к Петровне в избу — будет-ли пить и сколько выпьет Егорка квасу?

Припал Егорка в самом деле к квасу и даже рученками уцепился — едва отняли. Нельзя-же сразу давать, сколько хочет. Рученки его, сухие палочки так и трясутся от жажды, а лицо в мелких старческих морщинках. Шейку, хоть перерви, как и голова на ней держится? Когда он пил кожа на его личе еще страшнее сморщилась. Спиридоновна молча покачала головой и про себя решила: не к поправке этот квас, а к близкой смерти. Егорка повалился на подушки и сразу задремал и не проснулся до самого утра. И весь день потел и спал.

К вечеру приехал с пашни Митрий, услышал о квасе, подошел к Егорке, долго сидел, не мог спать, вглядывался в спокойное лицо крепко-спящего Егорки и бронзовое, загорелое на пашне лицо отца просияло улыбкою надежды: Егорка не только спит, но личико его в пузырьках от пота. Значит: выживет крепкая мужицкая кость. И рассказал Елене, что поспела одна, первою вспаханная полоска пшеницы-черноуски. Как мех чернобурой лисицы в этот день волновались золотые, тяжелые, с длинными черными усами, колосья.

Так и рассказал — картинкой.

Узнала бабушка Аксинья про историю с квасом, незванною явилась и распорядилась: наскребли ножем редьки, выжали редечного соку, потом натолкли из сломанной хрустальной рюмки мелкого песку, просеяли через мелкое сито: смешавши, сама последила, чтобы Егорка выпил до последней капли и проглотил бы последнюю песчинку.

И никакой тут выдумки нет, а сущая правда: от кислого ли квасу, от редечного ли соку с битым стеклом, но начал Егорка явно выздоравливать...

Через какую-либо неделю, к этой именно полоске поспевшей пшеницы привез Митрий Егорку, к первому дню жатвы всей семьей. Не смотря на летнюю жару, Егорка был завернут в материнскую, ту самую, порванную, но все еще дорогую беличью шубку, в которой Елена впервые приехала со всем своим приданым в дом свекра почти пятнадцать лет тому назад. Егорка не мог еще держаться на ногах, но мог сидеть и улыбаться

сморщенным личиком древнего старца. Все, глядя на него, смеялись. Из телеги его на руках перенесла Елена, как перышко, а Егорке было жалко маму: как бы не надорвалась. Даже Микола жалостливо улыбался, глядя на братишку: он один все еще не верил, что Егорка выживет. Но Митрий был счастливее всех. Он сразу же согнул спину и поклонился зреющей ниве, ловко и быстро аглицким серпом нажал и завязал первый сноп, даже не распрягши лошадей. Пшеница приветливо пошепталась с острым серпом; горсти Митрия были полны и щедры, когда он укладывал ее в сноп и когда увязал, поставил сноп и пнул его ногою, сноп лег на жниву. Тогда он подошел к сидевшему на травке у края полосы Егорке, взял его на руки, перенес и посадил на первый сноп.

— А ну-тко, сын, садись на сноп. Ах, курва-марва эта хворость, работника у меня самого золотого из артели выбила. — Егорка смотрел вкруг, глазам своим не верил: все, и Оничка, и Фенька, и Микола смотрят на него, как и впрямь на золотого, а Митрий повысил даже голос: — Вот нажнем, да на мельницу отвезем, мать нам бе-елых калачей напечет, ешь, сын, поправляйся. А пока что сиди на снопе, командуй, будь царем, едят те мухи!

Совсем похожий на девочку, в беличьих мехах, Егорка морщил личико в улыбке и в ярких лучах летнего погожего утра, которое слепило его глаза. Впервые в своей жизни увидел он полоску пшеницы, как никогда еще ее не видел: она волною черного золота переливалась и кланялась ему и отцу его, и матери, и брату, и сестренкам, и лошадям, которых Микола только что распрег и уже путал на соседней лужайке. В этот именно короткий промежуток времени случилось то, что стало для Егорки вечностью. Так это было на всю жизнь незабываемо. Мать пошла на край полосы и там своим серпом срезала несколько высоких, сочных розовых медунок — иначе он их имени не знал — и поднесла их Егорке. От цветов пахло медом и прохладою невысохшей росы и еще чем-то, что трудно объяснить, но что помнится в [illegible], когда [illegible] к лицу ветку цветущей черемухи. И потому еще Егорка не забудет этот дар матери, что у него невольно, совсем не по-детски, с хрипом пересохшего в горле голоса, вырвался вопрос:

— Ма-амынька! — он тут захлебнулся и с трудом закончил: Это кто... Кто это их такие сделал?

И было к месту, когда просто и уверенно, прямо, не задумываясь, ответила ему Елена:

— Кто же больше, мой сыночек, как не Господь Бог? Только Он все сотворил: и небо, и землю, и птиц, и животных, и цветы, и пчелок, которые нам мед приносят... И сверкнувши серпом на солнце, она склонилась к полосе и набирая в руку срезанные колосья, запела голосом высоким и свободным, но до слез прекрасным:

— Коль Славен Бог, Господь Сиона!.. — И даже Митрий не очень влад стал подтягивать: — Везде Господь, везде Господь!

Да, — это истинно так: в это незабываемое утро маленькой душе Егорки, едва теплящейся в его иссохшем в долгом, невинном страдании тельце, открылся Бог во всем Своем сиянии, во всей Своей беспредельности и светозарной красоте.

Не умея осмыслить своего чувства, Егорка впервые, как бы в молитве поднял радостный свой взгляд наверх, поверх полоски хлеба, через соседний косогор за ручьем и увидел на голубом небе белое облако. Оно медленно проносилось, как длинная белая птица, раскинув широко свои прямые, с перьями в завитках, крылья, свободное и счастливое в своей недостижимости. Никто и никак не поймает, не удержит его — вот это смутно и безотчетно, но мягко и навсегда прикоснулось к еле бьющемуся Егоркиному сердечку и осталось в нем навсегда.

Потом глаза Егорки закрылись, слишком много было для них вместить все, что они видели, но надо было что-то закрепить, закрыть глаза, запомнить. Когда же он их открыл, увидел лужек, на котором паслись Гнедчик и Игренька и около них лежали их неотлучные сторожа-спутники — Цыган и Булька, а за лужком, забежавши по белые колени — так и показалось, что босая, только в белых длинных чулках, стояла зеленая, белоствольная березка и роса на ее листочках отливала многоцветными звездочками, много, точно, как тогда, в ночном небе, когда он видел множество открытых окошечек, в которые с неба спускались на ночь на землю все ангелы хранить детей. Где-то тарахтела, далеко, телега по проселку, а еще дальше, из-за медленно поднимавшегося вверх увала, донеслось ржание лошади. Гнедчик раздул ноздри и высоко поднявши голову, ответил с явным приветом дружелюбия. Но глаза Гнедчика расширились и в них блеснули, рядом с белками, темные огоньки с синевою. Ясно, что лошади знали, о чем перекликались, но Егорке это

было непонятной тайною. И показалось тогда Егорке, что в ответном ржании Гнедчика на далекий зов какого-то чужего коня, был веселый смех, почти что хохот. Так все было вокруг весело и радостно.

Внизу сверкала тихая речка возле мельницы Шмаковых, речка Таловка, и уплывающее вдаль белое облако тоже смеялось от того, что уже унеслось так далеко: никто не догонит, не поймает. Тут Егорка прищурил глаза: подождите! Это же ангел Божий летит. Самый настоящий, с перистыми, заостренными на концах крыльями. Точь в точь такой, но только еще лучше, как он видел где-то у мамы на картинке в книжке. И вспомнил он старичка, седенького, которого мать приютила в их избе на весь Великий Пост. Да, мама называла его ангелом. Есть ангелы! Есть! Егорка от усталости закрыл глаза и не мог их открыть. Сон одолевал его, с непривычки упился запахами поля, свежей пшеницы и медунок, что держали его слабые, сморщенные, восковые рученки.

XII

ПЕРВАЯ КОПЕЙКА

Так никто и не интересовался, какая у Егорки была болезнь — не умер, и этого довольно. Только к осени окреп, потому что отец все время брал его с собой: на пашню, на покос, на молотьбу — все лишний кусок сунет ему в рот: «Ешь, поправляйся». Но болезнь выходила из него медленно и мучительно: нарывами. Такие большие, то на животе, то на спине, поднимутся бугром, в середине желтая точка и вокруг опухоль. Пока прорвет, измучит, ни спать, ни играть не дает. Но все время Егорка на ногах, на улице. Набегал к осени опять черные «цыпки» на ногах, а сапог и к зиме, хоть бы старых, не было. Зима опять длинная, а зимой еще нарывы, на этот раз в горле. Совсем задыхался, ни дышать, ни пить, ни есть. И опять таки хворал на ногах. Как-то побежал во двор по нужде, поскользнулся на льду, упал, заревел — голос появился, из горла хлынул гной с кровью. В избе прохаркался, мать обрадовалась: оживет парнишка. Так и есть: Ожил. Но какая там школа? Целыми днями сидит на печке, в табачную коробочку с караваном богдыхана, собирает всякие хорошенькие мелочи. Бумажечки от конфеток, которые когда-либо съел, рассматриваются вновь и с новым интересом, подолгу и с прищуркой: там целые миры, в этих невиданных картиночках.

В церкви Егорка давно уже не бывал. Летом босого не пускали, а зимой и вовсе не в чем выйти. Даже Елена часто по воскесеньям сидит дома. Беличью шубу ее, дети, укрываясь в зимнюю стужу во время сна, совсем разорвали на части. Беличий мех трудно сшивать кусочками. Одна пелерина с длинными кистями — беличьими хвостиками, осталась целой, но в ней одной в церковь не пойдешь. Лежит в сундуке до какого нибудь радостного дня. По утрам в праздники Егорка вынет из

отдушины над печкой тряпку, служившую затычкой; вместе со струею свежего, холодного воздуха, врывается отдаленный трезвон колоколов: обедня отошла, скоро Оничка или отец придет с просвиркой. Обедать будут. Но в трезвоне колоколов слышится Егорке все одно и тоже: «Бедная — моя-то, бедная моя-то!» Это он относит к матери, всю свою жалость на нее переносит. Это о ней и колокола печально поют: «Бедная моя-то!» Нет, в школу Егорку в эту зиму не удалось отдать, да и школы не было. Учителя не прислали, а весной, как раз на Пасху, и лазарет сгорел, в котором помещалась школа, откуда прошлой зимой Митрий увез учителя куда-то в горы.

Опять была суровая зима. Дни жизни тогда были длинные-длинные. Потом, когда годы будут спускаться, как занавеси, одна за другою, Егорка забудет их скорее, нежели те дни его первых лет жизни, когда он стал учиться грамоте. А грамоте он стал учиться у малограмотной матери, которая писать не умела, но показывала Егорке буквы в книжке и говорила:

— Видишь, вот это А, а это Бе? Ну, повтори за мной: Бе-А-Ба, Ве-А-Ва.

Он подхватил и через два-три дня, сидя на печке, босой и голодный, тарабанил во весь голос:

— Бе-А-Ба, Ве-А-Ва, Ге-А-Га! — И ему это так нравилось, что он совсем забывал вытирать нос, под которым было хронически мокро.

Все ребятишки, рожденные в нищете да в холоде, так сопляками и росли, пока окрепнут, — лет до десяти.

Но ведь многие из них не выживали — рождались всегда под осень. Летняя страда для матерей была вдвойне изнурительной — надо жать и косить и молотить, когда ребенок уже на сносях. Потому, рождались прежде времени, как раз к зиме. А у матерей молока мало: один еще от груди не отсажен, а новый уже родился... Не выживали. Отцам приходилось копать могилки еще в застывшей земле, в марте — редко доживали до весны; так и Егорка выдюжил, но простуда с младенчества каждую зиму выходила из него носом.

А тут еще почти год хворал, чудом выжил.

Но, Господи Боже мой, как была счастлива мать, когда Егорка сам, забыв о сырости под носом, достал из печки тонкий уголек и на полях висевшей на стене картинки, «Под вечер осенью ненастной», напечатал очень старательно: ДОРГI.

Пришел как раз соседский подросток, умевший читать. Он сразу же так и прочел: «Дорги». Но Егоркина мать его поправила: «Деоргий». Буква Д уже и для нее и для Егорки была ДЕ, зачем же ставить Е? Но соседский грамотея и ее поправил: по календарю Егора звать Георгий. Егорка жадно слушал, но соседу не верил: мать его знает лучше всех. Так и писал себя по имени Егория Храброго: Доргi: «I» с точкой для него было твердо и достаточно вместо ИЙ, пока не поступил в школу, год спустя, когда ему стукнуло восемь с половиной.

Но как он впервые попал в школу? Об этом стоит рассказать. Во-первых, мать его первая увидела учительницу на улице. Высокая, красивая и молодая, в безрукавом теплом доломане и в белой шапочке, она появилась на белоснежной улице, как сновидение. Во-вторых, Елена сидела несколько вечеров, шила для Егорки сюртучек. Так точно: сюртучек из того самого дедушкиного, старого, разорванного в драке между Оничкою и Миколкой сюртука — Егорке сюртучек по росту. И утром рано, сняла с себя свои старые валенки, надела на Егорку, полы сюртука доходили как раз до колен ему, а валенки тоже до колен.

В этом виде она поставила его перед иконами, сама босая стала позади и приказала помолиться. Сама читала молитву, Егорка повторял, потом сказала ему:

— Поклонись мне в ноги, скажи: «Маменька, благослови». И поклонился Егорка, сказал: «Маменька, благослови» и от себя прибавил: «Христа ради!» И это, эти прибавленные самим Егоркою слова: «Христа ради!» — вызвали у матери слезы. Она наклонилась к нему, поцеловала и перекрестила его трижды. Надела на него Миколину старую заячью шапку, а поверх сюртучка намотала крест-накрест через грудь праздничную шаль, подарок свекровки Соломеи Игнатьевны, и в этом виде Егорка потащил большие валенки от избы по снегу вверх по улице. Мать, босая стояла на крылечке, крестилась, плакала и может быть мечтала, что вот пошел ее Егорка в жизнь иную, новую какую-то, по мысли Елены, по молитвам ее кротким, с мечтою о немногом, о возможном, по Господней милости.

А школа была в новом месте, вернее в старом, большом доме, бывшем доме управляющего рудниками, Ползунова, в котором теперь занимал одну половину отставной лекарь Иван Никифорыч. Над домом этим зиму и лето шумели те самые тополя-гиганты, которые серебрились зимою, зеленели все лето, пере-

полненные разными птичками с оглушающим щебетом и золотились долгую осень, как две золотые горы по обе стороны села. Сюда и дотянулся, против ветра, Егорка. И пришел он во время, до прихода учительницы. Ребятишки шумели в классе и в соседней пустой зале, и на улице. И уже во время первой перемены они окружили Егорку и дергали его за полы сюртучка, смеялись и выкрикивали: «Конторский!» «Глядите — барин, господин!» Но Егорка выдержал. Он с первого часа в школе был захвачен невиданным зрелищем: учительница! Ой, какая она красивая! Даже красивей его матери, и даже Ольги Жеребцовой, только еще выше и наря-адная. Смотрит он на нее, а слов ее не слышит, не разбирает, только голос, такого не бывает у людей, наверное вот такой бывает у ангелов.

Простил Егорка школьникам насмешки над его сюртучком.

Но вот, при выходе из школы ребятки толкнули его в снег, он и вывалился из больших материнских старых валенок. А они еще и снегу в валенки насыпали. Босой, он замерз, плакал, едва дошел до дому, но и это простил. Однако, рассказал матери о насмешках и о том, как его «вывалили» из валенок. Тут мать и сказала:

— Ты же им простил? Ну и забудь, молись Богу да учись. Старайся.

Ах, какое это было счастье — сидеть в теплой, светлой, огромной школьной комнате и неотрывно любоваться развешанными по стенам картинами: на одной стене были картины из Закона Божия — двенадцать годовых праздников — это особенно хорошие картины, а на другой — человек со снятой кожей, человек с открытым животом, так что все кишки видно, и потом скелет человека... Эти картины он не любил, даже боялся на них смотреть, когда оставался в классе один, а оставался он часто, «без обеда», потому что сидевший с ним рядом Андрюша Зырянов, купеческий сынок, всегда так подстраивал, что Егорка громко хохотал. Нападет на него смех, не может остановиться, и учительница, после третьего предупреждения, вдруг покраснеет и закричит:

— Ну, теперь ты будешь сидеть без обеда!

Правда, она потом вскоре приходила и раньше времени его отпускала, но он хотел бы оставаться дольше. Уж очень скучно и темно, и убого, и холодно в родной избушке. Вот в один из таких-то одиноких часов в классе, как-то перед Рожде-

ством, пришло ему в голову — попробовать писать, «по-мелкому». Его первая тетрадка была уже исписана «по-крупному», по косым линейкам, он еще совсем не знал грамматики. Но была у него белая бумажка — учительница выронила из шкапа листок и он его берег много дней. Он налиновал по нему прямые, поперечные линейки и со страхом подошел с столу учительницы — впервые взял в руки ее чернильницу и ее перо — ими наверное лучше выйдет — и, севши на свое место, стал писать мелко-мелко. Вышло! Попробовал писать быстрее — тоже вышло!

В тот первый год в школе все было первое и все было радостное. Впервые он принят был в церковный хор и хоть голосок его был очень слаб, Егор Митрич, регент из Воронежской губернии, не исключил его и даже звал на спевки. Это было тоже первое и радостное, потому что на спевках, по очереди происходивших в разных домах, давали чай с сахаром и с пшеничным хлебом, иной раз даже с пирогами. Егор Митрич звал его Тезка! — и первый узнал, что Егорка к Рождеству уже научился писать «по-мелкому». Об этом Егор Митрич рассказал на Слободке, где жили зажиточные переселенцы из Воронежской губернии. Сам Егор Митрич был хорошо грамотный и даже переписывал ноты, но на Слободке больше грамотных людей не было, а надо было писать письма на родину, родне наиболее состоятельных и недавно построивших большой дом переселенцев.

Первое это было Рождество, когда в снежную метель, морозной ночью, вместе с отцом и старшим братцем, Егорка брел по сугробам на гору в церковь и, когда все люди должны были стоять в церкви тесной толпою, Егорка торжественно протолкался к клиросу и втиснулся в группу певцов, как равноправный певец. Это был первый год, когда он вместе с хором, на дровнях-розвальнях, объезжал богатые дома и пел тропари и многолетия хозяевам и веселые колядки — новость, привезенная в Сибирь Егором Митричем из Воронежской губернии.

И вот тут-то и случилось, что когда они отпели и отпотчивались в самом большом, новом доме переселенцев, бабушка, строгая глава всего семейства, спросила Егора Митрича:

— Не той ли то голубок, что писать письма могит? — Голос ее был басовитый и растянутый, как будто слова она не говорила, а напевала.

— Той-той самый! — сказал Егор Митрич и погладил по белокурой голове мальченку.

— Ну, коли слободный будешь — приходи, письмо мне напишешь, я те копейку дам. — Старушка тоже прикоснулась к волосам Егорки и пошло от этого прикосновения такое славное тепло, а от руки запахло воском — она только что зажгла свечку перед образами, чтобы христославы пели более молитвенно.

Рождество на Руси празднуют до Нового Года и потом через Святки до Крещенья. За эти две недели Егорка усиленно практиковался в писании и все свои старые тетрадки исписал между строчек, все «по-мелкому», а в Крещенье, после обедни, в морозный день, долго, по сугробам, борясь с резким боковым ветром, плелся на Слободку — это около версты. Когда пришел, старые материны валенки были полны снегу — очень они для него были велики, а материна же кацавейка, сползавшая с его плеч до пола, раздразнила хозяйских собак так, что они чуть его не разорвали. В слезах и страхе был он спасен хозяином, высоким, бородатым сыном старушки, отцом большого семейства. Когда вошел в теплый, светлый дом, тут же на полу, плача и швыркая мокрым и застывшим носом, сел и сбросил вместе со снегом растоптанные валенки с ног и собрал вокруг себя всю удивленную его бедностью и жалким видом, семью переселенцев. Молодица, жена младшего сына, что в солдатах, вытерла его ноженки, ребятки стаскивали кацавейку, а сам хозяин снял с Егорки шапку и утешал:

— Ну, ничего, не до-смерти. Не пла-ачь!

И стыдно стало Егорке своих слез — пришел же он сюда писарем, а вот расплакался. И через силу усмехнулся над собой Егорка, встал на ноги, приплеснул на теплом полу и рассмешил все семейство. А бабушка уже распорядилась, чтобы прежде всего его накормили. И вкусен же был этот первый воронежский борщ с наваристым, янтарным жирком и мягким, белым хлебом!

Все семейство собралось вокруг стола, когда он был освобожден от чашки, ложки и крошек хлеба. Чернильница Егорки была веревочкой привязана к лежавшей на полу кацавейке, и это развеселило все семейство. Он отвязал непослушную нитку, с трудом, зубами, вытащил пробку из бутылочки и вынул из кармана новых праздничных штанов перо, привязанное к простой палочке и вооружившись этой самодельной ручкой, сел за стол, все еще босой, с всклокоченными волосами, розовый и от мороза, и от вкусного обеда, и от волнения.

Бабушка торжественно вышла из горницы, приложив к сердцу листок бумаги. Вот она положила листок на стол перед Егоркой и сказала:

— Гляди, не спорть. Зырянов на копейку только два листка дает.

Гладко-скользкий и приятный на ощупь был этот листок. Руки Егорки дрогнули, когда он стал обмакивать перо в бутылочку с чернилами — как бы не пролить на бумагу и на чистый, некрашенный стол. Егорка стряхнул капельку в бутылочку, как это он видел в школе — батюшка-законоучитель так делал, и, держа в руке перо, смотрел на чуть заметные линейки на бумаге и радовался, что есть линейки — по ним он не скривит. Наступила торжественная минута всеобщего молчания. Но вот бабушка перекрестилась, поглядела на сына и на сноху и на всех ребят и даже на молодицу, стоявшую у печки, и сказала:

— Ну, Господи благослови. Пиши: письмо на родину от сестры вашей...

Егорка так и начал: Ну, Господи благослови... Он так волновался и хотел не отстать от слов бабушки, что опять забыл про нос, из которого вот-вот капнет на письмо... Но он во-время ушвыркивал жидкость. Молодица догадалась: она поспешно ушла из стряпчей, в которой происходило все это событие и тотчас же вернулась и положила перед Егоркою красный, маленький платочек. Егорка догадался. Положил перо, впервые в жизни высморкал нос в чужой платочек и в это время понял, что слово «пиши» писать не надо и продолжал: Письмо на родину...

Сразу же начались поклоны и повторения: «И еще кланяемся...» И это помогло Егорке ускорить писание. Он так сильно скреб пером, что хозяин встал, подошел, нагнулся, посмотрел и сказал:

— Явственно пишет... Это придало Егорке больше бодрости, но и намекнуло: надо писать явственно. Вскоре исписалась вся первая страница, и у Егорки, пока она подсыхала, была возможность снова высморкать нос, а пальцы его с трудом разняли скользящий листок и разгладили его во всю широту на столе. Поклоны продолжались всю вторую и всю третью страничку и только на четвертой было сказано: «Ну, а мы все живы и здоровы и урожай у нас был Слава Те Богу». И наступила опять минута молчания и переглядка всех со всеми.

— Чего же еще им написать? — спросила бабушка как бы самое себя.

— Дыть чего жь еще? — отозвался сын-большак. — Ахрамея быдто забыли. — «И еще кланяемся Ахрамею Зиновичу с семейством по низкому поклону и желаем от Господа Бога доброго здоровья и в делах рук ваших всякого поспешения».

— А Маланью-жь, вдовуху? — подсказала молодица, потому что Маланья была ей родня.

— Ну и Маланье, — скомандовала бабушка и Егорка уже сам все написал от поклона до всякого поспешения.

Бабушка опять важно пошла в горницу за конвертиком и когда вышла, озабоченно взглянула в окно на закатывавшееся солнце. Потом, положив конверт перед Егоркой, сказала:

— Ну, прочитай, чего там написано. А опосля адрес напишем.

Прочитал Егорка бойко, голосисто, все слушали и вспоминали, всех ли перечислили и главное, явственно-ли написано. Все было явственно.

Адрес на письме было писать не легко; уж очень он длинный, едва вместился на конверте, но тоже все было сказано, и губерния, и уезд, и волость, и деревня, и имя брата бабушки, даже по отчеству названного.

Платеж за писание письма производил сын бабушки. Он вынес из горницы две монетки — так это было ясно потому, что он звякнул ими, задержал в руке, должно быть был намерен заплатить Егорке двойную цену — уж очень все вышло гладко и складно в письме, а мальченок, видать, бедный. Но он переглянулся с бабушкой и не посмел нарушить условия — отдал одну копейку.

Было уже почти темно, когда Егорка подходил к родной избе. Руки его страшно коченели, потому что, кроме копейки, дали ему переселенцы полную бутылку подсолнечного масла, в гостинчик для матери, а бутылка все время холодила руки; и как он ее ни старался прятать под полу, она выскальзывала, а надо было ее держать и донести целой, потому что она стоит куда больше копейки может быть даже три копейки, а скорее всего ей и цены нет, потому что в Егоркиной избе хоть и бывает скоромное масло по праздникам, но подсолнечное он видал только в Великий Пост в прошлом году. Мать его будет просто счастлива, когда увидит, что не напрасно она вымолила у отца согласие отдать Егорку в школу.

Ноги закоченели, весь Егорка продрог от долгого пути по метелице, но он торжественно, с широкою улыбкой, постучался в дверь, примерзшую в притворе, так что сам он открыть ее никак бы не смог. Открыл ему Микола. Семья была вся в сборе, к ужину. Егорку встретили, как героя.

...Пройдет много лет в жизни Егорки. Может быть он станет сельским писарем, может быть даже фельдшером, а может еще кем либо, побольше фельдшера, но эту, первую свою копейку, заработанную им с таким трудом и с такой честью — он будет беречь в памяти, как самую великую награду, как ключ к тому свету, о котором смутно мечтала и молилась его мать, Елена Петровна.

XIII

ЕГОРКИН ГРЕХ

(Эта глава является исправленным рассказом «Грешник», из первого тома рассказов автора, «В Просторах Сибири».)

Егорке только после Пасхи пойдет двенадцатый год, а перед Великим Постом, на Масленой, он впал уже в первый грех. И вот как это случилось.

Катушка была устроена как раз против дома лекаря, где помещалась сельская школа. К вечеру на нее стекалось много народу, молодые, старые и дети. Стояли они с двух сторон, а парни, садясь на свои саночки, некоторые ярко покрашены, с крутыми выгнутыми передками, едут потихоньку по узкой, политой льдом дорожке, как по коридору, и выглядывают, кого бы из приятных девок пригласить. Девицы жмутся, прячут стыдливые улыбки в рукава, ломаются, а потом садятся, знают, что в конце катушки, парень получит плату за удовольствие крепким поцелуем.

Егорка выпросил салазки у Андрюшки Зырянова. Тоже молодцом катается, больше приглашает кого либо из школьных товарищей, а тут, как на грех, увидел среди густой стены народа Маничку поповскую. Хорошенькая, на год его младше, в беленькой шапочке, с белою же муфтой на руках и в синей шубке. Барышня да и только. Проезжает мимо, задержал салазки железными «бороздилками» как раз против Манички и громко приглашает:

— Эй, Маничка, садись, прокачу!

Маничка даже и не колебалась. Знает, Егорка не опрокинет, да и в школе рядом на одной парте сидят. Села, подобрала подол шубки и юбочек, чтобы ветер не приподнял и Егорка покатил, как настоящий холостяга, только шум в ушах стоит. А в конце катушки возьми да и поцелуй Маничку. Она не успела даже одуматься, ничуть не сопротивлялась, а когда он поцеловал, увидела, что прохожие улыбаются, метнула на него серыми, большими глазами, надула губки и крикнула:

— Бесстыдник какой! Вот я Ольге Афиногеновне нажалуюсь!..

Егорка растерялся, стоял на месте и не знал, идти обратно на горку или уходить домой? Да и домой идти неохота, а на катушку, там люди засмеют.

Подкатила еще пара, парень и девица. Девица спрашивает:

— Ты что? Ушиб Маничку, — она идет и плачет?

— Нисколько я ее не ушиб! — мямлит Егорка, а сам смотрит вслед за Маничкой, она пошла не на катушку, а прямо домой, а дом как раз возле церкви, на горе.

Егорка струсил: нажалуется она не только учительнице, но и самому батюшке, отцу Петру. Вот беды наделал! И потерял Егорка покой. Ждал в тот же вечер, что батюшка пришлет трапезника, Матичку Плохорукого за его отцом,, а отец уже и задаст ему баню. Вечером даже блины плохо ел, всякий шорох за дверью казался ему зловещим шорохом гонца от батюшки.

Но и неделя прошла, Прощальный День миновал. Гонца не было. В Чистый Понедельник пришел он в школу. На Маничку лишь изредка, украдкой, взглянет: дуется, в его сторону ни взгляда, ни улыбки. Хоть бы рассердилась еще раз. Не желает и замечать Егорку. Даже в общих играх, ни Маничка, ни Егорка не принимали участия. После перемены, он смотрит, она пересела от него подальше. Видел, как шепталась, значит, даже этим, школьникам все рассказала.

Достал свои книжки, раскрыл, вчитывается, а ничего не смыслит. Отупел. На веселые расспросы товарищей не может ответить, а сам подозревает, что и они уже все знают. Черной лавиной влились все в класс, затихли, шопотом предупреждают один другого:

— Ольга Афиногеновна идет. — Учительница во время перемены уходила на половину лекаря: там она курила: все дети это чуяли по аромату от ее платья, но никто не выдавал ее в селе, никто не доносил родителям, что она курит. Любили ее очень, и все до единого. Егорка слышал, что на половине лекаря раздавался громкий голос и окатистый смех отца Петра. Значит, она все знает. Вот начнет допрос и при всех Егорку опозорит. Все тихо ждут, Ольга Афиногеновна говорит также мягко и распевисто урок. Нет, не вызвала Егорку, даже ни о чем не спросила, даже не взглянула в его сторону. Значит все еще впереди. А может быть еще не нажаловалась? — сверлит в

мозгу Егорки. И тут же появляется решенье: — значит после школы подойдет и нажалуется. Но и классы прошли, Егорка трепещет.

— На молитву! — командует учительница. — Прочли молитву, учительница только и сказала: — Тише, тише!..

Разошлись, разбежались все по домам. Никто и ничего Егорке не сказал. Но грешный мозг его тревожит:

— «Значит, сам батюшка в субботу, придет на Закон Божий и с тобой расправится!» — Но неделя прошла и батюшка был в классе. Пели молитвы, учились. Ничего.

Всю неделю Егорка ждал каких нибудь последствий и вот, наконец, в следующую субботу, батюшка очень строго спрашивает урок, а он, Егорка, хороший школьник, всегда отвечавший без запинки, молчит и смотрит в парту, а не в глаза законоучителя. И слышит:

— Да ты что? Шары гонял, не выучил? Мало тебе было масленицы кататься да на собаках ездить? Останешься без обеда и будешь учить вместо одного два урока.

И остался Егорка в классе. Он любил оставаться, когда дома было все равно и голодно и тесно. Но мучается он вопросом:

— Неужели еще не нажаловалась? Так чего же она дуется и так и не посмотрит? Если бы хоть посмотрела, он улыбнулся бы, даже попросил бы прощенья.

Сидит Егорка один в классе, а батюшка не идет, не отпускает его. Уже и темнеет, а он сидит. Наконец, за дверьми слышатся тяжелые шаги, но это не батюшка, это сторож. Строго на Егорку:

— Ну, ты чего сидишь? Иди домой!

— А батюшка? — робко спрашивает Егорка.

— Ну, вот еще, будет батюшка обо всех помнить! Иди, говорю, я за все отвечу.

Виновато бредет Егорка домой. Ведь и дома поймут, что он был оставлен без обеда. Несмело просит есть, читает свои книжки, зубрит уроки и Закон, но все это читается, а плохо запоминается. Но выучил он хорошо, а ответить батюшке опять не мог. Все ждал того, страшного вопроса: «Как ты смел, а как ты смел?»

Но вопросов не было, а спать Егорка стал в полубреду, во сне видит: все в классе смотрят на него и ждут ответа, уже от него ждут: «Скажешь или нет, сам?»

Побледнел Егорка и учительнице отвечал плохо. И так все шесть недель Великого Поста. А в конце шестой недели, накануне Вербного Воскресенья, батюшка в школу не пришел. Ольга Афиногеновна внесла новый, душистый запах вместе со своим платьем и весело всем объявила:

— Занятий в школе не будет до Фоминой недели. Но... — Она подняла тоненький, нежный пальчик правой руки (левая рука ее была повреждена, прикрыта концом шали, свисавшей с ее плеч) — Но всю страстную неделю будете говеть! Значит, с завтрашнего дня будем все приходить в церковь: к утрене, обедне и вечерне. Слышите? Так наказал мне батюшка. Да, смотрите, в церкви не толкаться, не шептаться, не шалить!.. Ну, идите... Да тише. Тише!..

Но не успокоился Егорка. Домой шел нехотя, понурив голову, точно что-то потерял и не мог найти. Отец его прорывал возле избы канавки для проворных, мутных весенних ручейков. Было еще рано, солнце растопляло последние остатки снега на повети, с крыши звонким дождем сыпались капли, в соломе на повети, задумчиво и деловито рылись куры и петух. Егорка невольно слышит, как одна из них точно и по складам твердит:

— Ку-у... Ку-у-пи-ка-мне-плато-чек!..

Это немного развлекает его, он задерживается, прислушиваясь к этому куриному разговору и смотрит на петуха, который, выпятивши грудь и потряхивая красным, сбочившимся на сторону, гребнем, строжится над болтливою женой. Как и полагается экономному супругу, он строго спрашивает курицу:

— Какой тебе платочек? — Да, это он выговорил скороговоркой, потому что другая курица только что слетела с омета соломы, значит там яичко снесла.

Отец взглянул на сына с теплотой весеннего, предпраздничного умиленья и попросил:

— Слазь-ка, сынок, на поветь, поищи. не снесли ли куры к празднику какое лишнее яичко?

Егорка бросил сумку с книжками на крылечко и полез на поветь. Петух забеспокоился:

— Ты-кто-такой-сякой?

И когда Егорка разыскал в соломе целое гнездо яиц, уже не одна, а несколько куриц заорали:

— Ты-ку-да-а-тут? Ты-ку-да-а-тут?

Все это было смешно, и радостно, что нашел около дюжины яиц, но отцу не мог сказать: не хватало радости, чтобы крикнуть. Сосчитал яички, уложил их бережно в шапку, сел на солому и посмотрел вдаль, мимо соседних крыш, в сторону церкви и на батюшкин дом. Вопрос сверлил его белокурую, непокрытую голову:

— «Жаловалась она или так и не пожаловалась никому?»

И тут же внезапно осенила его голову освобождающая мысль:

— «А что если самому... батюшке сказать? Вот-же буду говеть и покаюсь!..»

Взял шапку с яйцами в зубы и стал спускаться по шаткой лесенке с повети. Взял с крыльца книжки, вошел в избу и весело поднес матери шапку с яйцами:

— Гляди-ка, мама, на повети целое гнездо нашел.

— Ну положи их на окошко, — сказала Елена, запятая шитьем. — А чего так рано из школы сегодня пришел?

— Да, видишь, не учиться, сказано, до Фоминой недели.

— То-то ты такой веселый!

— Дак нет, видишь, постовать *) мы на этой неделе будем.

— Постовать? — удивилась мать — Да какие у вас еще грехи-то? Ежели-бы такие грешили, куда бы и деваться?

Егорка не ответил. Стал разбираться с книжками и сам задумался: а ведь он по-настоящему грешен. Оттого и мучится, оттого и без обеда оставался и покоя не может найти. Да, надо покаяться! Батюшке все рассказать. — И повторял в уме: «Покаяться, непременно покаяться!»

Ходил в церковь аккуратно, молился перед иконою Спасителя с усердием, кланялся, крестился часто, становился на колени, падал, как взрослые, в земном поклоне на пол. Молитва впервые вошла в него своим глубоким, мудрым содержанием:

— «Духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!» В чистом и невинном его отроческом сердце в особенности вызывали порыв раскаяния слова, которые он шептал вслед за священником:

— «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему!» — Кланялся Егорка, глазенки с умилением и мольбой устремлены на Спасителя и он не замечает, что Ольга Афиногеновна стоит позади, делая над собою усилие,

---

*) Пôстовать — говеть.

чтобы не рассмеяться над усердием маленького исповедника. Все остальные дети даже не стоят смирно, переминаются с ноги на ногу, толкаются, даже шалят, а этот, один, ничего и никого не замечая, кланяется и... Что это? Он, кажется плачет?..

Всю неделю им говеть не понадобилось. Батюшка распорядился, что довольно и трех дней. В среду вечером на исповедь, а в Великий Четверг — причащаться.

Мать Егорки не могла не заметить в нем упорного молчания. Он все сидел над книжками, но книжек не читал. Но тут необходимо рассказать о том, что произошло с Егоркой на третьей неделе Великого Поста.

Умер Петр Иваныч Вяткин. Читать псалтырь по покойнику были приглашены двое стариков-грамотей, но могли быть и добровольцы, особенно почитавшие Петра Иваныча. Просили Елену иногда, на часок, постоять у аналоя и почитать. Тяжело ей было разбирать титлы церковно-славянской печати. Она и послала Егорку, а Егорка, угрызаемый все тем же своим грехом, стал читать часами, оставался со стариками по ночам, почти не спал, заменял уставших стариков, которые не оставляли его одного и чтение свое связали с постом и молитвою и за свои грехи. И вот там, впервые в жизни видя смерть близко, вчитываясь и пытаясь понять непонятные слова псалмов, он больше не из псалтыря, а из слов стариков, наслушался и о смерти и о покаянии, особенно о том, что сам Царь Давид, Псалмопевец, скорбел о своих грехах и каялся перед Богом... И вот то, что сам Царь Давид каялся, поразило Егорку и, видимо, сам он, Егорка, поразил стариков, потому что почти целыми ночами дежурил с ними у покойника и бесстрашно стоял у аналоя, близь покойника, даже поправлял скатывавшиеся с лица его два медных пятачка, положенные на глаза для того чтобы веки глаз не раскрывались. И после похорон, подарили Егорке маленькое Святое Евангелие, принадлежавшее покойному Петру Иванычу.

Уединенно разбираясь в своих книжках, Егорка то и дело раскрывал Евангелие и всматривался, читал и видимо не все понимал. Мать это заметила и удивилась и умилилась. И вот что она сделала для своего сына. Она опять пошла к Катерине и Катерина на этот раз не отказала, а дала Егорке на день Причастия то самое, много лет хранившееся новеньким пальтецо Коленьки Ползунова, того самого, который уж давно-давно лежит под мраморным памятником на Крещенской Горке. Когда Егорка,

меряя пальтецо, надел его, Елена ахнула: пальтецо теперь было как раз по росту и в плечах и в рукавах, как сшитое по мерке. Не узнал Егорка — так он в том пальтеце переменился. И сам Егорка щупал светло-серое сукно, гладил мягкую, скользящую по рукам шелковую подкладку, совал руки в карманы — все так было удивительно и даже самый запах от пальто был ароматный, как сама пасхальная весна. Но мать сказала:

— Ты в нем пойдешь только к Причастию, на исповедь в таком нельзя.

Да он и сам на исповедь в таком не пошел бы. Мать еще и не знает, как он грешен и как он рвется поскорей освободиться от греха самым сердечным покаянием.

Шли первые дни апреля, но по утрам подмораживало. В копытных ямочках белели льдинки. А после обеда все опять плыло и шумело ручьями, а к потемкам опять подмерзало. Егорка пришел в церковь, когда там никого, кроме нескольких старушек, не было. Было полутемно, лишь кое-где мерцали тоненькие свечки перед иконами. Время до вечерни длилось, как показалось Егорке, бесконечно. Уже и народ собрался, все школьники с шумом вошли под водительством Ольги Афиногеновны. Вот и батюшка пришел. Тихо, беззвучно шагнул на амвон, поцеловал иконки по обе стороны Царских Врат, прошел в алтарь и тотчас же вышел оттуда в одной черной эпитрахили поверх рясы. Значит уже исповедь? Да, он сел на левом клиросе возле столика с крестом и Евангелием и начал исповедь: страшно стало Егорке, но все равно. Он решил и он готов на все...

Сначала подходили к батюшке старики, старухи, молодые бабы, мужики. Потом батюшка помаячил Ольге Афиногеновне. Она смутилась, вспыхнула и прошла на клирос, но была там совсем недолго, а когда вернулась, то, смущенно улыбаясь, шепнула всей гурьбе школьников:

— Ну, идите! Да не по одному, а все. Все идите, — повторила она. — Сразу все!

Все толпой, и мальчики и девочки, ринулись на клирос. Даже все не вошли. Многие стояли позади первых. Все положили на аналой по свечке, заранее купленной, затихли и уставились глазенками на батюшку. Он встал на ноги. И Маничка «поповская» тут же, розовая, на щечках ямочки. Не хотел Егорка на нее глядеть, но не удержался, видит: уткнула носик в фартучек, смеется, как дурочка.

— Не ленились-ли Богу молиться?

— Грешны, батюшка! — отвечают все нестройным хором.

— Отца-мать не гневали-ли? Не ругались-ли между собою? Скоромного в пост не ели-ли?

— Грешны, батюшка, грешны! — Даже не успевают отвечать, так скоро спрашивает батюшка.

Еще что-то спросил, не разобрали. Потом велел наклонить головы под эпитрахиль. Егорка стоял позади, до него эпитрахиль далеко не докоснулась даже краешком: Всех оптом перекрестил и отпустил с миром. Дети сразу же вышли из церкви и разбежались по домам, а Егорка остался и спрятался среди стариков и старух.

— «Какая-же это исповедь?» — думает он. И взял его страх: не пойти-ли одному, как это делают взрослые?

Подвигался за другими опять к клиросу и, улучив минутку, пока одна старушка долго клала земные поклоны перед тем, как войти на клирос, он проскользнул и, не смотря на батюшку, стоял, понурив голову.

— Ты что? Разве не успел со всеми?

— Нет... Я... Я был.

— Ну так что? А?

— Я, батюшка... Это, как его...

— Ну, еще в чем грешен? Ну, кайся, милый сын, — умилился отец Петр. — Кайся, говори, в чем еще грешен?

— Да я, батюшка... С Маничкой... Это...

— Что с Маничкой? С какой Маничкой?

— Да с вашей... С поповской Маничкой... Согрешил я...

— Что такое? — передернуло отца Петра, он даже отодвинулся от Егорки вместе с табуреткой. — Ты, парень, врешь чего-то?

— Нет, батюшка, ей Богу не вру!.. — Губенки его задрожали, он еле договорил: — На масленице, на катушке... Я скатил ее на саночках да и... — Он даже не посмел произнести слова о поцелуе, но батюшка пришел в ужас и простонал:

— О, Господи, прости-помилуй!.. — И грозно посмотрел на грешника: — Иди отсюда с глаз моих, дрянной мальчишка!..

Егорка хотел еще что-то сказать, да уже не мог. Не слезы только, но какой-то вой вырвался из его горла, и он, пошатываясь, как нераскаянный мытарь, вышел из церкви под темное, хоть и звездное, небо.

Егорка был уверен, что батюшка не даст ему Причастия. Если батюшка не простил, то и Бог не простит. Значит и ученье его пойдет опять плохо, и дома и на пашне, везде будет ему неудача. Ну, уж как будет, пусть так и будет! Он будет терпеть, заслужил...

К Причастию ему мать как раз новую рубашку сшила, а брат дал свои, хоть и старые, но без дырок, сапоги, потому что и Микола не мог позволить ему идти в церковь в таком распрекрасном пальтеце и в рваных сапогах, с его же, Миколкиной ноги. В новеньком, красивом пальто, Егорка, правда, казался очень нарядным, и даже еще по дороге в церковь люди его не узнавали, некоторые оглядывались. В церкви мальчики смотрели с завистью. Егорка же трепетал: даст батюшка Причастие или оставит его непрощенным?

Вот, в ряду других школьников, может быть пятнадцатым, скрестивши на груди руки, Егор со страхом и трепетом приступает. Батюшка даже задержался, не узнал, а потом широко улыбнулся и вспомнил имя:

— Приобщается раб Божий, отрок — и выговорил очень внятно и твердо: — Георгий, святых Таинств Христовых, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Если кто либо во всей церкви был еще счастливее его, так это, вероятно, только сам батюшка. Ясно, что сама Маничка ему всю правду рассказала, и то лишь после того, как он сам ее стал допрашивать. Значит и Маничка простила.

И вот идет Христова Заутреня. Еще с вечера забрался Егорка в церковь. Егор Митрич с клироса увидел его в толпе, поманил пальцем: значит даже и почет, опять петь в хоре, хотя на спевку он не приходил, все из-за Манички. Боялся, что и там на него уставят глаза все певчие. На нем было то же пальтецо, хотя в церкви было уже жарко. Стоял на клиросе, чуял на себе легкость и мягкую приятность дорогого барского пальтеца, при каждом движении руки или ноги чуял на себе особенность наряда и взгляды людей и видел с клироса, в толпе девочек и женщин, Маничку. Она стоит с матушкой и сестрами как раз там, у левого клироса. Взглянет или нет? Нет, ни разу не взглянула. А свечка перед ее румяным личиком горит ярко, и личико ее кажется еще румянее. Нет, ни разу не взглянула в сторону хора. А ведь хор же главный, хор поет и «Светися-светися», и «Приидите пиво пием», и «друг друга обымем». И

так ему хорошо, он чует себя уже ни в чем перед Маничкой не виноватым, и решает, после Заутрени, прямо и смело подойти и... похристосоваться. Ведь это значит: поцеловать ее? — испуганно спрашивает он себя, и вместо него кто-то внутри его отвечает: «Ну а как же, она не может отказаться. Ведь и тогда на маслянице, подходил Прощеный День. И тогда все могли кого угодно целовать!»

Егорке стало жарко. Он снял пальто, держал его на руке, пел с усердием, следил за каждым движением рук и лица регента, но изредка, нет-нет и посмотрит в сторону Манички. Она вся светленькая, в белом платьице. Розовая, широкая лента опоясывает ее и заканчивается пышным бантом позади. На белокурых волосах, на самой маковке, поперек темени, поблескивает гребенка, но волосы распущены по плечам и на щеках ямочки. Значит, даже улыбается. Значит, можно с ней христосоваться.

Но вот и Заутреня окончилась, Егорке нельзя сойти с клироса, а Маничка после подхода ко кресту, при целовании которого отец Петр со всеми сам христосовался, ушла из церкви вместе с матушкой и сестрами.

Ушла Маничка, не удалось с ней похристосоваться. Ну, ничего, на полянку соберутся все школьники, и Маничка там будет. Так Егор и сделал.

После общего семейного розговенья сырной пасхой и куличем и яичками, в новой синей рубашке, сперва пошел отнести тетке Катерине пальтецо, поблагодарить и кстати похристосоваться, поздравить с праздником. К крестному отцу к Василию Лукичу, тоже давно не ходил. Опять он укочевал в город и Игренюху свою, уже старую, с собой увел. От тетки Катерины, надо было к Егору Митричу: после обеда хор пойдет с поздравлениями к кое-кому из богатеньких, но перед тем Егорка, запыхавшись, прибежал на полянку перед церковью. Там устроена качель, и ребятишек много, и там же Маничка: как раз качается, стоит на одном конце доски, а на другом другая девочка, а посредине ряд мальчиков. Зыбают, у-ух вправо, у-ух влево! Увидела Егорку, личико нахмурилось, остановила качель. А Егорка, ничего не подозревая, улыбается во все свое курносое лицо и идет к ней, снял уже картуз, готовый похристосоваться, а Маничка бросается к нему:

— Ишь ты, смешно! Вруша этакий! Зачем ты папе наболтал на меня? Подумаешь, к батюшке с грехами явился, «С Ма-

ничкой поповской согрешил!» Дурак! Бесстыдник! Сам же на масленице полез со мною целоваться... Кто тебя просил? А-а стыдно, то-то вот!.. Покраснел!.. Девочки, смотрите на него, грешник новый проявился...

Если бы могла земля под ногами Егорки провалиться, легче бы ему было. Но земля не провалилась, и ноги его не слушались, только в глазах все зарябило, вся полянка и качель покрылись туманной пеленой. И не пошел, а побежал Егорка под гору от зеленой полянки с качелями. Яичко, приготовленное для Манички, выпало из рук, разбилось, он и подбирать его не стал. Пусть хоть птички едят, ему ничего больше на свете не надо... И не пойдет он с хором петь. Людей смешить!..

XIV

В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ

Егорке, что называется — «везет». Первые два года его ученья в школе, оборвыш этот то и дело вытягивал грязную ручонку вверх: что ни спросит учительница, он первый готов с ответом.

Андрюшка Зырянов — один сынок у родителей, баловень, — завел лихих собак и для них заказал шорнику сбрую с набором, салазки на стальных резах — гонять все послешкольное время, некогда ему задачи решать. Не то, что он ленив или не способен, но он на ученье смотрит, как на ненужную отцовскую затею. Пишет хорошо, Закон Божий отвечает кое как; знает, что батюшка не будет строго с него взыскивать: отец его примерный прихожанин, щедро жертвует на церковь, дает и нищим возле церкви. И сын у него один, любимец. Да и по всему видно, парень бойкий, веселый, все его любят. Но задачи для Андрюши решает Егорка и дорого не берет. Кусок сладкого пирога, а конфетку с красивой картиночкой и того лучше, а еще лучше: — Андрей берет с собой Егорку на собаках ездить. Завидует Егорке вся сельская детвора. Везет ему.

Когда ему исполнилось восемь лет, весной, после отпашки, отец «пошел» в лес, приплавил лесу на амбар. Трудно было в один год срубить сруб и накрыть крышей. А все-таки изловчились: амбар поставили той же осенью, к молотьбе. Вся семья вздохнула легче, но и нужды прибавилось: шутка ли, покрыть амбар тесом, надо было нанимать и плотников, и пильщиков, и кровельщиков. Закрома в амбаре сделали с двух сторон, как у богатых. Пустовали закрома первый год, из-за похода в лес, не посеял Митрий лишнего, пару лошадей берег для трудного похода в горы, да и от других мужиков отстать было нельзя. С приалтайских долин в лес «ходят» большой артелью, пока весенняя вода в реках еще не убыла. Но амбар все же

построили, и к следующей весне у Егорки под амбаром был уже свой банк. Как раз посередине под полом была выложена тумба из камней, подпорка под балки и между камней остались пустоты-щели, только руку просунуть. Туда он и положил свои первые монетки: пятак, одну в три копейки и еще две монетки по копейке. Это ему Андрюша Зырянов в разное время надавал, так, по дружбе. За решенье задач деньгами он не давал. Но вот какое вышло дело: полез Егорка, однажды, достать две копейки, бабок решил купить к Пасхе. Это уже когда ему было десять лет. Сунул руку по ошибке в другую щель, а там куча пятаков. Он испугался. Что такое? Едва сообразил: это, значит, и Микола тут свой банк держит. Пришлось, не подавая виду, убрать свои деньги и прятать под углом избы. Но там проливал дождь и пятаки и копейки позеленели. Пришлось песком чистить. По правде говоря, должно было быть у Егорки гораздо больше денег. Во-первых, в прошлое Рождество церковный хор выславил довольно много, но мальчикам Егор Митрич не сказал, сколько, поделил между взрослыми, а все-таки Егорке дал двадцать пять копеек: гривенник и пятнадцать копеек серебром, да на Пасху ходили кое к кому из богатеньких и пели хорошо, «партесное», только денег не получили, а кормили всех до-сыта. И все-таки Егор Митрич опять дал пятнадцать копеек серебром. Значит скопились серебром сорок копеек. Эти деньги Егорка отдал матери, чтобы купила ему на рубашку. Она и купила, но сшить в течении всего лета так и не собралась, только к Покрову надел он новую рубашку, красную, с черными ягодками. Но когда мать два или три раза рубашку хорошо выстирала, — напрасно парила в корчаге в печке — все ягодки из красного ситца вывалились. Ну, у Зырянова хорошего товара не бывает. Так и доносил на пашне с дырками. Вялков шутил: «Егор у нас хитрый: знает, как тело прохладить.»

Но вот по настоящему Егорке повезло весною на двенадцатом году. Как раз после Егорьева Дня, когда Егорка справлял в церкви свои именины вместе с царицей Александрой Федоровной, отец после обедни объявил, что идет в лес вместе с Алехой Кучерявым, значит на один плот вдвоем. Одному никак нельзя по реке сплавлять лес, должно быть два весла, значит и два гребца. Хоть плачь, а товарища должен найти. Алеха вошел в артель. Тут Митрий посмотрел на Егорку особым взглядом, не то усмешки, не то гордости и объявил:

— А коногоном мы возьмем Егора. В школу, сынок уж ты не пойдешь.

Это было очень трудно пережить: ведь, это значит, переходного экзамена Егорке держать не придется, а он идет на пятерках, кроме чистописания. Тут у него три. Не может он угнаться за учительницей: она пишет, как святая. Только один во всем классе, Ваничка Вершинин, получает четверку, а у многих даже два и единица. Ну, что ж, побоку экзамены, зато же: в лес идти, с отцом, в артели, в верховья реки Убы, это значит в самые дремучие леса, в которых «разбойники» живут и о которых песни поются. И еще вдобавок с Алехой Кучерявым. С этим не пропадешь. Тут уж взаправду повезло Егорке. И это, кроме всего, значило, пойдут они за лесом для новой избы, отец проговорился — для пятистенной: значит будут строить дом.

Сборы длились долго. Еще на пашне обсуждались разные подробности, что брать, как снарядить артель. Перво на-перво — кузнецу на целую неделю работы: все лошади для похода в горы должны быть подкованы. Если кое-чего нет у одного, чтобы было у другого. Артель так артель, вроде одной семьи, все за одного, один за всех. Не допахал, не досеял Митрий и на эту весну, но оставил Миколу пахать «пары», на пятерке лошадей, не плугом, а сохой: «пары» ведь пашут на мягкой земле, значит осенью «озимой» ржи посеют.

Вяленым мясом Митрий запасся еще в Великий Пост. Просоленное, изрубленное так, чтобы можно было повесить на длинный шест, шест с мясом укрепить горизонтально под карниз избы, но так, чтобы и солнце пропекало и жирок бы весь не вытопился, а от ворон и сорок, шест прикрыли старым неводом. Приятно было видеть вяленое мясо в амбаре. Как бы невзначай, войдешь, оторвешь кусочек — очень вкусно. А потом и сухарей надо было насушить для трех человек, не меньше пяти, шести мешков. Все это надо укрыть на двухколесной таратайке так, чтобы и дождь не промочил. Отсыреют, зацветут, голодным насидишься; в лесах, в горах, попросить не у кого, а если и есть там в скитах староверы, продавать не будут, а так просить ни у кого смелости не хватит.

Топоры и пилы должны быть острые. Достали крепкие канаты привязывать у берегов плоты, — для лошадей сплели-свили арканы из конского волоса, иначе, в воде замокнут, не развяжешь. У Алехи, понятное дело, свое ружье. Уж он какую

не-то дичину высмотрит. Удочки воткнули в картузы, лески в шапки спрятали. Удилища в лесу вырубить всегда можно. Собак решили не брать. Выехали и растянулись по улице. Двадцать двухколесных таратаек, каждая запряжена одной оседланной лошадью, а в седле мужик, да кроме того отдельно четыре мужика в седлах и восемь запасных лошадей, на поводах. Когда провожали за околицу, собак пришлось держать за шиворот. Обидно им было отправлять хозяев и любимых лошадей в леса без своей охраны, но так было решено: собаки и нужны в лесу и несподручны: их надо кормить, а где набраться мяса, хлебом их не накормишь, а мяса самим в обрез. А главное — сверху по реке надо плыть на плотах, а все лошади пойдут с подростками «гоном», опять таки собакам не угнаться. Лошади домой, по горным тропам пойдут шибко, дай Бог чтобы ребятишки не растеряли их и сами бы не заблудились. Но взяли главным коноводом и руководителем подростков киргиза Тютюбая, малого ростом, но опытного пастуха.

Улица запрудилась народом. Провожали до Крещенской Горки, бабы обняли мужей, благословляли ребяток, а ребяток набралось шестеро. Весело загудел звон от колокольцов и шеркунцов и ботал — в лесу каждая лошадь должна чем-либо звенеть, чтобы ее легче было найти, да и зверь от звона сторожится. Вот так отправились в леса двадцать таратаек, при тридцати двух лошадях. Рысью или галопом — ни Боже мой, нельзя. Все шагом, дорога дальняя, до верховьев Убы будет верст около двухсот, и чем дальше в горы, тем уже тропки, а потом и вовсе опасные обрывы. Тут без артели пропадешь, и силы лошадей и людей надо беречь. Поход медленный, упорный, полон заботы и опасностей.

После переправы паромом через реку Убу в Шемонаихе прошли до деревни Кабанихи легко: дорога ровная, широкая, кругом зелено, вольно, всходы недавно полил дождичек. Но уже за Кабанихой, надо делать привал и подумать, стоит ли под вечер входить в горы. Не лучше ли дать лошадям вольно попастись в лугах, самим отдохнуть: в седлах тридцать врест прошли, с непривычки тяжеловато. Хорошо размяться, помыться у ручья, сварить чайку, попить его со свежими еще ватрушками. На первые два дня взяли и мягкого хлеба. Дальше все равно придется переходить на сухари. Распряглись, расположились на ночлег, развели костер, а у костра получше все перезнакоми-

лись. Хотя и все одной деревни, а все как будто чужаки. А огонек и общий чай, раздел какого-либо пирога, сближают, согревают. Тютюбай пастух надежный, на него можно положиться. Спать не будет, лошадей другому не позволит ни путать, ни ловить. И мальчуганы с ним, как цыплята около наседки. Хороший оказался, разговорчивый, со всеми ласковый коротыш Тютюбаюшка. Над ним смеются, шутят; он не обижается, сам шутит, и ломанный его русский язык смешит больше, нежели самые шутки. Около Тютюбая и остальные мужики повеселели, а в работе на первых переправах через бурные речки, на узких и крутых подъемах, помогая друг другу, еще больше сдружились. Вечерами у костров делились тем, чего у других нет, балагурили, пели заунывные и веселые песни. Одним словом: не жизнь, а раздолье.

Начались лазурные, душистые, невиданные в долинах, дни. Лес густел и темнел, горы раскрывали все новые узоры, крутые ущелья, вдоль которых неслись и шумели светлые речки. Все дышало смолами, чистым ветерком; небо где-то высоко узкой просинью опирается на лохматые, высокие сосны и ели, то вдруг откроется внизу синяя извилистая река — все та же река Уба, и тропа висит над нею извилистым шнурочком, вот-вот сорвется или исчезнет. Двухколесый обоз таратаек кое как проходит, а местами приходится срубить дерево, убрать свалившиеся с гор камни. Долго тянутся одна за другою таратайки; лошади упираются коваными копытами в скользкие косогоры при подъемах, а при спусках, должны всей тяжестью своего крупа держать на хвостах толкающие их двуколки. Другой день с утра до вечера едва одолеют десять, двенадцать верст. Да и верст тут никто не мерял, потому одна верста длиннее, чем десять верст по равнине. А бывает, день нахмурится, нависает туча, туман закутает ущелье, польет дождь, и какой-либо один крутой подъем по липкой жидкой грязи обоз одолевает целый день. Слабые лошади не могут вытащить воза на взлобок, скользят копыта, срываются. Два-три мужика слезают с седел, подпирают плечами, помогают. То у кого-то сломалась оглобля, таратайка заехала одним колесом, зацепилась за дерево. Весь обоз на косогоре стал, таратайки тянут лошадей назад, раздается крик, крепкое слово, тревога за неопытных подростков. Егорка ловок на коне, другие мальчики еще ловчее, но соскочить с лошади, бросить, — нельзя да и некуда податься. Сбоку, сзади подпирают другие. Надо самому

ловчиться, отцы в натуге, им некогда даже оглянуться. Еще беда, у кого-то гуж порвался, дуга повисла на шее лошади, хомут ее душит. Лошадь хрипит. Тут надо и малышам найтись, спасать животное. Не хватает у Егорки сил в руках, чтобы развязать супонь (тонкий ремень, затягивающий хомут), Егорка вцепляется в конец ремня зубами. Развязал, хомут ослабел, лошадь тяжело переводит дух.

— Молодец, Егорша! — Это Алеха крикнул, пробегая к другой лошади, которая вот-вот перевернет свою двуколку в обрыв.

— Держи-и! Сюда! О, мать честная...

А дождь льет и льет, холодный, мелкий, медленный из низко нависших обложных туч. И уже темнеет. Так, на косогоре, боясь двигаться дальше, упирая таратайки в придорожные деревья и о камни, распрягают, все на ногах, все в работе до полуночи, пока кое-как, на ощупь, достали сухарей, всухомятку поели, нашли местечко пустить на траву лошадей. Тютюбай следит за каждой, не путает; не одной, которой не хватает травы, руками рвет, подбрасывает; ребятишки дружны, товарищи между собой навек, и горды, что от Тютюбая ни на шаг. Лишь под утро улеглись, все мокрые, на один разостланный войлок, укрылись кое-как и, греясь друг возле дружки, крепко засыпают под непрерывный шопот мелкого дождя. А утром, солнце не дает им открыть глаз, слепит.

Слышится крик Алехи Кучерявого:

— Эй, засони, лошади то у вас все убежали!

Ребятишки вскакивают, от них идет пар. Продирая глаза, бросаются, кто куда, в поисках потерянных лошадей. Но кто-то от поднявшегося над костром дыма кричит им:

— Куда вы, как хранцюзы из Москвы?

Ребятишки озираются. Никого нигде нет, а главное нет Тютюбая и таратаек, ни лошадей на том месте, где все было вчера в беспорядке. Оказалось, что все уже в порядке, кони запряжены, таратайки на горе, на ровном месте. Костер догорает, только в котелке на деревянном треножнике над костром пузырьками подпрыгивает каша. Все взрослые и Тютюбай наелись, напились чаю, заканчивают на горе расчистку занесенной потоками ночного дождя дороги. Тютюбай не позволил будить ребят, которые не спали почти до утра, были на своих постах. Он ими не нахвалится, отцы послушались и расхваливают Тютюбая. Оставили ребят на попеченье кашевара.

Ребята, их шестеро, не все еще проснулись, щурясь от яркого восхода солнца, которое как раз ударило лучами из горной расщелины с востока и блестит внизу на синей-синей воде реки. Оттуда, снизу слышатся курлыканья, как крики журавлей. Кашевар, снимая котелок с костра, смотрит вниз и сообщает ребятишкам:

— Это, видать, Шемонаевские мужики плывут. Вишь, плотов то сколько... По шапкам вижу: Шемонаевские, шапки у них войлочные, пирогами.

Ребята бросились к обрыву. Внизу, один за другим, по всей длине видимого изгиба реки плывут желтые, восковые, длинные плоты и на конце каждого из них стоит мужик у длинного весла. Здесь на повороте все гребут и весла их скрипят, как журавлиные крики. Едва доносятся голоса гребцов и нельзя оторвать глаз от плотов; один пронесется, за ним выносится другой и курлыкают, курлыкают, — заслушаешься.

— Ну, ребята, ешь-поедай, отцы скоро кончат там дорогу, надо двигаться, — командует Алеха. — Бог посылает добрый день... — И тут же он, опытный и бывалый в этих местах, добавляет уже только для себя: — Это что? Это тут только цветочки, ягодки нам будут впереди.

Обжигаясь горячей кашей, мальчишки поспешно едят и отказываются от чая. Одежда на них все еще влажная. Они собирают свою постель, гурьбой спешат наверх, откуда вид на горы и реку еще шире и краше. Но откуда-то из ущелий выползают белые туманы, плывут над самой рекой, перекидываются мостом через нее и скрывают удаляющиеся вниз по реке последние плоты. Вот туманы всползли на другой гористый берег реки, разорвались, открыли опять расщелину между гор на востоке и солнце вновь слепит глаза. Радостно на душе без видимой причины, хотя все знают, что впереди новые труды, опасности, но преодоление высот для всех становится уже опасной, но заманчивой игрой, соревнованием в выносливости, в ловкости в поспешности первым подбежать на помощь. Как непрерывная ободряющая песня звенят колокольцы, ботала, шеркунцы на шеях лошадей, и это всех роднит, бодрит, сливает в дружную и сильную семью.

Вереница обоза медленно сползает на дно нового ущелья, а тут бурная речка перегораживает путь. Алеха едет впереди. Остановил обоз, почесал затылок, сдвинул набекрень шапку и

махнул рукой назад, значит, можно рисковать. Вода в горных потоках, даже после ливней, никогда не бывает грязной. Тысячи лет промывались, все гальки хоть сосчитай — но прозрачность дна обманчива: глубина и сила потока угрожает опрокинуть таратайки, лишь бы сухари не подмочила. Все равно, ждать некогда, скорее на берег, не успеет все залить. В крайнем случае можно просушить, а медлить, не дело. Одна за другой, таратайки выползают на крутой берег, и весь обоз длинным, узловатым и горбатым червяком-гусеницей растягивается по густому, темному лесу и вскоре вновь выходит на отвесный обрыв над рекою, где каждое неловкое движенье лошади сопряжено с опасностью. Вот колесо одной из таратаек приподнимается, таратайка того-гляди опрокинется и увлечет с собой и седока и лошадь в пропасть. У-у-ф-ф! Но, слава Богу, — выровнялась!.. А вот и зимовье охотников, знакомое бывалым лесорубам. Зеленый луг среди черных стен ельника; полянка небольшая, но удобная для привала. Крытая берестой избушка с двумя неодинаковой величины окошками. Как косоглазая лесная колдунья, она хитро и подозрительно смотрит на нежданный набег крикливых ребят и говорливых мужиков. Тут можно посушиться, починить сбрую и колеса, смазать дегтем оси, хорошо выкормить лошадей и самим спокойно выспаться под крышей. Тесновато будет всем, но за то тепло и сухо, а от комаров есть едкий дым от костерка. И вяленого мяса можно наварить, с жирком, для всех. Сухарей и вяленого мяса хватит на весь срок стоянки на порубах. Впереди Петровский Пост, но Бог простит — в пути-дороге можно и мясом согрешить.

А путь впереди еще не кончен. Впереди еще не мало самых крутых и опасных перевалов. На последнем из них пришлось всех лошадей распрягать и таратайки вытаскивать на веревках всей артелью.

Только на девятые сутки, наконец, спустились к самой реке и целый день переправлялись на другой, отлогий берег, под горой Порожной. Переправа была не легка потому, что надо было строить небольшой плот, из бревен, называемый «салок». Ставили на нем не больше двух таратаек и заводили «салок» на веревке выше, против течения реки и оттуда гребли на другой берег. И хотя река тут была тихая, плёсо, а все-таки сносило салок опять против обоза. Опять заводили салок и опять гребли на другой берег и плотик подплывал к месту обоза. Лошадей

переправить было легче. Нужно было только на одной, передней лошади, держась за гриву, поплыть, остальных загоняли в воду и они переплывали гурьбой. На другом берегу их ловили, путали и пускали на траву, на отдых. Теперь лошади будут отдыхать с неделю, пока заготовка леса и спуск его, скользкими бревнами, со снятою корой, накопится в отдельных местах вдоль широкого, плоского берега реки. Немногие бревна и в немногих пунктах добегали до самой реки. Но на этот случай несколько мужиков стояли в воде, ловили их, подгоняли к берегу и закрепляли в плоты.

А как скрепляются плоты? Это тоже древний, тысячелетний опыт, дошедший от первых новгородских славян, которые были первыми мастерами по срубам.

Делается это так: на костре подогреваются и размягчаются длинные прутья из акации. Таловые и черемуховые не так крепки для скрепы плотов, но акация, когда она еще в цвету, облегает бревно лучше всякого каната и ни камень дна, ни острая скала у берега реки, не порвут этих жгутов. Жгут этот свертывается калачиком, но довольно объемистым, чтобы сразу захватить два бревна и чтобы еще осталось довольно пространства в кругу жгута перегнуть его через продольную жердь, положенную поперек бревен плота, затем особым осиновым клином забить через жердь и между бревен. Так, с двух концов плота, бревна скованы между собою, и жердь их держит парами одна с другой. Так растет и крепнет плот.

Но для подвозки бревен для плоченья нужны «волоки», тот самый способ передвиженья, когда еще не были китайцами изобретены колеса. Говорят колесо изобрел какой то царь египетский. А может быть простой дикарь. Но «волоки» древнее. Две оглобли, на которых поперек приделан обрубок бревна, а на него кладут уже то самое бревно, которое пойдет в плот, а потом в сруб и будет домом. Концы оглобель служат как полозья.

От смолистых пихт у всех мужиков руки стали черными, никаким мылом не отмоешь. Руки, щеки и волосы мальчуганов тоже были в пихтовой смоле, так что не каждый комар осмелится сесть и пить их кровь, а дымом все пропахли так, что и в балаганы, наскоро сооруженные из веток и покрытые пихтовою корой, комары редко залетали.

Погода удалась хорошая. Река Уба непрерывно шумела и воды ее то прибывали, то убывали, но всегда светлые, прозрач-

ные, дно устлано разноцветными малыми и большими гальками. Некоторые мужики, пользуясь всякой передышкой, ловили удочками рыбу.

Алеха Кучерявый всегда первым перехитрит и быстрого хайруза (форель) и краснoперого, упористого окуня и даже, где-то из-под крупных булыжин, со дна реки, выманит скользкого змеевидного налима. Но он напрасно таскал с собой ружье, когда ходил в глушь Косогоров на порубку леса; пернатой дичи здесь не было, да и утка или гусь были либо на гнездах, либо еще не оперенными птенцами. Но изредка он натыкался на свежий след медведя и жалел, что нет собаки. Без собаки зверя не выследишь, а в одиночку, в случае схватки, не обманешь. Другое дело, когда собака схватит его за штаны, а в руках, вместо ружья с зарядом дробью, хорошая рогатина. И только раз он выследил большого круторогого архара (род горного дикого барана), но тот показался ему, покрасовался на верху отвесного утеса и, как виденье, исчез из глаз. А такого можно застрелить только пулей, а не дробью. Почесал затылок, повздыхал, но даже на стану мужикам не рассказал. Все равно не поверят. Рассказал лишь одному Егорке. Этот верил и втайне радовался, что архар ушел.

Медленно тянулось время; сухари у многих зацвели. По воскресеньям мужики мылись и стирались прямо на берегу, на гальках. Расстилали и развешивали на прибрежные кусты свои рубахи и штаны и онучи. Вот тут узнал Егорка о судьбе своего сюртучка, сшитого матерью из дедушкиного, когда-то парадного, наряда. Он давно из него вырос, а в прошлый Филиппов Пост, учительница выписала из Барнаула кучи старых суконных курток и штанов, недоношенных учениками горного училища и раздала всей бедноте по паре, а кому и по две пары. Егорка теперь в одной из этих «казенных форм» ходит в школу и в церковь. Курточка и теперь с ним, в запасе. А сюртучек его висит на краю свежего бревна, разорванный на две равные половины. Значит мать отдала его отцу на онучи. Ничего не сказал, только запомнил и нечто похожее на грусть и смутное сожаленье искривило его залипшие еловою смолою бровки.

Егорка уже знал, как искать в лесу ускользнувшие с горы всторону бревна. На каждом бревне пометка топором каждого лесоруба. Митрий просто вырубил сбоку букву «М». Надо подъехать с волоками, но так, чтобы, приподнявши комель бревна,

не дать ему скользнуть по мокрой траве вниз. А приподнять его можно только при помощи тоже скользкого обрубка жерди, (стяжек) но так, чтобы на перекладине волоков, бревно удержалось в заранее приготовленной петле из веревки. Но нельзя везти бревно вниз, оно скользнет, подобьет лошадь или опрокинется. Вот это и случилось с Егоркой. Случилось то, что никогда не забудется, а если вспомнится, то по коже пройдет озноб и волосы поднимутся на голове.

Был по тропинке вдоль обрыва над рекою пенек, хороший, крепкий, любое бревно удержит и не даст скользнуть с тропинки. А внизу, не то когда-то была выкопана землянка, не то глубокая промоина, не видно, потому что все заросло густым кустарником. Но на краю промоины опять же растет дерево, коряжистая, низкорослая ель, сквозь ветки которой просвечивает пропасть в реку. Не раз возил тут бревна Егорка, и его оседланный Игрений знал, как надо вытянуть бревно чуть-чуть на горку, потом немножко в сторону, вниз, а Егорке только оглянуться и не дать Игренему недотянуть или перетянуть бревно вокруг этого пня. На этот же раз, Егорка увидел, что подседельник под его седлом скатился на спине коня назад, а у коня больная спина, на потнике всегда показывается сукровица. В этом самом месте Игрений не стерпел боли под нажимом обнаженного седла и стал лягаться. Одна, задняя нога его выскользнула из оглобли волоков и бревно пошло мимо пенька, как раз по ту, опасную сторону над обрывом. И потянуло волоки и самую лошадь вниз, в пропасть. Самое страшное, что никого вокруг не было, и только на необычный, крик — ржанья лошади, которая давилась хомутом, прибежал, случайно тут же неподалеку находившийся, Алеха Кучерявый. На нем, через плечо и грудь всегда была веревка. Как на лыжах, он скользнул в заросшую кустарниками промоину и видит: Егорка сидит, невредимый в седле, но седло свернулось со спины на бок лошади, а лошадь давится в хомуте. Бревно же, столкнувшись с коряжистою елью на самом краю пропасти, удерживает и коня и волоки и самого Егорку. Егорка, бледный и бессловесный, даже не плачет, по щекам его от царапины течет струйка крови, а конь почти висит на пружинящих, густых кустарниках и тоже невредим, только душится и хрипит в хомуте. Ловко и быстро спас Алеха Егорку и коня и был героем на весь стан. А Егорка даже рассказывать обо всем этом случае боялся. Так было страшно это вспоминать.

Уже три недели миновало. Весь берег желтел от наваленных свежих бревен. С утра в воскресенье, Алеха взял ружье и ушел в горы. Не появлялся до заката солнца, а на закате спустился далеко вниз реки по какой то медвежьей тропке и принес свежих пшеничных калачей и берестяный туяс с простоквашей. Туяс был наполовину пуст, и Алеха ругался, что, поскользнувшись в косогоре, уронил его, крышка выпала и он с трудом поймал покатившийся перед ним туяс и кое-как сохранил даже меньше половины. И не потому ругался, что пролил простоквашу, а потому, что обещал добрым хозяевам небольшой заимочки принести обратно туяс, а это надо карабкаться по горам за перевал, верст семь киселя хлебать. Калачей ему дали не так много, на всех мужиков не хватило, но по кусочку каждому дал попробовать: понюхать, как дома бабой пахнет. Добрые заимочники отдали ему все калачи, какие испекли в это утро, такие хорошие старик со старухой, одни живут со скотиною в горах, а дом их далеко, где-то на одной из Громотух. Алеха нес калачи, завернувши их в свою рубашку, связавши рукава узлом, чтобы не растерять. Донес, всех товарищей угостил. Ну и вкусные же калачи пекут староверы в горах!

На утро, в понедельник, мужики начали плотить плоты. Когда застучали топоры по клиньям и бревнам, эхо на той стороне Убы двоилось и троилось и прилетало назад и еще где-то тут, по близости, множилось и повторялось. Работа закипела, весь берег был как в золото окован, далеко протянулась линия плотов. И вот еще событие:

Снизу, в безлюдии и в вечном шуме быстрой реки, показалась лодка. А в лодке, стоя на ногах и упираясь о дно длинным шестом, шел вверх по теченью, высокий, бородатый мужик. Одет он был в длинный, легкий холщевый кафтан, отороченный по подолу и по воротнику и по запястьям рукавов красной вышивкой. На нем была войлочная шляпа, а на ногах сапоги бутылками, подвязанные ниже колен ремнями. Все мужики перестали стучать топорами, остановились и дивились. как он ловко и быстро продвигает лодку вверх против теченья сильных волн.

— Здорово, мужики —крикнул он гулким, утроенным в горном эхо, голосом.

Алеха первый догадался и вспомнил имя, ответил также зычно и приветливо:

— Здорово, Викул Спиридоныч!

Это и был один из сыновей тех стариков, которые дали Алехе калачи и простоквашу. Он запомнил имя и обрадовался гостю. Викул причалил лодку и стал выгружать дары, которые он привез с заимки до реки верхом на коне, позади седла в особых кожаных сумах, а лодку одолжил у пасечника, жившего в одном из ущелий, около версты от стана лесорубов. Выгрузил печеный хлеб, ведро сметаны, корзину яиц, туясок меду, и, кроме всего, логушок медового пива. Пиво предложил сразу распить, логушок оставить не может, а туясок с медом может оставаться, также и старое ведро со сметаной.

Праздник был большой и веселый. Подбодренные, не столько свежим хлебом с медом, сколько этим посещением доброго старовера, мужики еще поспешнее застучали топорами.

Предстоящее отплытие вниз по реке домой, было опасно, но и радостно. Опасно оно в крутых и быстрых поворотах реки, где надо много силы и ловкости направлять плоты по главному фарватеру реки, чтобы не разбить плоты о подводные камни на порогах. Тревожила и еще одна забота: все нарушили записанные в лесорубочных билетах от лесничего размеры и количество бревен и уже собрали из кожанных, запотелых мешочков, по целковому с брата. Алеха Кучерявый будет за всех разговаривать с лесообъездчиками, которые встречают плоты в низовьях и особым топориком, с буквами Д.З. (дозволена заготовка) должны пропускать каждый плот. Алеха сумеет и заговорить и сунуть «магарыч» за труды. Алеха знает, что когда дает подарок целая артель, то лесообъездчик сам и не может пробивать печати на сотнях бревен, он дает эту работу самому же сплавщику. Алеха готов поработать, а там уж его дело, сколько он при этом сэкономит на «магарыче». Это тоже зависит от того, какой лесообъездчик. Другого ни за что не купишь.

Пока мужики плотили плоты, все лошади отдыхали и паслись на лугах. От изнурительной подвозки бревен, без овса и сена, на одной траве, все они были худые, с торчащими из-под кожи ребрами, хоть сосчитай; у некоторых появились раны на спинах, нарывы на плечах. Но вот прошло еще три дня, лошади поправились настолько, что их можно было уже отправить домой. Торжественное утро этой отправки наступило. Под командой Тютюбая и собран был косяк в тридцать две лошади, шесть из них под седлами. Позади седел узелки и сумки с запасами и кое-какой одежой на дорогу, а за плечами каждого еще по узелку. Все

тяжелое: двуколки, сбруя, инструменты и остатки провианта будут погружены на плоты. На плоты еще нагрузят всяких даров леса: бересты, мелких поделочных деревцев, нагромождения для продуктов и спанья во время ночных причалов у берега. Все это важно и строго предусмотрено. Ночью плыть нельзя из-за порогов. А днем, все зависит от воды и от погоды. Другой раз и два-три дня туманы держат у берега, да и причалить можно не у каждого берега. Но так или иначе, лошади свободны, на них остались только узды, волосяные «путы» на шеях да шеркунцы, колокольчики и ботала.

Вот табунок лошадей, подгоняемый со всех сторон семью маленькими всадниками — Тютюбай ростом даже ниже Егорки — и всеми провожавшими отцами шести подростков, зазвучал копытами по галькам берега. Не всякая лошадь первой бросится в быструю холодную воду. Игренька Митриев, с мухами на раненой спине, хоть и помазанной деготком, конь старый, опытный, первым пожелал стряхнуть со спины надоедливых мух и оводов и пошел в реку, попутно забирая бархатными губами воду. За ним, под окрики и броски гальками, забрели и другие. Всадники крепко сидят в седлах до поры, до времени.

Егорка еще слышит крик отца:

— На гриву не надейся, повод замотай на руку.

Он знает. Замотал на всякий случай повод на левую руку, но этой же рукой держится за гриву Карего, того самого — помните, лет шесть тому назад, родился у Крутого Лога? — Но шум воды уже глушит громкие слова отца. Другие мальчики повисли возле седел, поплыли вместе с лошадьми, каждый с левой стороны, значит Егорка уже сделал ошибку, свалился на правую сторону, откуда вода прижимает его к лошади, а это мешает лошади плыть. Но ничего, Карий идет легко, ноздри его расширены, он дышет со стонами, милый, дорогой Карчик, вынеси!.. А первые лошади, Игрений впереди всех, уже выходили на другом берегу. Вот стукнуло копыто о гальки дна, и Егорка сразу повис возле седла, сесть на коня в воде уже невозможно, вода толкает его на круп лошади, значит надо тащиться за нею, уцепившись за стремя.

Трудно передать эту переправу, страх и отвагу юных всадников. Когда все лошади, обтекая и струясь водою, вышли на берег, Егорка все еще слышал крики отца с другого берега, но не слыхал его слов, однако понял, что отец ругает его за то, что он опять подверг себя опасности по собственной глупости. Все

же мальчики свалились в воду с левой стороны, а не с правой. Ну, все прошло благополучно, мокрые уселись в седла, Игрений уже пошел впереди всех по той самой тропинке, по которой четыре недели тому назад сюда пришел весь обоз лесорубов.

Позади удалявшейся по берегу тропы остался след стекавшей с лошадей и с всадников воды, и вскоре длинная вереница лошадей повисла над обрывом, с которого Егорка еще раз оглянулся на ту сторону реки, где мужики уже пошли опять на желтые, длинные, восковой каймой тянувшиеся вдоль берега плоты, но еще минута, и ущелье поглотило караван и скрыло плоты, и реку, и отцов, только отблески воды внизу под обрывом еще слепили глаза. Игрений знал дорогу домой и вел весь караван не спеша, но верно, без ошибки, не сворачивая на побочные заманчивые тропки в душистых и густых темных лесах.

Путь этот продолжался три дня и две ночи, но описать его невозможно. Это была сказка из самой чудесной книжки. Звон колокольцев и шеркунцов и как бы дальний колокольный звон от ботал (медные, полуквадратные звонки, некоторые с малиновым звоном) все время звенели ласковою музыкой. И никаких трудов, никаких препятствий и опасностей, все весело, все зелено, все солнечно и все вокруг родное, любимое и самый любимый в пути, это ласковый, заботливый, шутливый и смешной Тютюбай. Он так забавно лепетал по-русски, так смешно и с увлеченьем пел киргизские песни, так самоотверженно пас по ночам лошадей, а утром сам их седлал для всех мальчиков, что эти мальчики полюбили его, как лучшего братишку и никогда о нем не забудут.

Однажды, под вечер, в тот же день отправки из-под Порожной Сопки, караван остановился на одной высоте, откуда раскрывались широко горные виды во все стороны. Вот где то там, на северо-востоке, где выглядывает вершина с вечным, белым снегом, должен быть Рудник Риддерский. Там живут Егоркины дедушка и бабушка. Как странно, что вот оттуда два года тому назад, когда Егорка стал писать уже по-мелкому и написал дедушке первое письмо, дедушка, с попутчиком, прислал ему две старые конторские книги, в которых было много неисписанных, чистых страниц. И прислал дедушка Егорке свое письмо, написанное мелким, красивым, бисерным почерком. И начиналось письмо обращением важным и почтительным:

«Милостивый Государь, Егор Митрич!»

И вот этот самый родной дедушка сейчас живет где-то может быть в двух-трех днях езды верхом на лошади. Каким бы был Егорка героем, если бы вот так поехал и прямо через горы спустился в Риддерск и удивил бы дедушку своим героическим появлением верхом на лошади, в седле.

Сидел Егорка в седле на притихшем, дремавшем Карчике, смотрел на далекие и близкие горы и дальнозоркий глаз его запоминал, запоминал, запечатывал в себе эти виденья. Не знал, когда и для чего могут пригодиться ему все эти минуты, он закрепил их против воли, без всякой даже мысли о них, но, как незабвенный сон, он унесет их с этой высоты с собой в просторы жизни. Вот что было перед его изумленным и восхищенным отроческим взглядом:

Он видел сон наяву. Прямо перед ним, через уши его лошади, он видел спуск в зеленое ущелье, в которое спускалась серая тропа, в сторону от которой лошади разошлись по узким покатым склонам и, позванивая колокольцами, шеркунцами и боталами, схватывали ртами верхушки высокой травы. Его друзья и спутники сошли с коней и расположились на небольшой полянке, на обрывчике в журчащий горный ручеек. Егорка как будто задремал на своем коне, и даже ему казалось — откуда-то из книжек — он видит на себе отражение былинной правды — он взрослый и даже очень старый, старый человек... Нет, он не богатырь перед распутьем трех дорог, он неизвестный, безымянный старый человек, которому суждено увидеть вот это все, что перед ним и понести вот эту правду-быль, из века давно-давно прошедшего и в века далеко уходящие в будущее. Вот именно здесь, на этой высоте он впервые вырос в высоту недетского прозрения: он вот это унесет с собой далеко в пространстве и во времени, унесет, потому что вот этот направо, значит на север, зеленый крутой склон, с коряжистым кедром на одной из седловин, останется вот так, как есть, темно-зеленый, ясно видимый, а подальше в сторону, на этом же склоне, серая каменистая россыпь, на край ее падают какие-то белые цветущие кустарники. А за ними, немножко еще правее, на северо-восток синеет вторая полоса гор. Она синеет, потому что она очень далеко от этого близкого, перед глазами, значит та вторая полоса гор — целая цепь, а дальше и выше еще одна цепь. И видно, как синева, отделяющая ближний ряд гор от дальнего, струится,

как вода. Но еще дальше, позади синего ряда гор, еще правее, на восток, куда нужно повернуть лошадь, чтобы всмотреться, там совсем какое-то чудо. Там еще выше и еще дальше полоса гор совсем белая, похожая на облака, но это горы, потому что белизна кое-где пересекается черно-синими впадинами, а ниже опоясана синею каймою лесов, как будто под белизною лежит неровный слой воды и потому весь белый ряд высоких гор плывет по волнам этой синевы. Нельзя этого забыть, нельзя не унести с собою в жизнь.

Спускаясь постепенно в долины, где в поле зрения попадались уже более широкие и менее высокие предгорья и где уже показались крестьянские пашни и луга, потом скот и самые деревни, Егорка вдруг решил, что до Порожной Сопки, где остались мужики с плотами, никак не будет двухсот верст. Уж очень легко достался им обратный путь.

На третий день после полудня, весь караван был уже у перевоза через Убу в селе Шемонаихе. Паромщик, который в первый путь охотно, в три приема переправил весь обоз с нагруженными таратайками, на этот раз, надвинув на глаза теплую войлочную шляпу пирогом, сказал ребяткам, что он не будет их переправлять на пароме.

— Ищите броду, — твердо сказал он им. — А не найдете броду, вон там, где Уба узкая, переплавляйтесь вплавь.

Тютюбай заспорил, но перевозчик не слушал его и даже не смотрел на «нехристя». Он обратил внимание на Егорку, одетого в казенную серую курточку Барнаульского горного училища, которую он сегодня впервые надел, чтобы чистеньким приехать домой, прищурился и спросил:

— А ты чей?

— Я Митрия Лукича сын, внук Луки Спиридоныча...

— А-а, ну так ты так бы и сказал. А только вот что: в запряжке лошадей на пароме переправлять это одно дело, а гуртом, табуном опасно. Шут их знает, одна лошадь испугается, все бросятся на один край парома, паром и перевернуться может. Понял?

И вдруг Егорке пришло в голову уговорить паромщика. Не хотелось ему плыть опять и до нитки вымочить одежу. Он и говорит:

— Дяденька, а на лошадях же узды. Мы размотаем повода да всех по краям к перилам парома и привяжем.

Мужик почесал бороду, сдвинул с глаз свою шляпу на затылок и покачал головой...

— Ой, дотошный ты, малый, видать, что внучек Луки Спиридоныча. Ну, гоните половину, загоняйте да привязывайте крепче, чтобы взаболь. (Всерьёз — как следует.)

Сухими, гладкими, со звоном, гиганьем и топотом ста двадцати четырех кованых копыт, в облаке пыли возвратился весь табун в село Рудник Николаевский. Лай собак был особенно торжественным, а выбежавшие навстречу пригнанным из леса лошадям бабы и ребятки кричали звонко, радостно, и каждая из баб обнимала подбегавшую к родному двору лошадь. Егорка вырос за этот месяц на целых два вершка.

Но самое-то главное, самое торжественное время будет впереди, когда, как наказали лесорубы, если не задержат их лесообъездчики на лесной заставе и если они благополучно проедут пороги, день их приплыва будет, скажем, в субботу. Тут уж поручиться нельзя: утром ли, в полдень ли или под вечер, но суббота как будто выходит по всем расчетам правильно.

Так и вышло. В субботу рано утром из села выехали бабы с ребятами и стариками и со всем добром: и пироги, и вареного и жареного вдосталь, и выпить понемногу, и чистые рубашки для сплавщиков, а кто имеет и палатки для первого отдыха после долгого и трудного пути. Берег реки Убы будет усеян красными и синими и желтыми платьями, и детский крик заглушит шум реки, когда, наконец, ровно в полдень из-за серого утеса, изогнувшего Убу, на тихом плёсе появится первый плот. За ним выплывут другие. Старые и малые будут ловить веревку, брошенную с первого плота. Упираясь в твердый берег босыми и обутыми ногами, потянут старые и малые, каждая семья своего родного героя. И свежие, пахучие, восковые бревна на весь остаток лета завалят берег, пока, после страды, подсохший лес, будут возить на длинных дрогах по домам в село. А это значит еще большая, семейная радость: появятся, хоть и не сразу, срубы, а из них новые, восковые светелки, а то и пятистенные избы. Вот будет радость, когда-нибудь и для Егоркиной матери, Елены Петровны. И будет в новом домике капля и Егоркиного меда от трудов и участия в походе в глубь лесов и на высоты родных, незабываемых Алтайских гор.

XV

ОДНАЖДЫ, В СТУДЕНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ...

Самый сильный мороз ломился в избу, когда запрягали лошадей ночью, когда «Чупиги»*) стояли в небе прямо над головой, и все остальные звезды как бы усиливали мороз: такие пронзительные, сверкающие ледяные иглы струились с высоты на спавшую, закутанную глубокими снегами, деревню. И была ледяная тишина...

В запряжке лошадей Егорка участия не принимал. Микола помогал отцу, тот уже по шестнадцатому, на вечерки ходит, с холостягами того гляди сравняется, но отец все еще зовет его: Кольша, а не Николай. Егорка брата не зовет никак, они враги с тех пор, как Егорку отдали в школу и лишили Кольшу помощника по хозяйству. Егоркины книжки и тетрадки раздражали Миколку и он все грозился сжечь их, да матери побаивался, хотя и на нее косился: это ее затея из Егорки «писаря доспеть».

В насмешку Микола дал Егорке имя:

— Контора! Эй, ваше благородье, иди «глызы» (застывший навоз) заскребай! — насмехается Микола.

Так и пошло по селу, а потом на пашне в шутку, мужики и ребятишки:

— Ну, что, контора пишет?.. Эй, конторской!

Егорка обижался, но не спорил. Заспоришь — хуже задразнят.

Весь Филиппов Пост Егорка, по вечерам, учился у сапожника шить сапоги, но больше сидел над книжками.

Теперь он собирался в путь-дорогу с отцом, вместо Миколы. Большое это путешествие, — сто двадцать верст, на шести лошадях, запряженных одиночками в дровни, пагруженные всякой домашностью и мебелью — отец подрядился фельдшерское имущество из соседнего села перевезти в город. Воза громоздились

---

*) Орион (название деревянной основы для сохи).

меж высоких сугробов снега на улице еще с вечера. Погрузка была вчера весь день, и только на закате весь обоз остановился у Митриевой избы. И вот, задолго до рассвета — идет запряжка.

Под копытами лошадей с визгом скрипел снег, из ноздрей лошадей и изо ртов отца и брата вырывались струйки пара. Отцовские движенья были молодецки ловки и быстры. Это уже его привычка — на морозе быть проворным и работать в припляску. В избе же в это время, при тусклом свете сального огарка, мать снаряжала своего избранника в первый дальний путь.

На полатях с остервенением кашляла Фенька. У нее коклюш.

Мать дочесывала белокурые, начавшие кудрявиться, волосы Егорки и шептала ему последние наставления:

— А ты хорошенько попроси Анну Андреевну: Скажи, что мать за тебя просит. Сын-то ее, говорят, теперь в управе служит. На «вы» их надо называть... Не скажи «ты»...

Это был тайный заговор против отца: Егорку мать благословляет в люди. Он должен остаться в городе, сперва каким-либо сподручным, хотя бы пол подметать, в лавочке купцу прислуживать.

Анну Андреевну Пальшину, Елена знала по рассказам Митрия, но сама ее никогда не видела, да и в городе еще не бывала. Анна Андреевна старушка добрая, она одна может понять дальнейшую судьбу Егорки.

Из-под печи раздался предрассветный петушиный крик. Нету теплого хлева для кур, — все еще в избе под печью зимуют.

Как бы в ответ ему из-под кровати, что в углу у двери, двухнедельный теленок неумело, одним горлом, подтвердил бодрость жить на свете — утро приближалось.

Микола вбежал погреть у разгоревшихся в печи дров закоченевшие руки. Он появился из сеней в белом облаке хлынувшего вместе с ним пара и с нескрываемым ехидством крикнул Егорке:

— Ну, ты сопли по дороге вытирай, а то и нос в ледяшку обратится...

Он и завидовал Егорке и гордился тем, что остается хозяином вместо отца. С тех пор, как он стал подрастать, отец стал доверять ему даже пахоту весною (сам Митрий все еще иногда похаживал за девять верст работать в шахтах). Но эта пахота оставила в Егорке самые тяжелые воспоминания. Заглядится на

грачей, либо на распустившийся куст черемухи, передовик выйдет из борозды, борозда искривится, и в спину Егорки летит твердый ком дерна. Знает, что виноват, а больно. Заспорит, начнет плакать — хуже: Николай-Микола остановит всю пятерку, подойдет, схватит за кудри и так накрутит, что шея не сгибается. Поэтому Егорка и стремится из родной деревни, да еще от того, что мать называет «грехом в семье», а посторонние люди в шутку: «дым коромыслом». Оттого ли, что семья у Митрия уже шесть, или оттого, что отец и мать изматываются, выбиваются из сил, чтобы жить, как другие люди живут, — Егорка уходил в школу раньше, чем нужно и приходил позже, стараясь быть дома как можно меньше. И в избе зимой всегда как-то сумрачно после светлой, теплой и просторной школы. То Андрюшка кричит, то сестренка Фенька плачет — Оничка, старшая, уехала недавно к тетке, в другое село, а мать всегда в печали, всегда в нужде.

С самых детских лет гнетет Егорку родное гнездо, гнетет грех между отцом и матерью, ссоры их — вот это самое страшное в родной избе.

Жалость к матери всегда сосет Егоркино сердце. Она еще молода, а уже сохнет, лицо ее редко улыбается, и оттого раньше времени стареет.

А есть другая жизнь, не только в книжках, которые уже и сам Егорка читает, но и на картинках, развешанных в переднем углу, да и в песнях, что поют мужики на пашнях, девки на полянках, бабы на свадьбах. Есть другая жизнь и у соседей; дети, как дети, играют, смеются, бегают, одеты, обуты, а в церкви и совсем люди другие; все добрые, все мирные, все чистенько одеты. Любит Егорка петь в церковном хоре — поет он дискантом и когда поет, почему-то хочется ему плакать, да других мальчиков стыдно. А то бы пел и плакал, пел бы и плакал. Так он и делает, когда бывает один на пашне, либо когда пошлют его отводить лошадей в табун, либо оставят одного гумно караулить. Вот там он отводит душу — поет почти все материнские песни и если плачет, то плачет больше о матери, не о себе. Вот так они с матерью и сговорились, поняли друг друга, без лишних слов решили, что пойдет Егорка в люди, другую жизнь искать.

Но он мечтал не о далеком будущем, когда он будет взрослым человеком, а только о том, что если ему удастся поступить, только поступить на какую-то «вакансию» — слово это он слышал от отца, осуждавшего легкие городские должности, — он прежде всего

купит и пришлет матери настоящие новые ботинки. Он не помнит, чтобы она когда-нибудь имела настоящие ботинки. Были у нее башмаки, подарок Грушеньки Минаевой, да износились. Летом она и дома и на поле всегда босая, а зимой в старых, разношенных валенках, в тех самых, в которых почти четыре года тому назад, она впервые отправила Егорку в школу.

И вот теперь и сам он отправляется в далекую дорогу опять же не в своих сапогах, а опять же одолженных у Вялковых. Матя уступил, ему сшили новые. Вот эти чужие сапоги уже тревожили его. Он думал о том, как бы оправдать свой побег из дома, о котором знает только мать и только мать ему была и будет самым дорогим и до слез «жалким» существом во всей деревне. Оправдать побег и завоевать доверие отца, который снисходит к его ученью, но стоял на стороне Миколы. А Микола был на стороне потихоньку выроставшего хозяйства. Вот у них уже три коровы доятся и шесть лошадей в запряжке. Правда для двух сбрую заняли у соседа, а двое дровней — у другого. Но подрастут Микола и Егорка — можно будет лишнюю десятину хлеба сеять. Понимал Егорка, что и на него возлагается отцом надежда, как на подрастающую помощь. Потому и страшился заговора — не отпустит отец, не оставит в городе. И будет еще хуже, если мечта с сапожками для матери не сбудется и он должен будет с позором вернуться домой. И дома и на пашне все будут смеяться: «контора, мол, не пишет», или «по безграмотству и личной просьбе расписался». Так уже острил над ним один из почтенных пахарей.

Но вот запряжка кончилась, отец и брат вошли в избу. Еще в сенях отец усердно высморкался, вытер по привычке, ноги у порога, вошел и голосом решительным, но не сердитым, стал отдавать последние распоряжения матери и Миколе: чтобы дров зря не палили и сперва бы сучьями топили, да чтобы, ежели сборщик придет сбирать на пастуха — с осени еще не доплатил за пастушное — сорок копеек лежат на божнице.

— А ты, Миколай, — впервые назвал большака, как взрослого, — зря без меня по вечеркам не шатайся! Мало что там может случится: другие подерутся, либо пожар наделают; чтобы меня из-за тебя на «сходку» не тащили. Ну, сподружник, — обратился он к Егорке, — оболокайся!.. (Одевайся).

Егорке оставалось надеть поверх материнской теплой кофточки новенький, матерью же сшитый халатик — так называли

они пальтецо из «киргизина» — темно-коричневого крепкого материала, с миткальной подкладкой, но и с тонкой прослойкой верблюжьей шерсти. Первое пальтецо и как раз впору, только уж очень легонькое для сибирского мороза. Шапка Миколы не по росту велика, опустилась глубоко на уши, рукавицы с теплой варежкой, но не свои — выпросил на время у товарища-соседа. Опояска отцовская, праздничная, лет пять тому назад, когда Ольгу замуж выдавали, отец купил для свадебного торжества. С тех пор береглась в сундуке, вместе с остатками других нарядов семьи. Носили по очереди отец и Микола. Теперь пригодилась для выезда Егорки.

— Ну, помолимся, да посидим на дорожку!..

Помолились все стоя, посидели молча. Встали.

— Ну, благословляй! — сказал отец матери, и в это время у ног ее согнулся, касаясь лбом холодного пола, Егорка. Надетая, на нем, поверх халатика, сермяга, делала его толстеньким мужиком.

— Благослови, мамонька! — Губенки его тряслись виновато и вместе жалостливо. Когда кланялся ей в ноги, увидел снова старые валенки, еще раз подшитые кожей, но все те же, те же, только еще больше растоптанные, скользкие в подошве, как лыжи и забрызганные грязью — в них же и зимой и осенью она ходит...

— «Нет, не ботинки я куплю ей, сапожки небольшие, чтобы можно было и зимой и летом носить.» — Так решил Егорка при прощаньи с матерью. Видел он, какими новыми, особыми глазами смотрела она на него, когда целовала и крестила на дорогу. В этом взгляде была крепость материнской веры в то, что Бог спасет и направит ее сына на путь правильный, на добрый путь...

Все вышли на мороз. Митрий подошел к передовой подводе, взял возжи.

— Господи благослови!

Егорка взял возжи задней лошади. Ни один не сел на воз. Трогается передняя, но полозья пристыли к снегу. Надо слегка изогнуться лошади в сторону, чтобы, не сломав оглобли, осторожно сдвинуть воз с места. Так лошадь и сделала, как разумная. Раздался скрип полозьев, пронзительный, ночной, когда все спит, а утро еще далеко. Вторая лошадь также не сразу сдвинула сани, за ней, на поводу Стригунчик, это не тот, давнишний, тот уже большая лошадь. Это трехлетний (еще нет трех лет), була-

ный, сын все от той же Буланухи. Четвертая сама, без понуждения, рванула воз, скользя копытами и упираясь с места. Пятый опять же молодой, неопытный, неопытный, некованый, натянул повод, но воз его полегче, сам скользнул и поплыл, как по маслу. Теперь Егоркин черед. Он приготовился, чтобы рассмешить и подбодрить все семейство, вот-де я, какой, не трушу:

— Ну, мертвая! — Но голос его прозвучал не басом, а потонул детской песенкой в оглушительном скрипе шести подвод.

Елена припомнила его урок в избе, ваданный из Некрасовского «Мужичка» и усмехнулась. Потом издали перекрестила весь обоз, медленно уходивший вглубь улицы. Кое-где во дворах глухо лаяли собаки.

Лошади уже не тянулись и не отставали друг от друга. Они давно, и во дворе, и в табуне, друг без друга не ходят. Лай собак в скрипе обоза, утонул, и заглох.

Село осталось позади. Дорога сразу пошла узкая, рядом идти трудно. Придерживаясь за веревку, которой увязаны столы и стулья, Егорка шагает легко, позади своего воза. Изредка подскочит на отводину, подъедет и следит, сел ли на воз отец. Нет, он тоже идет позади. Но вот дорога пошла под горку, отец вскочил на воз. Видно в просветлевшей ночи, как он оборачивается, маячит: дескать можно посидеть и на возу.

Ночь распростерла в небесах неисчислимое количество звезд, но утренней зари еще не чувствуется на востоке. Значит встали в полночь и день будет сегодня длинный, длинный. Мороз уже хватает за нос и за щеки, на ресницах появились тоненькие льдинки. Шерстяные чулки в сапогах пока что греют. Но лучше слезть с воза, побежать, не давать телу остывать. Халатик не на меху. Да и уснуть опасно, можно упасть с воза. А простор впереди уже белый, бесконечный и, когда остановились на минутку лошади, тишина вокруг все та же, мертвая и ледяная.

Караваны и обозы всегда шли медленно. Но они прокладывали дороги через места непроходимые, перевозили богатства древних патриархов и царей из одной страны в другую, соединяли царства, соединили Восток с Западом. Прокладывали пути и тропки через неприступные горы, мостили болота, прорубали леса и медленно и верно двигали торговлю мира.

Сто двадцать верст для обоза Митрия были огромным расстоянием. Груженые хрупкой мебелью и всяким тяжелым добром, возы быстро не погонишь. Зимний день короток. Только покормить и попоить усталых лошадей — смотришь, а уже солнце склоняется к закату. Да и сам бегом за дровнями не побежишь; сидеть же на возу — не купец в дохе да в теплой шубе. Значит — лошади шагом, и сам за ними пешим, вот и теплее, а особенно мальченку жалко — халатик-то ветром подшит. Как в нем он не закоченеет — диво, да и только...

Но весел и краснощек был Егорка, то и дело подсаживавшийся и опять бежавший за возами, потому что шаги его не так еще крупны, чтобы за лошадиной поступью шагом поспевать. Другой раз на раскате дровни закружатся. выглаживая, высветляя полозьями снежную скатерть дороги — любо Егорке видеть сине-огненные полоски на снегу. Все искрится, все до ослепления бело — и дорога и степь, и взлобки, и даль за спящей подо льдом великою рекою Иртышем. Кусается морозный ветер, но не так уж больно — отвернется в сторону, приставит к носу рукавицу или потрет щеки снегом и лицо опять горит, розовеет...

И важным, нужным чувствует себя Егорка на постоялом дворе. И распрягать умеет, и сена дать, и повести коней на прорубь для водопоя — во всем равняется с отцом. И понятно: — одному отцу с шестью лошадьми где же справиться?

Три дня пути, два ночлега, третий будет в городе — ух, какая длинная, какая большая по своей важности для Егорки наука, дорога! Сразу вырос — весной ему исполнится двенадцать, но пусть-ка Микола сунется учить его, как надо идти обозом три дня до города. Он сам его научит. Пусть-ка городские сверстники попробуют успеть запречь, распречь три лошади — он так наловчился, почти что и от отца не отставал в распряжке. С запряжкой не хватает сил «супони» затягивать — ремни у хомута, что стягивают дугу. Но еще год-два — он достанет и хомут подошвой сапога.

Оценил и отец Егоркино усердие в дороге и видно, жалко ему было паренька будить в полночь. Сам напоит, покормит овсом, почистит, всех запряжет, потом будит, когда уже хозяйка постоялого двора чай вскипятит. А в дороге, когда ночь сменится ранним утром, клонит в сон Егорку. Но на возу — нельзя ему позволить спать, во сне, на морозе, даже взрослые замерзают до смерти. Отец вытащит из-за пазухи согретый у груди калач,

но калач все-таки стылый и приятно грызть его, чтобы не спать.

— Слезай, грейся на ходу! — кричит отец, чтобы перекричать скрип под полозьями обоза. И начинает сыну рассказывать что-нибудь смешное, либо из собственного детства.

По иному, лучше и яснее запомнились рассказы отца в это морозное утро. Запомнил Егорка отцовскую бородку, узкую, серебрёную от инея, и брови в серебре, и ресницы с бисеринками льда над глазами. А лошади тяжелой поступью шли в гору и упирались копытами в хрустевший снег. Все они были темными от пота, хотя и разномастные; вся шерсть в серебистом пуху. Всех шесть лошадей как будто впервые видел... В пару, под инеем, они были, как никогда, теплые, живые, родные лошадки! Тепло стало от быстрого шага рядом с отцом. А еще теплее стало от того, что вспомнил мать и слова ее:

— «Может, хоть ты станешь человеком!»

Не все точно понял, что рассказывал отец. Но отец стал ему ближе после этих рассказов. Бедняк он на деревне; рассказал, как однажды ходил по соседям занимать полмеры муки до урожая... Полную меру не смел и просить, зато был должен почти что десяти хозяевам. Но до урожая ухитрился половину долга возвратить: тому дрова поможет пилить, тому сено вывозить из заметенного снегом стога, тому двор вычистит. Вспомнил Егорка, почуял наросташую в себе вину в том, что он решил уйти из отцовского дома, лишить отца подраставшего работника.

Тяжело было дышать на быстром ходу на морозе. Лошади вытянули обоз на горку — сейчас возы будут толкать их под гору — можно присесть, спрятать лицо от игольчатых когтей мороза, уткнувшись в полог, покрывавший мебель на возу.

Солнце всходит в рукавицах. Нет, не в рукавицах, а в ярко-радужных наушниках, закутанное инистым дыханием земли.

Так начинался особенно памятный для Егорки третий день, когда под вечер, на ровном и туманном горизонте, на желто-красном предзакатном небе, показалось нечто странное, невиданное: город.

Это было видение, почти такое, какое он только однажды видел в полудремоте или в бреду, — неправдишное небо и неправдишный город, но такой тонкий и прозрачный — насквозь был виден весь, как сотканный из полотна: высокие, золотящиеся купола больших, больших церквей и вперемежку с ними тонкие и острые мечети, мечети; много мечетей, больше, нежели церквей...

все они тонкой, длинной полосой перегородили горизонт, а солнышко садилось за них, как нарочно, чтобы город был выше, тоньше и прозрачней.

Отец совсем повеселел, отстал от передовика-коня, который давно знал дорогу и шел, не нуждаясь в возжах; стряхнул с бороды и усов влажные ледяшки, ткнул кнутом в сторону видения и спросил:

— Симпалатна! Видишь?

У Егорки слишком закоченел рот, но он сморщил побагровевший за три дня, вздернутый нос, чтобы проверить — отморозил нос и щеки, или нет, и с трудом выдавил:

— Се-ми-па-ла-тинск! — В этой поправке отцовского названия города он не имел в виду показывать, что он ученее отца и знает, как произносить это название, но он по своему, по сонному любовался даже самыми слогами и длиною этого необыкновенного слова: — Се-ми-па-ла-тинск, — повторял он, ударяя на последнем слоге. Но он продрог и с трудом сжимал зубы, чтобы они не стучали.

Материна фланелевая шаль была свернута шарфом и крест-на-крест переплетала его шею и грудь. В дороге только раз он позволил отцу развернуть ее и надеть на голову по-бабьи. Но на этот раз отец решил ускорить ход обоза даже до рыси, и значит, надо сидеть на возу, а не бежать. Поэтому Егорка не возражал, когда отец распутал шаль — она местами слиплась от застывшего Егоркиного дыхания — и закутал ему голову и плечи. Он опять похож был на девочку, но сам этого не видел. Очень зябли руки и ноги; мороз к вечеру опять крепчал, а на равнине ветер дул острее и пронизывал насквозь не только всю его одежду, но и все щупленькое тело. Он чуял, как рубашка и штаны и сапоги холодили его, как ледяная кора. Но сидя на возу, он, как и отец, делал разные движения руками и ногами, чтобы не закоченеть.

Долгими казались оставшиеся версты, но в самые сумерки мимо обоза пошли огоньки: сначала в низких, пригородных домиках, потом в двухэтажных, потом вдруг отец круто повернул передовую лошадь влево и обоз остановился в широкой ограде, сплошь заставленной возами, крытыми кибитками, распряженными лошадьми, торчавшими вверх связанными оглоблями, чтобы воз возле воза мог стоять ближе и не занимать лишнего пространства. Над въездом он успел прочесть на вывеске:

«Постоялый двор А. А. Пальшиной». Значит приехали.

XVI

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Приехали они в город ночью, и когда Митрий въехал в просторный постоялый двор Пальшиной и начал распрягать свой обозик в шесть упряжек, он крикнул Егорке:

— Беги скорей в тепло, грейся!

Но Егорка не пошел. Не слушались его руки, не гнулись пальцы — он их даже не чуял в варежках, так они закоченели от мороза — но все же он хотел быть молодцом и помогать отцу в распряжке. Там, где не мог развязать супонь у хомута руками, хватал за ременный конец острыми зубами, и это помогало. В движении немножко согрелся и доказал отцу, что он не баба. Хотя двенадцать лет ему исполнится в Егорьев день, в конце апреля, через четыре месяца, он отвечал на вопросы о возрасте:

— Двенадцать!

В теплом, просторном помещеньи было уже много народу и ото всех мужиков пахло разогретыми овчинами и зипунами. Разморило его сразу. Не дождался ни еды, ни чаю, уснул, не раздеваясь, как убитый. Еще до рассвета разбудил его все тот же шум и непонятный говор. Все говорили сразу, и каждый о своем, но слов отдельно не разберешь, да это и не важно.

Трудно было все сразу вместить в слух и зрение и в неопытный, только пробуждавшийся к жизни разум, ибо все было для Егорки ново и удивительно. А главное, невероятно. Невероятно, что он в городе. А города он еще не видел, так как постоялый двор был на окраине, среди разнокалиберных, невысоких домов и пустырей. Невероятно, что он может остаться здесь один, невероятно, что кто-либо может дать ему какую-то должность. Рано утром, еще до рассвета, за

общим шумом, он услышал странное, никогда неслыханное, но однонотное — он знал, что такое ноты — пение:

— А-ал-ла-ах! — Всех слов он разобрать не мог, но понял, что это молится и поет где-то пососедству татарский мулла.

Позже, когда при ярком солнечном свете он впервые вышел, вернее испуганно выглянул за ворота, он увидел и самую мечеть, совсем близко, и на башне ее под позолоченным полумесяцем стоял в черном халате и белой чалме мулла и, приложив руки к ушам, опять взывал к Аллаху и тянул одною нотой, высокой и пронзительной, свой призыв к молитве. В то же время с отдаленных концов города, как бы отвечая на призыв, отзывались другие, такие же пронзительные и печально завывавшие голоса. Это было очень трудно воспринять или усвоить, тем более, что Егорку все больше волновал вопрос о его собственной судьбе:

— Как и с чего начать? Нет, он не решится обращаться к хозяйке постоялого двора, Анне Андреевне: уж очень она большая, — как башня ходила среди возов и людей рано утром, собирая за постой. Высокая, полная, в шубе внакидку, и голос ее был строг и звучен. Нет, это страшно. Она и слушать его не станет и прежде всего возьмет и скажет о его намерении отцу. Нет, он сам... Вот сейчас, пока отец где-то на базаре, а лошади стоят у сена, он пойдет... Только бы не заблудиться... Он пойдет прямо по улице туда вон, к самым высоким, каменным домам — там-то и есть настоящий город...

Он еще не решил, но уже шел от постоялого, шел ускоряя шаги, чтобы кто-либо не кликнул, не остановил его. Он шел прямо, не оглядываясь и замечая на угловых домах название улицы, чтобы потом найти постоялый двор Анны Андреевны Пальшиной. Ему легко было итти, и совсем не было холодно. Пальтецо его немножко распахивалось на ходу, и новая миткальная подкладка отсвечивала сталью. Это хорошо, что мама сшила ему это пальтецо — все таки не стыдно итти по гooроду и спрашивать о должности... Но надо сделать все как можно скорее, чтобы смелее можно было просить отца оставить его в городе. «Войти в этот вот дом? Нет, это слишком большой, каменный... Зайду вон в тот, пониже, деревянный». Прямо постучать и зайти, и спросить, не нуж-

но ли им... — Не успел додумать, что спросить, как увидел, что ворота в ограду открылись, и внутри двора пожилой господин в светло-серой офицерской шинели брал вожжи запряженной в полусанки лошади и что-то говорил стоявшему возле него солдату. Егорка замер на месте, так и не переходя проезда. Так и не посмел подойти, пока офицер не выехал и укатил вдоль улицы. Но когда солдат стал закрывать ворота, он робко снял перед ним свою большую не по росту шапку и держа ее в руках, хотя уши его щипал холод, сказал дрогнувшим голосом:

— Здравствуйте! — Солдат, готовый закрыть вторую воротину, недоумевающе смотрел на него и ждал, что он еще скажет. И мальчик поспешил сказать, пока ворота закрывались:

— Я вот... приехал в город... — Солдат закрыл ворота, не давши мальчику договорить, но тотчас же вышел через открытую калитку на улицу и переспросил:

— Чего тебе? — Он был из молодых, но с бородкой, и с особенным любопытством, а может, с подозрением, зорко осмотел Егорку с ног до головы.

— Не знаешь ли... Егорка тотчас же поправился, помня, что мать учила: городскихъ людей называть на вы. — Не знаете ли вы... — Он опять запнулся в то время, как солдат спокойно взял из его рук шапку, надел ее на него и сказал:

— Ну, ну, кого потерял? — И улыбнулся ему приветливо, как будто узнал в нем своего, быть может, такого же сынка, либо братаника на родине. — Откуда — чей? — Слов солдат видимо зря не тратил, был скуп на них и почти не слушал самого главного, о чем, наконец, Егорка выразился все еще туманно и как будто не всерьез:

— Я почти что кончил нашу школу... Я кончил, но отец весной взял меня на лесорубку, и экзамены я не держал. Ну, я с осени ходил опять в школу... Я грамотный!

— Очень даже приятно слышать, — говорил солдат, загребая мальчика правою рукой и увлекая его в глубину двора, где под навесом стояла летняя коляска с фигуристыми приступками. На этих приступках в досужую пору солдат присаживался. Сюда же усадил он и нежданного деревенского гостя. Ему было приятно поговорить с таким настоящим деревенским пареньком, да еще грамотным, но он так и не внял словам Егорки, который уже страшился потерять лишнее время и

старался круче повернуть от затянувшегося солдатского гостеприимства.

— Ну, я пойду, — сказал он наконец, прерывая солдата как раз на том самом месте где тот признался:

— У меня дома растет как раз такой же вот братаник Васютка, ну в школу отдавать его для семьи дело не простое. Один остался на поглядочку родителям. А люди они справные, хозяйство — слава Богу, а работников — оба большака в солдаты забраны. А мне еще девять месяцев осталось!..»

Солдат вздохнул, и видно было, что у самого у него есть о чем вздыхать, — зачем вдаваться в заботы и дела других людей, а особливо несмышленыша деревенского, который сам не знает, что он хочет и зачем приехал в этот чуждый, скучный, затерявшийся в степи полковой город-лагерь.

Так и не выслушал Егорку первый встречный. И пошел Егорка вдоль все расширявшейся улицы с растущими вверх и вширь домами, искать первой ступени жизни.

Он знал, что его на постоялом дворе должен хватиться отец, и чем позднее он вернется, тем строже будет наказанье. Но какая-то внутренняя сила уводила его глубже в город, не в самый центр, а в сторону. Уж очень часто стали на него оглядываться прохожие. Халатик ли его или непомерно большая шапка, обращали на себя внимание: поэтому он уходил все влево, где улицы были узки и дома обнесены высокими заборами. Это была татарская часть города. Здесь было меньше народа: лишь изредка поперек улицы пробежит стайка женщин, в темных покрывалах, спущенных на лица. Он слышал их непонятное щебетанье и все думал — зачем же он ушел в Татарское, ведь если он заблудится, ему никто дорогу указать не сможет: не поймут его, и он их не поймет. И вот он повернул направо. Пошел по направлению к русскому большому собору, а против собора на площади показались четыре громадных трехэтажных дома. Они были так велики и так белы, что казалось — это и есть Град-Столица из Конька-Горбунка. Но в эти дома он войти не посмел, даже мимо них почему-то страшно было проходить — таким холодом и величием и недоступной красотою веяло от них. И он повернул вправо, зная, что это и будет теперь направление на постоялый двор Пальшиной.

Он остановился, испугавшись, что не может вспомнить название улицы, на которой, далеко позади, находится постоялый двор. И пошел опять назад, в Татарское, стараясь возвращаться точно теми улицами, которыми он шел сюда. Но улицы были и похожи, и не те. Не те, потому что по тем совсем не было вывесок, а по этим почти над каждым домом вывеска. И вот одна из них его остановила: остановила потому, что он не мог сразу прочесть ее. Как же так? Он грамотный, и вывеска написана по русски, а прочесть не может. Точно на экзамене сам у себя, он стал читать вслух:

— Хабибулла Хуссаинович ХИС-МА-ТУЛ-ЛИН. —Прочел и повторил, и ниже прочитал еще более трудное: — Каучуковых и штемпельных дел мастер.

Дом был не велик, но новый, двухэтажный, чистый, и у ворот его сидела женщина чем-то удивительно напоминавшая Егорке его мать. Она была вся в черном, но лицо открыто. Она смотрела себе под ноги, вытирала глаза платочком и никого и ничего не видела. Она плакала. Этим, должно быть, она и напоминала ему мать. Егорка робко, не без страха подошел к ней.

Не даром женщина напомнила Егорке его мать. Она и оказалась первым его прибежищем в этом страшном и холодном городе. Судьбе ли так было угодно, или такая могла быть капризная случайность, но так вот вышло: была эта женщина служанкой в доме штемпельных дел мастера, бухарца Хисматуллина, а Хисматуллин как раз подыскивал себе ученика подмастерье. Женщина ввела его к хозяину, необычайно бледному, в веснушках, но красивому, в красивой черной бороде и в чистом шелковом халате. Он хорошо говорил по русски, и допрос его был краток:

— Грамотен? Что-нибудь напиши! — Написал Егорка имя свое и фамилию, и тотчас же трудное имя своего нового хозяина. Вышло без ошибки. — Хорошо, — сказал бухарец. Приведи отца. Поговорим.

Все это было самое нужное и самое чудесное: есть о чем поговорить с отцом, есть о чем просить и Анну Андреевну. И та же женщина, служанка Хисматуллина, отвела Егорку на постоялый двор. Она и разговор вела с отцом, а потом с Анной Андреевной, потому что не хотел отец в такое дело впутываться — на пять лет своего мальченку какому-то тата-

рину отдавать. Но Анна Андреевна и в особенности сын ее, высокий, хорошо одетый, настоящий господин, уговорили Митрия. Согласился.

Неспособно было ему одному на шести запряжках домой возвращаться, тем более, подрядился он везти из города сто двадцать пудов кормовой соли своему же деревенскому купцу. Но согласился. Согласился и на то, что в течение месяца представить бухарцу увольнительный приговор от сельского общества для Егорки: дело не шуточное, бухарец на пять лет берет мальчика в ученики, будет платить ему по пять рублей в месяц и одевать и кормить Егорку, а когда выучит, — значит сам Егорка будет мастером, большие деньги будет зарабатывать. Не шуточное дело, есть за что и сельское общество булгачить.

И так все и было: и приговор был дан, и подписка от родителей, с печатями от села и волости. Пришли бумаги в большом пакете на имя бухарца в феврале, как раз в самые сретенские морозы. Но в этот самый день, в который пришли бумаги, Егорка, ничего о них не зная, шел через Соборную площадь, весь в слезах. Под мышкой у него был узелок с пожитками а под другой — одеяльце и подушка, присланные матерью с попутчиком недели две назад. Буря была на морозе и сшибала Егорку с ног, осыпала его снегом, смешанным с песком и застилала путь туманом вихревым и слезным. А путь его был длинен: до постоялого двора Анны Андреевны Пальшиной, а оттуда уже наверное — домой, на жестокосердие отца и брата и на смех всему народу. Прогнал его бухарец, и не за его вину, а за вину своей служанки, которая дерзнула привести к нему такого несмышленного, нерасторопного деревенского парнишку.

Но не от того Егорка плакал, что его прогнал бухарец. даже не оттого, что над ним будут смеяться его бывшие школьные товарищи: — не прошел-де в барины, не поглянулся-де Егорке белый городской хлеб; а плакал он от первой, самой горькой неправды, и даже не к себе, а вот к этой доброй женщине-служанке, напоминавшей ему мать. Не во всем он разбирался, не все понимал, но почему-то запирался бухарец с женщиной в своей чистой, отдельной горнице, приглушенно кричал на нее, чего-то добивался, а женщина молчала и вырывалась от него в слезах, выбегала на улицу, но никуда дальше

ворот не уходила, а долго там сидела и старалась спрятать слезы от прохожих и даже от Егорки. Жалость к женщине сжимала Егоркино сердце но он не смел ее расспрашивать и даже старался не замечать непонятной ему драмы. Зато усиленно старался Егорка разбирать шрифты по кассам — нравилось ему это дело, и стал он привыкать к придиркам хозяина, только бы угодить, только бы чего не перепутать. Большой был мастер бухарец, хорошо у него отливались из расплавленной резины штемпеля, печати; целые странички отпечатывались с мягких каучуковых пластинок. И когда бухарец чистил их маленькой щеточкой, зубы у него обнаруживались и блестели молниями из черных выхоленных усов и бороды, И русские слова как пули вылетали на Егорку, точные, четкие, как печатные буквы, и наставительно строгие. Бухарец первый называл его не пренебрежительно Егоркой, а настоящим именем: Егор. Это придавало бодрости и веры, что все пойдет ладно. Но вот произошло неладное и нелепое. Поручил он служанке-женщине отнести на почту деньги для пересылки фабриканту деревянных ручек для штемпелей, в город Омск. Большие были деньги — двадцать пять рублей. Но почему-то женщина не удосужилась сама отнести пакет (тогда деньги отправлялись еще в запечатанных пакетах, а не переводами) — и доверила она Егорке пойти на почту. А там его другие, взрослые и важные люди оттирали от окошечка, продержали его почти час. Вдруг около него появилась женщина, опять в слезах:

— С ума ты сошел, — столько времени торчишь тут! Он думает, что сбежал с деньгами! — И хотя это была неправда, и оба они вернулись к бухарцу с почтовой квитанцией, — раскричался взбеленился бухарец, прогнал обоих — женщину и Егорку. Вот он теперь и шел сквозь снежную вьюгу, не замечая, что слезы его на щеках смешивались со снегом и падали на землю льдинками.

Не перешел он еще широкой площади, как через нее, мимо собора, вслед за Егоркой, послышался звон и гром. Остановился он в изумлении. Невиданное зрелище: красные, громадные телеги, запряженные тройками и парами лошадей, похожих на львов. Жирные, гладкие, большие, с развевавшимися гривами, лошади мчались прямо на него, а на телегах все блестело начищенной желтой медью, и лошадьми правили

ездовые в медных шишаках, как римские воины, которых видел Егорка на картине, при распятии Христа. И на первой телеге, позади ездовых и у чудовищной машины с какими-то черными жгутами, как большие змеи, стоял во весь рост высокий офицер, тоже в медном шишаке, только с удлиненными козырьками спереди и сзади, и как победитель поднял правую руку и что-то кричал ездовым. Не успел сосчитать всех экипажей, как услышал с третьего хриплый крик, обращенный прямо к нему, Егорке, и крик этот был:

— Егорка-а!

Совсем ошеломленный смотрел Егорка вслед промчавшемуся чудо-экипажу, и верил и не верил: это же его родной дядя и даже крестный, Василий Лукич. Говорил же ему отец, что брат его, Василий Лукич, служит в пожарной команде. Это он! Точно во сне и как бы вихрем, заметавшим хвост промчавшегося поезда, Егорка так и побежал следом. И увидел, как поезд завернул в ближайшую улицу и промелькнул красным громом в боковом переулке. Уж не трудно было проследить этот гром и разыскать пожарную команду и дядю-крестного, Василия Лукича. Чудо это было, и чудо не далекое. Пожарная команда была в центре города. А это была проездка, проминка застоявшихся без дела лошадей под командой самого чудо-«брандмейстера». Слово, которое с того дня на всю Егоркину жизнь прозвучало значительнее, чем слово «полицмейстер» или «егермейстер». Уж очень был красив и высок и величествен начальник пожарной команды. А главное, не надо было итти на постоялый двор. Вся Егоркина судьба менялась. Как, и к лучшему ли — он еще не знал, но только бы не возвращаться опозоренным в родное, занесенное снегами рудокопское село в далеких предгорьях Алтая.

Вытер Егорка слезы на посиневшем лице, высморкал нос обеими руками, меняя их поочередно, перед тем как войти в обширный двор пожарной команды. Нельзя же плаксой встречать дядю — такого молодца в медном шишаке. Тревожила эта встреча, даже пугала, но все же это была какая-то вторая ступень жизни, и сердце Егорки замирало от неизвестности.

XVII

У ЧУЖИХ ПОРОГОВ

Снежная вьюга с той же силой хлестала в лицо Егорки и врывалась в рот и в нос так, что он захлебывался и чувствовал на зубах песок, взвихренный бурей над улицами города. Теперь Егорка шел вместе со своим дядею и крестным, Василием Лукичем, через ту же площадь, куда-то в незнакомый закоулок, неподалеку от пожарной команды. Лукич брил бороду, но усы берег и холил со времени солдатчины. Теперь они свисали вниз сосульками от набившегося снега с песком, и от этого дядя казался старше своего возраста. Но то, что часть Егоркиного багажа Лукич нес под правою рукой, а левою держал Егорку за плечо, согревало Егорку лаской и смягчало его страх перед встречей с теткой Акулиной. Тетка Акулина была женщиной сухопарой, чернявой, молчаливой и всегда всеми недовольной. Так он знал ее по отзывам отца и матери — сам Егорка видел тетку давно и случайно. Но так как он теперь «прогнан» с первой должности и должен дяде и тетке сесть на шею, страх его не могла устранить даже ласка дяди. Так оно и было. Комната была подвальная, сырая и полутемная, а у Василия и Акулины был мальчик, Яша, лет семи, хорошенький, как девочка и избалованный, как барчук: родители в нем души не чаяли и баловали, как могли.

Когда Лукич, войдя в жилище, сказал виноватым голосом, что вот привел, мол, крестника погостить у них, Акулина, не ответивши на поклон Егорки, разбежавшегося к ней с протянутой рукой, — так его учила мать здороваться в городе, — с нескрываемой злобой крикнула на мужа:

— Да куда тут с ним? У меня вон своего-то негде положить...

Но Лукич тоже повысил голос:

— А ты не базлай! Тебя никто не боится...

Тут Егорка сразу почуял, что дядя ее боится. Так его рученка и повисла в воздухе, и приветствие его осталось непринятым. Но как-то все уладилось: тетка все же накормила всех хорошими, жирными и горячими щами с мясом, и хотя обед был не веселым, Егорка хорошо согрелся и стал забавлять, как мог, Яшу, который вытащил из всех углов разные свои игрушки и развязал и растащил по полу все Егоркины пожитки. Незваный гость не решался спорить. Он кротко уговаривал Яшу отдать ему обратно подушку, одеяло и две чистые рубашки, но мальчик продолжал забавляться его вещами, как ему хотелось, и даже уговоры отца и матери не помогли. Лукич был явно озабочен и спешил в команду, а Акулина сомкнула сухие тонкие губы в неутешное молчание. Но, уходя, дядя нашел выход из неприятного Егоркиного положения.

— А ну-ко, племяш, пойди почисти Игренюху и напой ее, сенца ей дай немного.

Это было очень удивительно: дядя Лукич, живя с семьей в подвале, мог содержать еще и лошадь.

С трудом Егорка высвободил из рук Яши свой халатик, шапку, опояску и вышел вслед за дядей, через двор и еще через открытую площадку, видимо в соседнюю усадьбу, к Игренюхе. Кобылица, увидевши хозяина, мягко и дружески заржала, и это ржание было самым лучшим утешением и приветом для Егорки за все эти тревожные недели его жизни в городе. Ведь это же та самая Игренюха, которая когда-то шла в пристяжках, когда он ездил в гости к бабушке в рудник Чудак!

Конюшня у Игренюхи, которую Василий содержал опрятно, была настолько хорошая, сухая теплая, что в ней захотелось Егорке даже самому поселиться. Спать можно зарывшись в сено: его было вдоволь, лежало оно на особых досках ввиде полатей над просторным стойлом.

С любовью и стараньем Егорка вычистил не только лошадь, согревшись около нее в работе, но и все в конюшне привел в хозяйственный порядок: перебрал, почистил, развесил сбрую и начал чистить снег даже вне конюшни, когда к нему незаметно подошла закутанная в большую фланелевую шаль тетка Акулина. Неожиданно и по иному прозвучал ее голос:

— Ну, вот и молодец!.. А то ведь это мне же надо делать. На лошадь-то уходит почти что половина его жалованья, а

продать не хочет... не хотит быть безлошадным. — Она понизила голос: — Без лошади-то ведь запьет он. Я и сама боюсь, как бы не продал. А то и телегу и сбрую завел. Теперь на сани копит денег.

Это было тоже удивительно для Егорки: тетка Акулина вдруг стала такой разговорчивой. И даже Егорку пожалела:

— Да ты чего тут-то скребешь? Это ведь не наша часть... Иди домой, замерз!

— Да нет, я даже нисколечко! — радостно отозвался Егорка, готовый делать что угодно и сколько хватит сил, только бы тетка не сердилась. Одно было плохо: руки мерзли, шерстяные рукавички где-то у бухарца затерялись. Там они и не нужны были. А теперь без них — просто беда.

В первую ночь дядя Василий домой не пришел — он только три ночи из семи в неделю спал дома. Пожарная служба строгая, и хотя зимой пожаров бывает мало, брандмейстер держал команду на чеку, да и те, кто не должен был дежурить, спали на большом сеновале, в случае чего — люди вот они, всегда готовы. В эту ночь Егорка спал вместе с Яшей на кровати, а Акулина на полу. Но в следующую ночь Лукич пришел ночевать домой. Он был усталым и даже сердитым. Ужинали поздно и сразу стали устраиватся спать. Яшу уложили на лавке, подставивши к ней два стула. Егорке постлали кошемку на полу. Железная печка с вечера горела жарко, а ночью вдруг все стало ледяным, и легкое одеяльце, сшитое Егоркиной матерью, стало еще легче. Халатик сверху не помог. И захотелось Егорке как-нибудь незаметно убежать в конюшню. Там бы он зарылся в сено, как бывало с братом Николаем на пашне, осенью под стогом часто спали. Но ночь была бесконечно длинной и все более невыносимой от холода. Долго дрожал, кутался, сжимался в комочек, ворочался с боку на бок, со спины на живот и никак не мог согреться. Лукич почуял, что Егорке плохо, встал с кровати, зажег лампу, укутал Яшу и бросил на Егорку какую-то одежину. Потом стал возиться возле печки ворча и негромко ругаясь: не разгорались сырые дрова. Подвал наполнился дымом. Дым согнал с постели Акулину — она тоже стала кутать Яшу и ругаться возле печки. Лукич ответил ей тем же, и в голосе его послышалось что-то угрожающе-знакомое, как в родной избе Егорки: нужда и холод также выростали в ссоры между отцом и матерью...

В жилище стало еще холоднее. Егорка выскочил из под своих укрытий, наспех обулся, оделся и выскочил на двор. Засунувши руки в рукава он через новые сугробы снега, под ударами все еще неутихшей бури, побежал в конюшню.

Там он обхватил Игренюху за теплую ее шею и, чувствуя особый, с детства знакомый щекочущий в носу запах лошадиной кожи, согрел под гривой свои руки... И вдруг заплакал, не зная почему и о чем. Было по хорошему тепло около лошади и стыдно перед «белым светом»: стыдно, что замерз, стыдно, что прогнали с должности и стыднее всего, что живет у бедного дяди Лукича, как приблудень. Плакал и не мог остановиться. Слезы бежали из глаз, по щекам, сначала теплыми, а к носу уже холодили и на халатик скатывались почти застывшими. Тогда, чтобы согреться, он в темноте нащупал щетку и стал ею скрести теплую шерсть лошади, поворачивая руки кверху ладонями, чтобы согревать наружную часть руки, но холод все больше пронизывал его, и даже сено казалось ледяным, а помет лошади под ногами был вовсе каменным. Егорка почистил из под лошади объедки сена и помет, руки совсем заточенели. Он сунул их под халатик и, услышав шум с улицы, особый скрипучий, зимний шум обоза, побежал из конюшни за обозом. Это был длинный обоз с сеном. В полутьме раннего утра обоз казался длинным рядом ползущих на брюхе мохнатых зверей.

Что произошло в душе мальченки? Что его толкнуло на побег за обозом сена? У него тогда не было времени разбираться. Его толкал мороз во власть наружного еще более острого мороза с вьюгой, и это было даже против животного инстинкта. Может быть, много лет спустя, он вспомнит малую подробность, толкнувшую его бежать из подвального жилища дяди. Это было сложно для маленького сердца Егорки, но это было ударом для его скрытого, еще не осознанного самолюбия: когда он одевался, а около печки наростала ругань между дядею и теткой — она корила его за то, что он купил сырые дрова, а он начал ругаться несдержанной, тяжелой руганью, — Егорка принял эту ругань на свой счет. Он искренне принял на себя вину за то, что было холодно, что дрова были сырые, что дядя и тетка живут беднее его бедных родителей, и ему стало их до слез жалко. И бессознательно в нем пробудилось чувство жертвы, до героизма вспыхнула в нем первая реши-

мость что-то сделать такое, чтобы спасти себя и дядю с теткой от унижения, какое он испытал в доме у своих родителей, куда ему теперь так не хотелось, так было страшно возвращаться. Там ждала его та же нужда и те же ссоры. Он не понимал, что та же нужда теперь толкнула его на побег быть может к большей нужде, но это был предел его первого отчаяния, из которого не было иного выхода.

Он уцепился сзади за один из возов и, всунув руки в мягкое, свежее, пахнувшее покосом сено, сразу почуял, что укрыт от острого ветра. Куда увозил его обоз, он еще не соображал, но наверное на базар, а не из города. Теперь он не потеряется. В крайнем случае он вернется, он найдет дорогу в пожарную команду и там согреется. А если будет ближе к постоялому двору Пальшиной, он добежит туда, и Анна Андреевна опять поможет ему найти работу, какую-нибудь работу, самую тяжелую, такую, чтобы сильно двигаться и согреться. Согреться — вот что было первою, самой острой мечтой Егорки. Но холод все сильнее обнимал его, проникал под жиденький халатик, иглами впивался в пальцы ног и в кисти рук. Обоз шел вдоль улиц долго. Стало уже светло. Держась за веревку, которой был притянут к возу бастрык,*) он побежал за возом, чтобы размяться, разогреться на ходу. Но в это время обоз остановился, и возле него появился заиндевевший мужик, весь закутанный в мех — на нем была доха из оленьего меха шерстью вверх и рукавицы из собачьего меха, тоже шерстью вверх, а большая меховая шапка с ушами сливалась с заиндевелой бородой, и из этой бороды, вместе с паром, вылетел глухой, еле внятный, но сердитый вопрос:

— Ты чего тут? — Из под белых, заснеженных инеем ресниц мужицкого лица смотрели белесые глаза: — Сено вытеребливаешь?.. — Мужик был опытный — утрами из возов на ходу городские мальчишки часто вытеребливали сено для своих коров или просто из озорства, и этот был застигнут прямо на месте кражи. Егорка как держался за веревку, так и не выпускал ее из посиневших рук. И застывшими губенками еле выдавил в испуге и обиде:

— Что ты, что ты, дяденька?.. Я... Я замерз!

*) Бастрык — короткая жердь, держащая сверху воз сена.

Мужик оглянулся: сена на дороге не было ни клочка, а в глазах мальченки были необсохшие, но застывшие на ресницах капельки слез. Мужик не понял, но не то поверил, не то пожалел, снял с руки теплую мохнашку и сунул ее Егорке.

— Надень, да нос-то вытри, — сказал он торопливо и теплою рукою, что оставалась без мохнашки, стал тереть Егорке побелевший, мокрый нос. — Чей ты? — спросил он с неожиданной заботливостью. Но Егорка не ответил. Ноги его совсем коченели, он стал на них пританцовывать, и посиневшее его лицо сморщилось от боли, а из горла сам собой вырвался надсадный, какой-то скрипучий, с провизгами, крик. На крик этот прибежал от передних возов еще мужик.

— Чего тут? Воришку словил?.. Вот это дело — пусть не пакостит...

— Да нет, — заступился первый мужик. — Парненок, слышь, замерз, а не говорит, откуда и чего с ним...

— Ты откуда? — закричал на него, как на глухого, второй мужик в то время, как подошел третий и, не слушая, в чем дело, твердо сказал свое:

— Митроха, полковнику три воза заворачивай. Эти, задние!

Но Митроха, первый мужик, остановил третьего:

— Тут, слышь, парненка замерзает. Вишь, посинел до смерти...

— Вороти, говорю, к полковнику! — настаивал третий, а второй поддакнул: — Да и парненка сдай полковнику, там на куфне отогреют...

Вот так вот и переступил порог теплой, пахнувшей чем-то очень вкусным барской кухни в городе Семипалатинске Егорка, сын Митрия, крестник и племянник пожарного служителя Василия Лукича. Но и это еще не вторая ступень Егоркиной жизни в городе. До второй далеко.

Но вот отогрели его и напоили горячим чаем с вкусными оладьями на кухне полковника. И сам полковник, вместе со старушкой в чепчике, пришли на кухню, после того, как сено с трех возов было сметано на сеновал, и полковник заплатил за него мужикам три целковых и три гривны — по рублю с гривенником за воз. Они пришли, уселись у стола допивать ранний свой чай с оладьями — был полковник старенький, небольшого роста, усатый и седой, на вид простой и без знаков отличия, даже не в офицерской шинели, а в

простом овчинном полушубке и в валенках. Допивали они чай, смотрели на стоявшего в уголку, у порога мальченку и допрашивали не спеша и без особого любопытства:

— Ну, вот и молодец, что рассказал все по порядку. Только говоришь ты, штемпельных дел мастер тебя расчитал, — прикусывая сахар и присасывая с него сладкую влагу — зубы у полковника были непрочные, и он примачивал сахарок в чаю — как же он мог тебя расчитать, ежели ты был во всем аккуратный мальчик, а? И как это так могло быть, что четвертную тебе дали отправить по почте, а ты не справился?.. Не было ли тут греха какого?.. Ну-ка скажи, как это так вышло, что хороший господин, Хабибула Хисматуллин — я его прекрасно знаю, он и мне печати делал... Ну-ка расскажи, как на духу... Не хотел ли ты с четвертной-то убежать к родителям, а?

Очень это был тяжелый допрос, и очень трудно было отвечать на все вопросы, но Егорка отвечал все так, как было, ничего не скрывая, и даже точно рассказал полковнику и полковнице и стоявшей у русской печи полнотелой кухарке, сложившей руки на животе на белом чистом фартуке, почему он никогда бы ничего и ни у кого не украл. Тут Егорка весь пылал от стыда и от тепла в жарко натопленной кухне, но рассказ его был правдив, так правдив и так точен, как правдива и точна была его мать, раз и навсегда наказавшая ему никогда не запинаться ни за что чужое. А почему это наказывала — была тому причина, тяжелая и самая позорная в Егоркином детстве: об этом то он и рассказал полковнику и полковнице и чужой бабе кухарке их всё, как было. И даже рассказал, как на духу, как тогда же впервые солгал и был за то наказан, чтобы никогда больше не лгать...

Полковник все чаще стал поглядывать на мальчугана, усы его обмакивались в блюдце с чаем, он их со вкусом обсасывал и, слушая, все пил чаек и пил, оладьями уже не интересовался, но сахарок мокал в чай и прикусывал, и видно было, что жил он в своем доме в свое удовольствие, и слушал случайного деревенского мальчонку уже с любопытством и охотой. И в промежутках запинок рассказчика, ободрял его словами:

— Ну, ну, ничего, говори, говори! Итак, значит, рядом с тобой в школе сидела дочка батюшки. Как имя-то батюшки?

— Отец Петр Серебренников, — докладывал Егорка и добавлял для точности: — а имя дочки его было Дуня. Она была старше меня на два года, а может и на три. Она уже могла писать по мелкому, а я только что в школу вступил. Мне было восемь с половиной. И вот, значит, остался я без обеда...

— Без обеда? — многозначительно повел мокрыми усами отставной полковник. — За что же без обеда?

— За смех... Я часто смеялся. Андрюша Зырянов, сын нашего купца, всегда смешил меня, а я не мог терпеть...

Так, так, — вставлял полковник, — смех и грех, а? Ну, ну, продолжай.

— Ну вот я, значит, смотрю, а в моей парте лежит ручка металлическая, красивая такая. Я даже тогда не подумал, что это ручка Дуни и, значит, взял ее.

— И, значит, взял ее? — повторил полковник, добродушно ухмыляясь в сторону жены-старушки. — Ну и что же? Унес домой и что же?

Тут у Егорки раскрылось сердце нараспашку — уж каяться, так каяться. Он и покаялся, чтобы все было ясно, чтобы всякий мог поверить, почему он больше никогда не мог ни лгать, ни что-либо украсть. Он не мог передать теперь, какой невыносимый стыд он пережил, когда все раскрылось перед родителями и перед учительницей и перед классом, а главное перед соученицей Дуней, но он думал, что «образованный» и благородный полковник поймет это без объяснений. Он передавал лишь сухой факт события:

— Дома, когда я принес ручку, я даже похвастался, что это мне благочинный за хорошие ответы по Закону Божию подарил...

— А-га-га! — Всхлипнул от восторга полковник. — По За-ко-ну Бо-жию! — И тут полковник опустошил последнюю чашку чая, перевернул ее донышком вверх на блюдце и резко встал из-за стола. Прекратил Егорка свой рассказ, хотя самого главного рассказать не успел, а ему так хотелось рассказать, как не поверила мать и приказала отнести ручку в школу и при всех все сказать учительнице... И он все это так и сделал, и пережил на всю жизнь позор воришки и лгуна, и никогда с тех пор ни за что чужое не запнулся и не запнется.

— А ну-ка позови кучера, Маланья, — приказал полковник и пошел внутрь дома, бросивши Егорке на ходу:

— Нет, сударик мой, работы у меня для тебя не найдется. А к дяде твоему я тебя отвезу. — Савраского пусть запрягут, — сказал полковник выходившей из кухни Маланье.

Егорка остался в кухне один. И вскоре из дома вышел полковник, одетый в шинель с погонами, в шапку с кокардой, а кучер подал ему саночки красивые, и возжи были синие, ленточные. — Странно было ехать рядом с полковником, и весело и жутко, потому что вез его полковник прямо в пожарную. Там сдал он мальчика не пожарному служителю Лукичу, а самому брандмейстеру, а тот вызвал Лукича, и тут, в присутствии брандмейстера, Егорка впервые в жизни понял, что первое его чистосердечное покаяние в детской краже оказалось вторым его позором и пятном, с которым никто в городе и быть может никогда не даст ему работы.

И только у дяди в подвальном жилище, не сам дядя, а тетка Акулина, выслушавши слезное повторение рассказа Егорки, вдруг разъярилась львицей:

— Да сам-то он должно быть вор неисправимый, коли этакую правду повернул на кривду! Да будь на его месте, я бы за такую правду серебром ребенка осыпала...

Понял тут Егорка, что тетка Акулина была озлоблена какою-то неправдой, и с тех пор полюбил он тетку Акулину, как родную мать. Понял это и сам дядя и крестный Василий Лукич. Спеша в пожарную команду, он сказал Акулине:

— Ну, ничего! Я на днях отпрошусь у начальника и буду сам ему искать какую ни-то легкую вакансию... На спичечную фабрику Плещеева, говорят, ребятишек принимают. Не унывай, крестник, не пропадем! Иди почисти и напой Игренюху. А мне надо бежать на службу...

Просветлел Егорка. Главное, что тетка Акулина может его потерпеть хотя бы несколько деньков. А работы он никакой не боится.

XVIII

В ЧУЖИХ САПОГАХ

КАЗАЛОСЬ бы, Егоркин мир должен был разрастаться. Он и выростал в его видениях, но по мере расширения видений, мир его как-то сжимался, оттачивался острым концом, который все чувствительнее проникал ко всему его существу — испугом. Ни он сам, ни дядя, ни тетка Акулина, не могли найти для него никакой «должности», никакой даже самой тяжелой работы. Уже третья неделя на исходе с тех пор, как в бурю и буран с песком он пришел в подвальное жилище своего крестного и дяди, Василия Лукича. Долго рассказывать все подробности о похождениях Егорки по городу с того дня, когда дядя возил его на своей лошади на завод Плещеева, шесть верст от города. Это был будничный рабочий день, но он казался для Егорки праздником: была уверенность, что на спичечную фабрику Плещеева, только что открытую, набирают мальчиков и девочек-подростков. Работа легкая, стоять у какой-то машины и заклеивать коробочки со спичками. Шесть рублей в месяц на своих харчах, но помещенье будет при особой школе, которая открывается для бедных детей рабочих. Тут особенно Егоркино сердчишко прыгало от волнения: работать и учиться и шесть рублей — значит — *шестьсот* копеек в месяц!.. Трудно было поверить, что это может случиться, и потому, когда этого не случилось, это не было таким отчаянием для Егорки, каким был ежедневный, почти ежечасный страх перед будущим. Чем ближе к весне, тем вероятнее наказание — возвращение домой. Это будет тем более тяжким наказанием, что, помимо издевательства старшего брата Николая и прочих задир, он должен будет вернуться домой в истрепанных, исхоженных по городу сапогах, а сапоги-то ведь чужие... Сапоги это Мати (Матвея) Вялкова. Пока он только о том и думает: сапоги чужие и сапоги на износе; сапоги, сапоги

— вот в чем теперь все Егоркины думы, весь его свет и вся безнадежность.

Итак, напрасно он с дядей с утра до полудня дожидался на спичечной фабрике управляющего, доктора Гизлера: в золотых очках, — видный такой, чернобородый доктор. Впервые в жизни Егорка видел доктора, в черном пальто с меховым воротником и в черной же меховой, с козырьком, шапке. Доктор медленно поднялся на второй этаж фабричного здания и долго не выходил к ожидавшей его толпе жаждавших работы. Подростков было мало, но меньше Егорки ни одного не было. Шел дождь со снегом, и рабочие стояли под карнизами, так что Егорка, приподнявшись на цыпочки, мог заглянуть внутрь здания, где шумели машины, и он видел возле одной из них двух мальчиков босиком... Значит, там тепло и можно работать босиком, а сапоги беречь для ходьбы вне фабрики. Это делало мечту получить работу именно на этой фабрике особенно приятной. Но когда вышел доктор Гизлер и что-то негромко сказал первому ряду прихлынувших к нему рабочих, наступила тишина. Не сразу после отхода доктора к своему экипажу поняли, что работы ни для взрослых, ни тем более для подростков, нет. Дядя Василий был особенно опечален и, не сказав Егорке ни слова, обнял его за плечи и повел к своей телеге. Сжалось у Егорки сердце, когда он по дороге еще раз внимательно осмотрел свои сапоги: на правом носке была дырка. Это он проткнул гвоздем на тротуаре, на Большой Владимирской улице, где все горожане ходять по узким досчатым тротуарам... Слово-то какое городское: тро-ту-а-ры!! С тех пор Егорка по доскам тротуаров старался не ходить, не только потому, что боялся опять наткнуться на высунувшийся гвоздь, но и потому, что ему, деревенщине, было неловко мешать горожанам, особенно когда шли двое вряд, нарядные и особенные горожане. Надо было все равно сходить с досок и идти по земле. Так он и ходил после поездки на фабрику еще целую неделю. Это была суббота второй недели Великого Поста. Был полдень, когда он опять на Большой Владимирской улице над входом в один из домов увидел большого, темного двуглавого орла. Этот орел потом запомнился ему на всю жизнь, как поворотный пункт во всей его судьбе. Орел был из какого-то металла и очень широко распростер свои крылья, а в самой середине, у груди, краснел образок — Егорий Храбрый мчался

на белом коне и поражал красного змея, раскрывшего пасть навстречу копью. Было страшно на него смотреть, но и увлекательно. Ловко Егорий угодил дракону прямо в пасть копьем. Вот потому и Храбрый. Дома у них на божнице есть Егорий, но икона давно почернела, и змий там маленький, того легче поразить, а здесь все такое большое, главное же, орел такой огромный и черный, висит над самым крыльцом, а под орлом отчетливо, золотыми буквами, крупно значится только одно слово: АПТЕКА, а потом маленькими буквами и серебром: Александра Гавриловича Ансеева.

Зайти? Спросить? Нет, страшновато! Обошел дом, полутораэтажный и серый. Сразу же налево переулок, а из переулка открыты ворота в обширную ограду. Остановился у ворот, засмотрелся: внутри малого роста киргиз только что запрег пару лошадей в хорошую коляску и, обходя ее, гладил лошадей, поправлял на них сбрую и что-то по-киргизски говорил с собой или с лошадьми. В каретнике была еще коляска попроще и еще стояла лошадь. Каретник и конюшня под одной крышей казались большим зданием, а справа, в углу ограды, новенький отдельный домик, из которого в это время вышел мужчина без шапки, в одной жилетке поверх клетчатой рубахи и в белом фартуке, не то сапожник, не то повар. Он был светло-русый, и бородка его светилась свежим молодым пушком на солнце. Глаза были прищурены, когда тонкий, как у женщины, голос окликнул в сторону Егорки:

— Тебе чего?

Егорка сразу не нашелся, что сказать. Он даже и не думал ни о чем в эту минуту. Он думал о киргизе: уж очень похож на Тютюбая. Но отступать было уже поздно, и он смело шагнул навстречу мужчине, который в это время вытирал свои руки концом фартука и дожевывал последний кусок наскоро съеденного в кухне обеда.

— Я вот... это... ищу места, — с заминкой безнадежности сказал Егорка. Должно быть, вид его был очень жалок, и в глазах были невольные слезы, потому что, не вслушиваясь в значение его слов, мужчина крикнул по направлению кухни:

— Ксюша, покорми-ка паренька, — и он толкнул Егорку по направлению кухни таким хорошим приветливым толчком, что сразу стало хорошо. Егорка постарался по дороге в кух-

ню скрыть свои слезы под внезапной и тоже невольной улыбкой радости. Мужчина же спешил в дом, и вскоре с заднего крыльца дома послышался его приказ киргизу:

— Подавай к парадному!

Киргиз кучер быстро прыгнул на козлы экипажа, и лошади, блестя гладкими. сытыми крупами, обе гнедой масти, как одна, красиво тронулись с места. И показалось Егорке, что киргиза этого он точно знает. Неужели это Тютюбай? Но он пока не смел об этом даже спрашивать — кучер даже и не взглянул в его сторону.

По деревенской привычке, Егорка, войдя в кухню, поискал глазами красный угол и, увидав икону, быстро сдернул шапку с головы, перекрестился и сказал, как это полагается хорошо воспитанному мужичку:

— Здравия желаем всем крещеным! — И хотя в опрятной новенькой кухне всех крещеных была одна женщина с возвышеным животом, ей, видимо, понравился маленький гость в коричневом деревенском халатике и с шапкой в левой руке. Она усмехнулась так, что на ее веснущатом лице появились нежные, молодые морщинки удовольствия, и ответила также попросту, по деревенски:

— Здорово ты живешь. Проходи, садись, гостем будешь!

Со стола еще не была убрана посуда, и то, как женщина заспешила ее убрать со стола и приготовить для Егорки чистую посуду, а главное то, как она взяла из его руки и положила на лавку его шапку, повеяло на Егорку чем-то родным, домашним.

— Садись, садись, — повторила она, видя его нерешительность и не совсем обычную для такого возраста обходительность и скромность. Поставивши на стол тарелку с дымившимися наваристыми мясными щами, она взглянула на Егорку пристальнее и не удержалась, погладила его по мягким белокурым кудерцам на непричесанной голове. Егорка вспомнил, что под шапкой волосы его должны были взлохматиться, достал из кармана штанов маленькую, сломанную гребеночку и причесался. Сделал он это быстро, как бы украдкой, и это еще более растрогало женщину. А в это время вошел мужчина в фартуке.

Егорка встал с места при его входе, и вышло это опять не по ребячьи деликатно. Мужчина быстро подошел к нему и тоже погладил по кудеркам.

— Ну, садись, садись, да кто-откудова скажись, — голос у мужчины был теперь гуще, но все же мягок и звучал не по отечески, а по матерински.

Егорка сел и носок сапога с дыркой прикрыл другим сапогом так, чтобы не было видно дырки. Но мужчина дырку заметил, и может быть эта именно дырка и была началом новой жизни Егорки. Мужчина ничего не сказал, он только строже посмотрел на мальчика, и голос его зазвучал уже не по женски, а по мужски:

— Ешь, ешь сперва! — Он понял, что паренек какой-то особенный и пожалуй, не будет есть, если его спрашивать. Поэтому мужчина переменил разговор. Он обратился к жене:

— Выехала наша барыня. Я ей говорю: да ведь обедня-то давно отошла. А она мне: исповедываться никогда не поздно. Значит, завтра, в воскресенье, причащаться решила. — Он опять ушел из кухни так же торопливо, как пришел, и видно было через окно, как он нырнул в подвал под большим домом.

Когда он вернулся, Ксюша передала ему в двух словах весь свой допрос Егорки. Но муж все же кое-что переспросил. Егорка отвечал кратко, просто, стараясь не повторяться при Ксюше, а новыми словами.

— Да что же, грамотный, что ли? — догадался мужчина. Егорка скромно ответил:

— Немножечко.

— А ну-тко, сними сапог-то, – приказал мужчина просто и прибавил: — Меня зовут Герасим Иваныч. — И вышло так, что в этом имени было какое-то как бы принятие Егорки вот в эту малую семью из двух. Егорка понимал, что будет кто-то еще, может быть скоро должен родиться от Ксюши. Он и нянчить готов. А Герасим Иванович с сапожком Егорки быстро вышел, на этот раз исчез в каретнике. Там он был, казалось, очень долго, и было неудобно говорить с Ксюшей, будучи в одном сапоге. Он неловко молчал и был доволен, что Ксюша не задавала ему вопросов, а убирала со стола посуду и все поглядывала через окно в сторону каретника. Оттуда раздавался легкий стук молотка и даже как будто веселая песенка. Там явно решалась судьба Егорки.

Когда же Герасим Иваныч вернулся с сапожком в руках, он задержал его, рассматривая и разглаживая ногтем ловкий, едва заметный шов на носке и заново подбитый каблук, ска-

зал: а ну-ка, дай второй-то, чтобы не хромал. — И ушел со вторым в каретник. И так же напевал и стучал там молотком. И был там, на этот раз, казалось, еще дольше.

Когда принес, достал сапожную щетку и, подав вместе с сапогом Егорке, приказал:

— А ну, почисти. Умеешь чистить? А я пойду к хозяину. — И ушел в самый дом.

Ни о чем пока не думал Егорка. Весь его мир теперь был в сапогах. Они еще не знали ни щетки, ни ваксы, и после чистки блестели, как новые, и это было так хорошо, что не надо было говорить о радости. Она светилась в серых, любовавшихся сапогами глазах паренька. Но Ксюша нечто поняла и сказала полушопотом:

— Погоди, он чтой-то задумал. На твое счастье, барин сегодня дома. Рафаил-то Маркыч по субботам на прогулку идет, а барин сам-один в аптеке.

Долго был в доме Герасим Иваныч. Потом, когда пришел, заторопил:

— Ну, иди, пойдем к барину!

Поднялись они по черному ходу в чистый просторный коридор, а из него вошли в светлую аптеку, ударившую по носу Егорки такими приятными запахами: никогда он таких еще не нюхал. Сам Ансеев стоял у прилавка и, наклонившись, что-то размешивал в маленькой фаянсовой чашечке таким же фаянсовым пестиком. Был он крупный, полный, с черной небольшой бородкой и задумчиво сопел от полноты и усердия. Видно, что не любил он заниматься этим делом, но должен был, когда его помощник (сам он был провизор) выходил на один день в неделю. Он не оглянулся на вошедших, пока Герасим Иваныч, прокашлявшись, не произнес:

— Вот, привел я его, Александр Гаврилович! — Егорка понял, что барином хозяина зовут заочно, а лично — по имени и отчеству. В этот момент Ансеев взглянул на Егорку искоса и мимолетно и, продолжая сопеть, лениво процедил:

— Ну, что-ж. Где ты его спать будешь укладывать? — Он помолчал: помолчал и Герасим Иваныч. Ансеев, соскребая мазь в чашечке особым шпаделем, еще ленивее прибавил: — Жена-то у тебя, Герасим, должна скоро родить. Неловко будет вам втроем-то... — Теперь он вытер мягкою бумажкой руки, повернулся и грузно зашагал в коридор и по коридору

к выходу. Там перед черным входом, в углу, за перегородкой, была кладовка, наполненная ящиками, узлами белья и всякими коробками. — Вот, разбери тут все. — Он смерил глазами рост Егорки и так же лениво и без улыбки прибавил: — темновато, зато тепло ему тут будет и как раз по росту. — И пошел в аптеку.

Все это было так нежданно-негаданно, что Егорка даже не догадался, не успел вставить словечка, а главное вышло так, что он не поздоровался с хозяином и молча наблюдал, как Герасим Иваныч разбирал вещи в кладовке и быстро уложил их так, что сразу же образовалас лежанка.

— Вот, — сказал он, — тут ты будешь спать. А теперь пойдем, покажу тебе, что делать.

Они спустились по той же лестнице в подвал. Это был обширный, но полутемный подвал с лавками по стенам, с большим столом посередине, с какою-то машиной и множеством бутылок малого размера. И тут же на столе были пачки этикеток с напечатанными словами, разного цвета. Розовым значилось: «земляничная», желтоватым — «яблочная», а зеленоватым — «лимонная». и на каждой этикетке по мелкому было напечатано еще: «Завод фруктовых и шипучих вод А.Г.Анеева». Герасим Иваныч налил из особой бутыли в одну из бутылок маленький стаканчик-мерку сладкого земляничного сиропа, подставил горлышко бутылки под особый кран, наступил ногою на педаль, и что-то зашипело, а потом тут же бутылка запечаталась.

Герасим подал бутылочку Егорке и сказал твердым наставительным тоном:

— При мне всегда и сколько угодно можешь пить, а без меня — чтобы ни одного глотка. Понял?

— Понял, ответил Егорка покорно и чуть слышно. Но не знал, что делать с бутылкой. Он не решался пить, да и не до того ему было. Он и так был подавлен счастьем и даже не хотел верить, что так случайно и так счастливо он устроился. Он не спрашивал и не думал, будут ли ему платить какое жалование. Но Герасим Иваныч, мастер фруктовых вод, сам открыл бутылку, отлил немного в стоявший тут же стаканчик, отпил для пробы и подал стаканчик и бутылку Егорке. И дал последние инструкции:

— Видишь ли, жена у меня в тягости — это было ее

делю мыть бутылки, а теперь ты это будешь делать. С нее хватит стряпать для господ и для нас с тобой. А ты будешь мыть эти бутылки. Я научу тебя, это не трудно. Потом, когда я их наполню, ты будешь наклеивать вот эти тикетки. Только не смешай, я буду тебе отдельно ставить, куда какую наклеивать. Понял? Три рубля тебе будут платить в месяц и харчи, и жить будешь в тепле. Только чтобы все тихо и все честь-честью. Понял?

— Так точно, — с невольной хрипотой в голосе, но по солдатски лихо, отозвался Егорка.

— Ну, вот и хорошо. Кучер приедет, я скажу ему, он с тобой за пожитками твоими съездит. Сапоги трепать не надо.

...Кажется, никогда после, в течение долгой жизни, Егор не переживал такого волнения и такой гордости, как в тот час, под вечер, на закате мартовского дня в степном городе Семипалатинске, когда ехал на паре полукровок с кучером Тютюбаем, да, с тем самым, с другом Тютюбаем, с которым еще прошлою весной они ходили в леса, в верховья реки Убы, — ехал в блестящей барской коляске в бедный пригород к тетке Акулине. Перед тем, как сесть в коляску, было у Егорки мгновенное чутье — не послушаться кучера, указавшего ему место на барском сиденьи, а влез он на козлы рядом с кучером и с этого момента завоевал сердце кучера тем, что не поставил себя в разряд выше кучера. Поэтому кучер Тютюбай, не узнавая Егорку, в тот же вечер удостоил его высшего доверия. Он тайно, одним пальцем поманил его на лесенку, ведущую на сеновал. Там у Тютюбая было жилище. Тут среди душистого сена он спал зимой и летом. Тут у него висело красивое киргизское седло, уздечка под серебряным набором, тяжелая плеть с костяною рукояткой и всякие халаты, ременные пояса, легкие сафьяновые ичиги (род легких сапог без каблуков), а главное — на гвоздиках под балками висело несколько тюбетеек. Они были все малинового цвета, но расшиты серебром и золотом, и Тютюбай надевал их на бритую голову попеременно и почти в каждую из особого флакончика обильно брызгал одеколоном. Пахло на сеновале замечательно хорошо, а так как Тютюбай не умел хорошо все объяснять по русски, то он крякал, цокал языком, всевозможными жестами выражал полное и безграничное благополучие жизни. Это же прибавляло счастья и для Егорки. Только бы не

потерять, только бы не пролить, не проспать чего-либо из этих дней начала его новой, самостоятельной весны.

И тут же на сеновале Тютюбай хорошо, с прищуркой, всмотрелся в Егорино лицо и спросил полушепотом:

— Ти Егорка, шево ли?

Егорка обнял Тютюбая прямо за шею, как давно потерянного, но вот нашедшегося, братца и, не сказавши ни слова, спрятал радостные слезы.

XIX

ЕГОРКИНО СЧАСТЬЕ

Так вот, Егорка закрепился в Семипалатинске, областном, значит — губернском городе. Если бы позади этого города не было соснового бора, широкой полосой уходящего вглубь Бельагачских равнин, желтые пески давно бы погребли эту одноэтажную деревянную столицу прииртышской Киргизии.

Восточный облик города определяли не только вонзившиеся в небо острые минареты и караваны верблюдов, тянувшихся по узким песчаным улицам или лежавших живыми, шерстистыми «барханами» на площадях базаров, но и само население, которое было азиатским. Среди опрятных татар и изысканных бухарцев и сартов, отличавшихся особой белизною лиц и чернотою шелковистых бород, чернолицые монголовидные киргизы преобладали. Здесь было много и прочих кочевых народов, частью ставших оседлыми, а большей частью мимопроходивших, как пески пустыни. И среди всей этой массы разноликой Азии, русские лица, русские одежды и дома почти терялись. Только казачья, западная часть города хранила твердые черты станичного уклада и утверждала здесь прародительскую Русь. Но те немногие высокие, белокаменные казенные здания в центре города, большой белый собор в одном конце города и серый корпус губернской тюрьмы в другом, занимали командные посты и были порукою в том, что невидимая рука Великороссии была здесь правящей и уверенно-хозяйской.

Вблизи от казенных зданий разросся торговый центр с несколькими магазинами; между этим центром и широко раскинутым базаром строился новый каменный собор.

Егорка, как-то проходя мимо, увидел, как десятки его сверстников на особых деревянных станках, которые наце-

плялись на их хрупкие плечи, носили кирпичи наверх. По шесть, по восемь, а некоторые и по десять кирпичей накладывали на станки, и согнутые тяжестью малыши, как вереницы муравьев тянулись по извилистым деревянным лестницам наверх загроможденной лесами постройки.

Это был наглядный урок для Егорки. Некоторые мальчики были меньше и слабей его и все-таки таскали кирпичи. И он так может, если, не дай Бог, его прогонят с легкой работы — мытья бутылок в подвале аптеки Анеева. Нет, он теперь не потеряется в этом большом городе. Он будет таскать кирпичи.

И он старался закрепиться тем, что мыл бутылки чище, быстрее, делал все, что скажут, быстро и охотно. Большое это было счастье — иметь работу, горячий сытный харч, теплый уголок для ночлега и три рубля жалованья в месяц.

Большой это был город для Егорки, большими казались ему все дома в сравнении с убогими избушками родного села: все было большое, все восторгало и все-таки пугало. Один он тут, одинешенек. Дядя Василий только раз приходил на минутку. Да сам однажды в воскресенье ходил к тетке Акулине. Далеко это, по пескам идти.

Первый месяц мытья бутылок приходил к концу. Егорка волновался ждал, верил и не верил: неужто в самом деле он получит сполна и сразу — три рубля, нет — больше: триста копеек!

В его каморке под лестницей было темно днем так же, как и ночью, так что утром трудно было не проспать. Но он не просыпал.

Вставши рано, он бесшумно одевался, обувался, на цыпочках прокрадывался к выходу на широкий двор и возле кухни умывался из висящего на цепочке рукомойника. Утирался на дворе, а причесываться и помолиться шел опять в свою каморку. Там было после утреннего света еще темнее, но он привык, наощупь знал, где что лежит, приводил себя в порядок и снова выходил в ограду и ждал на кухонном крылечке, пока его не окрикнут завтракать. Там его приветствовал улыбкой Тютюбай. Ели в кухне трое: Герасим, его жена Ксюша — Аксинья тож — и Егорка, а Тютюбай уносил свой завтрак и обед в каретник, а если приходилось есть на кухне, то за общий стол не садился. Егорка понимал: он некрещеный.

Лицо у Ксюши за этот месяц еще гуще усеялось веснушками, но это ничего, улыбка ее была так же ласкова. Новый фартучек, который она сшила для Егорки, казался ему еще дороже, потому что она два раза приходила в подвал, чтобы примерить фартучек по росту и по поясу, хотя Герасим и берег ее и часто повторял:

— Не прыгай, ты же в тягостях!

Герасим не скрывал тревоги за жену, но не скрывал и радости:

— Еще до Троицы «оно» какое-то там явится: «точь в точь — либо сын, либо дочь!»

Раз в неделю, по субботам, Егорка из своей каморки слышал многоголосый шум и говор в доме, часто далеко за полночь. Это значило, что у хозяина собиралась, как говорил Герасим, «компания политических». Ели, пили, играли в карты, кричали на разных языках. Егорка многого не слышал, многого не понимал, но от Тютюбая узнавал, что эти политические – «джаксы», что значит: добрые. Кучер развозит их по домам и говорит о них с почтением, которое Герасим объясняет по своему:

— Да, они ему на водку хорошо дают!

Однажды Егорка и сам узнал, что политические люди добрые. Один из них, старый и хромой пан Панкевич, обычно уезжал домой с Тютюбаем. Но случилось так, что Тютюбая не было, он на полукровках увез куда-то старую барыню. И Егорка с успехом на охотничьих дрожках отвез хромого барина.

— А ну, добре, хлопчик! — сказал пан Панкевич, когда сошел с экипажа, и протянул Егорке нечто блестящее. Это была серебряная монета — двадцать копеек. И это было как раз накануне получки им жалованья, когда его письмо родителям было уже написано, а на конверт и на марки денег не было. И вот — двадцать копеек серебром! Егорка понимал, что если бы пан Панкевич и ничего не дал — он его плохим бы не считал, но чтобы дать двадцать «ни за что» —надо быть хорошим.

В работе Егорка старался. Теперь он умел уже закупоривать бутылки пробками, закреплять их, наклеивать этикетки, укладывать бутылки в ящики.

Просто и неожиданно, за три дня до срока, получил Егорка первое жалованье. Герасим Иваныч принес деньги, оказывает-

ся, к обеду, да забыл в кармане и передал их только за ужином. Егорка взял сложенную вчетверо зелененькую, новенькую трехрублевку и не решился развернуть и разсмотреть ее, как следует. Стеснялся при других. Только у себя в каморке, в темноте, где ему не позволяли зажигать ни лампы, ни свечки, развернул, погладил рукой — хрустит, гладенькая, пахнет обновой.

Только на другой день утром, на заднем крыльце, рассмотрел, и ни за что не назвал бы это бумажкой. В ней было что-то красивое: орлы и радуга, а цифра «три» была полна какой-то тайны. Нарисовано: три, а в ней три-иста копеек!

Разделил это на вещи. На базаре видел новую рубашку, с узором по воротнику — двадцать пять копеек. Штаны новые висели — хорошие — шестьдесят копеек. От рубля останется еще пятнадцать копеек. Пояс лакированный можно купить. Как раз рубль выходит, вот какой он — «рубль серебром». Останется еще двести копеек — родителям к Пасхе. И вдруг испугался. Сапоги то он *чужие* донашивает. Нельзя!.. Стараться надо, работать хорошо, чтбы не просыпать. А эти все отцу и матери! Нельзя себе! Нельзя!

Днем Егорка заметался. Три рубля еще одну ночь проспали у него под подушкой, а днем он их оставил в своей каморке, спрятал так хитро что вечером сам забыл, где положил, потому что несколько раз менял места. Надо скорее их послать отцу. Письмо написал в подвале, украдкой, своим карандашем и на своей бумаге на листке из старой тетрадки. Но не было конверта.

Герасим Иваныч за обедом спросил:

— Ну, как, обновы к Пасхе будем покупать?

Егорка не сразу понял.

— Аль деньги в банк положишь?

Егорка понял и ответил деловито:

— Отцу я должен послать.

— Должен? — удивился Герасим. — Все три рубля?

— Ну, а как же? Там нужды больше. Только вот конверта нету. — И Егорка достал из кармана штанов помятое письмо.

Герасим Иваныч сходил наверх. Конверт, перо и чернила попросил у Рафаила Марковча.

Герасим Иванович хмурился. У Егорки всего две рубашки, да и те дырявые. Аксенья недавно выстирала одну, и сама

пришла в подвал, чтобы заодно другую выстирать и починить. Егорка снял рубашку, застыдился, и потом сидел в подвале в одном фартучке, с медным крестиком на шее, который держался на пожелтевшей, тонкой ниточке. И вот этот самый Егорка посылает все свои деньги отцу!

С удивлением смотрел Герасим на Егорку, когда тот писал пером адрес на конверте. Завидно было видеть, как такой «курнос», «аршин с шапкой», может выводить на бумаге штучки-закорючки, да так быстро, что твой сельский писарь. Герасиму уже под тридцать, а так не может. Знает цифры, может печатное по складам прочесть, подписать свое имя, а так не может. Прямо удивительно! Настолько было удивительно, что не поверил Герасим Иваныч, что письмо дойдет. Боялся он за Егоркины деньги. Взял конверт, в который были вложены деньги и письмо, подул на влажную надпись и сказал:

— А ну-тко, слышь, пойду я, покажу Рафаилу Марковичу, что ты тут накуролесил?

Ушел наверх и долго не возвращался. Егорка мыл бутылки, волновался, слушал. Но вот послышались шаги на лестнице. Герасим спустился в подвал.

— Пойдем! — коротко, но твердо приказал Герасим. Егорка оторопел.

Как будто что-то совершил нехорошее и должен дать ответ там, наверху, куда ему до сих пор все пути были заказаны. Даже по коридору до аптечных комнат не решался приближаться. На ступеньках подвальной лестницы он нагнулся и при помощи пальцев высморкал нос, но вытереть руку о чистый фартук не посмел. Вытер о штаны, как это делал его отец.

Когда шли по коридору, свет из окна с улицы больно ударил по его глазам, а когда вошли в самую аптеку, то свет лился из всех окон; Егорка прищурился и не сразу разглядел стоявшего спиной к нему молодого человека. До сих пор ему не приходилось близко видеть Рафаила Марковича. Когда тот повернул к нему свое румяное с черными усиками, лицо, Егорка широко раскрыл глаза. Так вот он какой Рафаил Маркович, помощник провизора! Если бы не усики — подумал бы, что перед ним стоит красная девица в мужской одеже. Волосы длинные, почти до плеч, лицо белое, брови тонкие, ресницы длинные. Большие карие глаза немножко косили и оттого взгляд его казался грустным. Подкручивая черные усики, Рафаил Мар

кович взял с прилавка Егоркино письмо и показывая его Егорке, тронул его белокурые вихры на голове и спросил:

— Ты это *сам* писал?

— Сам, — еле слышно и виновато сказал Егорка и опять прищурил глаза. После подвала, больно светло было в аптеке.

— Ну, так ты хорошо пишешь! — сказал Рафаил Маркович и потрепал тем же письмом Егоркино плечо.

Очень понравился Егорке помощник провизора. Не потому, что похвалил за письмо, а просто потому, что сразу показался он ему хорошим, а главное, красивы были у него глаза — чуть с прикосью, красивы той же самой грустью, какая была у Егоркиной матери, когда она пела «задумные» песни.

— Ну, отправляй письмо! — сказал Рафаил Маркович и заглянул в незапечатанный конверт, не вынали бы деньги. Егорка даже позабыл, что деньги были в конверте.

Письмо с тремя рублями поехало на почту на охотничьих дрожках. Герасим Иваныч хотел сам видеть, что письмо будет сдано правильно и под расписку, без ошибки и сомнения. Он лично знал начальника почтовой конторы, бритого старичка с черной узкой повязкой через левый глаз. Начальник бывал у Ансеева с политическими, играл в карты. Герасим угощал его лимонадом. Обходя других чиновников, Герасим прямо подошел к начальнику, что-то пошептал ему. Тот посмотрел на Егорку одним глазом и сам надписал на конверте: «*Денежное, со вложением — трех рублей*». Сам разогрел над горящею, оплывшей свечкой красный сургуч, наложил на обратной стороне конверта пять печатей и сам выписал расписку.

Широко разлился Иртыш. В синей дымке апрельского тепла просыпались степи. Через город днем и ночью проносились стаи диких птиц и разлетались по лугам и озерам. Весна стояла светлая, без длительных дождей. Зазеленели пустыри и задворки в городе. Распускались первые листочки в садике с беседкой, у Ансеева.

В Великий Четверг за завтраком Герасим Иваныч сказал Аксинье:

— Ксюша! После обеда барыня сама со мной поедет на базар и в кондитерскую Арбузова. Ты с ней не спорь. Что скажет, то и будем делать. К ним разговляться все политические соберутся. Мы с Егорушкой тебе поможем! — Так и сказал впервые: с Егорушкой. До слез сугревно.

Начались приготовления к Пасхе. Аксинья, Герасим Иваныч, Егорка, Тютюбай — все измотались в хлопотах. Напекли, нажарили, навезли цветов, начистили посуду и серебро, нагладили скатертей, вынесли ковры из дома, выхлопали, вновь внесли, разостлали. Накрасили груды яиц. Куличи, торты, мазурки, «баум-кухены» (особые, немецким способом выпеченные высокие, как готические колоколенки, самые вкусные торты с пустотой внутри), — все это в субботу было бережно расставлено на столах вперемежку с жареными поросенком, гусем, окороком, с душистыми гиацинтами в центре, с батареей легких и крепких вин, наливок, водки вдоль стола. Еще ночью десятки гостей, прямо от заутрени, а многие и из своих домов и квартир, придут и будут наслаждаться всем, что на столе у гостеприимного, бывшего богатого помещика Анеева.

Старая барыня, обычно скупая и сварливая, на Рождество и на Пасху разоряла сына, но сама уезжала к заутрене в собор и оставалась там до окончания литургии. Для освящения же куличей, яиц и сырной пасхи, посылала в ближайшую церковь Герасима, чтобы к разговенью сын имел все освященное. Анеев в церковь ходить ленился, но куличи и пасхи обожал и угощал всех, кого он знал и кого не знал. Друзья политические приводили с собой изголодавшихся дворян, недоучившихся студентов и всех, кто «стригся под Бакунина». Оргия кончалась до возвращения старой барыни из собора, и лишь некоторые гости, не в меру выпившие и неспособные к передвижению, спали, где придется. Герасим называл эти собрания «тарарамом», потому что в доме был полный хаос, как после погрома. Сам Анеев, зная все это заранее, пил мало, комнату матери запирал, оберегая от случайного вторжения, а свою предоставлял гостям. Сам же уезжал, с рассветом, на охоту, наказав Герасиму:

— Смотри, пожалуйста, чтобы пожару не наделали!

Герасиму, Тютюбаю, Ксюше и Егорке, конечно, было не до праздника.

Аптека в этот день была закрыта. Рафаил Маркович имел в эту неделю два выходных дня: субботу и воскресенье.

Для Егорки не было ни времени, ни случая пойти к заутрене, да и не в чем было идти в церковь. Штанишки с дырками на коленках в будни закрывались фартуком, а в праздники он редко выходил на улицу. Поэтому и к дяде с теткой не ходил. В часы редкого праздничного досуга он забирался в каретник,

садился в свободный экипаж и, чувствуя себя удобно спрятанным, жадно читал книжку с картинками — Андрюшка Зырянов еще дома дал за всякие услуги — о Робинзоне Крузо. Ой, как хотелось ему всю книжку до конца прочесть, но читать не удавалось, да и нехорошо было прятаться. Иногда его кличут, а он, зачитавшись, не слышит, будто не хочет откликаться. Читает, прислушивается и не все понимает. Надо снова перечитывать.

Вечером в Страстную Субботу вышло вот как: Герасим Иваныч наготовил две корзины с пасхами и куличами для освящения у заутрени. Сказал Егорке:

— Ты мне поможешь пасхи святить.

Егорка начистил поношенные, много раз чиненные сапоги. Попросил у Тютюбая нитку и иголку, зачинил дырки на штанах. Рубашка была чистая. Но только что он явился в кухню, чтобы нести корзины, Ксюша сердито приказала:

— Ну-тко, снимай штаны. Вот тебе новые. — И на ходу бросила ему новенькие. Пахло от обновы праздником и счастьем. И только что он нарядился в новые штаны, вошел Герасим и подал ему сверточек: рубашка, как раз такая, желтоватая, с вышивкой по вороту и на груди которую он сам мечтал купить за двадцать пять копеек. Только эта побольше, наверное, дороже.

Когда Герасим, без фартука, в новом пиджаке, в брюках «навыпуск» и в новом картузе, и Егорка вышли из ворот, у парадного подъезда стоял блестящий фаэтон, запряженный парою начищенных, наряженных в лучшую сбрую полукровок. Тютюбай ходил вокруг лошадей, поправляя их гривы и хвосты. Длинный для его роста кучерский кафтан волочился по земле. Все было готово для торжественного выезда старой барыни в собор. Одетую в пышные, шуршащие шелка старенькую мать Аисеев сам, под ручку, выведет и проводит до собора. Он побудет у заутрени только до крестного хода. Он не богомольный. Вернувшись домой он будет встречать и угощать гостей. Тютюбай, доставив барина домой, будет носиться на лошадях по городу до самого утра, привозить и увозить этих знатных дам, нарядных барышень и почтенных стариков. Только к окончанию литургии Тютюбай снова подъедет к собору, из которого старушку выведет и усадит в коляску сам потомственный, почетный польский пан Панкевич.

Так, направляясь с корзинами в другую, ближайшую, церковь, объяснил Егорке Герасим Иваныч. Он же рассказал о церкви, в которую они шли:

— Это называется Плещеевская церковь. Купец Федор Петрович Плещеев выстроил. — Голос Герасима хрустнул в полуусмешке, когда он повторил ходившую по городу шутку: — Это тот самый купец, который для этой церкви из Москвы, по телеграфу, выписал *резонанс*.

Егорка не понял. Едва ли и Герасим понимал смысл шутки, тем более, что толпа идущих в церковь сгущалась, говор народа нарастал по мере приближения к церкви. Все что-то несли, все были радостно взволнованы, и в темноте ночи уже ликовало торжество из торжеств.

Новым с головы до ног, и новым изнутри, почуял себя Егорка, когда они подходили к храму, вокруг которого горели и дымили жировые плошки и который величавой белизною возвышался на крутом берегу, над бушующей внизу рекою.

В непрерывный шум широко разлившегося Иртыша врывались голоса: мужские, женские, детские. Люди подходили со всех сторон, все новые, нарядные. От женщин и девушек веял душистый ветерок. Их голоса звучали нежной, материнской песней. Только мать Егорки могла сейчас разделить с ним то, что он переживал. Только она могла понять, что значит торжество из торжеств.

Впервые видел Егорка такое количество корзин, подносов, узелков. Куличи, сырные пасхи, тарелки со сливочным маслом в виде узорчатых крестов, но тут же и раскрытые пакеты с простыми булочками. Стало быть, и беднота принесла сюда, что имела — все это стояло длинными рядами на особой площадке вдоль церковной ограды, по которой, на каждом столбике, горели плошки.

Поставивши свои корзины в ряд с другими, Герасим сказал Егорке:

— Ну, вот, побудь тут, а я пойду куплю свечки.

— И мне купите, Герасим Иваныч! — и Егорка сунул в руку Герасима монетку, которая в руке Егорки согрелась и была тепленькая.

— Это что же, от письма родителям осталась?

— Так точно!

— Значит, все, что было!

Егорка весело пожал плечами и потер ладони рук, как будто очищал их от пыли. Дескать, чисто и свободно, все в порядке.

Да, это были те самые три копейки, которые остались из двадцати, данных ему паном Панкевичем. Герасим Иваныч помнит: семнадцать копеек пошло на денежное письмо родителям, а три копейки остались у Егорки и пригодились на пасхальную свечку.

И вот, когда из церкви полился поток света, и по толпе молящихся, стоявших вне церкви и возле куличей и пасхи, побежали огоньки, один к другому, Герасим Иваныч, стоявший рядом, зажег свою, а потом Егоркину свечку и увидал, что Егоркино лицо подернуто белым пушком, такое еще детское и чистое, и озарилось не только светом его собственной свечи, но и сиянием настоящего счастья. И с особой радостью Герасим Иваныч примкнул к пению «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех...». Воистину, и на земле пели ангелы и в сердцах Герасима и Егорки.

Когда вернулись с куличами домой, весь дом был освещен, окна отворены, слышались громкие голоса. Гостей было полно.

Вдоль всего квартала и в поперечной улице стояли экипажи, извозчичьи пролетки и даже оседланные лошади. Для кучеров и извозчиков праздника не было, но был хороший случай подработать или получить на водку.

Только с рассветом из дома схлынула толпа, затихли голоса, но дом не опустел. Оставшиеся изливали охмеленье в чувствах любви друг к другу или в исступленных и охрипших спорах... Некоторые запевали запрещенные песни, зная, что на Пасхе даже и жандармы махнули бы на них рукой.

Егорке все хотелось похристосоваться со всеми, и прежде всего с самим барином Ансеевым, но об этом позабыл даже Герасим. Все они измучились, «едва таскали ноги». Наконец, Герасим освободился, пришел из большого дома с двумя бутылками вина в кухню, где у Аксиньи все было готово для обильного разговенья. Все трое помолились, сели за стол. Герасим налил в три стакана рябиновки: себе и Аксинье до краев, Егорке меньше половины. Егорка застеснялся, но выпил и, как взрослый, стал степенно, с наслаждением, есть все, что ему подавали. Никогда еще он не едал таких вкусных, таких сладких и в таком обилии, кушаний.

Всходило солнце, когда Ансеев вышел через заднее крыльцо во двор. Он был с ружьем и охотничьей сумкой. Собака, спавшая с ним в его комнате, была у его ног.

— Герасим! — крикнул он. — Будь добр, запряги мне Гнедчика в дрожки.

Тут-то Егорка и подбежал к Ансееву:

— Христос воскрес! — сказал он робко.

— Воистину, воистину, — устало и с ленцой протянул Александр Гаврилович. Наклонился и поцеловал Егорку в губы. Губы у Ансеева были пухлые и мягкие, а черные усы свисали по китайски вниз и пощекотали Егоркин нос.

— А ты вот что... Как тебя?.. — так же лениво процедил Ансеев, забывши или даже не зная, как зовут Егорку. — Ты того... Поедем-ка со мной... Я по болоту похожу, а ты побудешь с лошадью...

И взял Егорку на охоту.

Егорка думал отпроситься у Герасима, чтобы пойти и похристосоваться с дядей и теткой, но поехать на охоту с барином — это тоже радость.

Так в воскресенье Егорка и не спал, ни ночью, ни днем. Вернулись же они с охоты после полудня. Все в доме и на кухне спали. И Тютюбай спал в фаэтоне, и даже лошади его, еще не распряженные, устало дремали.

Ансеев ушел в дом и тоже завалился спать — благо в доме не было гостей и все было уже прибрано. Егорка только что хотел идти в свою каморку и прилечь, как в ограду въехали четыре всадника. Двое были молодые офицеры (как потом узнал Егорка — братья Ковалевские). Третий — Яша Гизлер, студент, сын доктора, а четвертый был Рафаил Маркович Бурлянд. Офицеры сидели в седлах, как природные кавалеристы; Яша Гизлер молодецки им старался подражать. Но Рафаил Маркович, с фуражкой на длинных, как у барышни волосах, казался на коне забавным. Его голубая шелковая русская рубашка топорщилась от ветра, а руки слишком высоко поднимали поводья. Лошадь и седло у него были красивые, только видно было, что он впервые в жизни сел в седло и изо всех сил старался казаться смелым всадником. С лошади он слез, а не соскочил, и по ограде прошелся так, что высокие лаковые сапоги на нем как-то хлопали, как будто в них было полно воды. Егорка подбежал к нему и, обхватив его за шею, звонко выкрикнул:

— Христос воскрес, Рафаил Маркович!

Рафаил Маркович не оттолкнул его, дал ему трижды себя поцеловать, но не ответил: воистину воскрес, а только потрепал его по щеке и, оглядывая его с ног до головы, сказал:

— Ну, ну! Так ты же молодец! У тебя новые штаны и рубашка... — Потом он прошел в подвал, достал четыре бутылки лимонаду и приказал Егорке принести стаканы. Потом он снова сел на лошадь и среди прочих настоящих ездоков понесся вдоль песчанной улицы по направлению к Иртышу. Рубашка на нем пузырилась от ветра и делала его уродливо горбатым. Егорке так хотелось поправить ему рубашку и он так хотел, чтобы Рафаил Маркович сидел на коне не хуже, а лучше других.

Когда же он вернулся от ворот к крылечку кухни, Герасим — он видел все из кухни — вышел на крыльцо, положил на плечо Егорки теплую руку, и губы его растянулись в усмешку:

— Ты что же, не знал?.. Разбежался с Рафаилом Марковичем христосоваться?..

Егорка смотрел на Герасима с испуганным вопросом и не догадался. Но Герасим досказал по своему. Он толкнул Егорку к подошедшему из каретника и широко улыбающемуся Тютюбаю и спросил:

— А с Тютюбаем, что ж, ты позабыл похристосоваться? Он тоже хороший, хоть и не нашей веры.

Егорка, не задумываясь, бросился к киргизу, обнял его за шею и пропищал:

— Христос воскрес! — и поцеловал его три раза. И Тютюбай не оттолкнул его, только засмеялся громче обычного, прижал к себе парнишку. Хохотал и вытирал глаза. Тогда и Герасим обнял Егорку.

— Ну, молодец! Давай поцелуемся, как следует! Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — ответил Егорка еще веселее и громче и почувствовал, что произошло что-то с ним и вокруг него, а что такое — он сам еще не знал и никого не спрашивал.

Радостно было слушать колокольный перезвон, пасхальный, который в городах и селах будет гудеть целую неделю.

А назавтра, в понедельник, перед обедом, Герасим опустился в подвал и объявил:

— А ну-ка, парень, собирайся!..

Егорка переполошился. Неужели увольняют?.. За что?

— Иди, переоденься. Рафаил Маркович просил хозяина, чтобы ты помогал ему в аптеке. Угодил ты чем-то им обоим... — Он хлопнул по плечу Егорку и прибавил: — Ишь-ты, подишь-ты. Выписался из подвала!..

Как будто нехотя, не веря счастью, Егорка шел в свою каморку одеваться в праздничные новые рубашку и штаны. Потому что было это для него как бы восхождением от земли к небеси... Надо быть чистеньким.

На новую ступень жизни восходил Егорка.

XX

НА ПОРОГЕ ЮНОСТИ

Уже больше года прошло с тех пор, как Егорка поступил в аптеку Ансеева. В чистом, светлом и просторном помещении с ароматными кусками мыла, с пахучим репейным маслом, с сотнями в порядке расставленных по шкапам белых фаянсовых банок с латинскими названиями лекарств, Егорка многому здесь научился. Его уже звали здесь Егором. Ему уже тринадцать лет.

Опрятность в аптеке — первое дело. Быстрота рук и ног и острота глаз во всем, особенно при развеске на крошечных роговых весах порошков и всыпании их в провощенные бумажки, которые Егор делал сотнями в минуты и часы, когда не было других поручений, сделали его незаменимым. Сам Ансеев, ленивый заменять своего фармацевта в течение единственного дня в неделю его отдыха, то и дело отдавал распоряжения подавать ему те или иные банки с полок. Егор делал это с радостной готовностью и гордостью, когда не ошибался понимать латинские названия.

Городской врач, красивый, с черной, чуть с проседью, бородой и в золотых очках, изредка появляясь в аптеке, обратил внимание на расторопного мальчугана.

Вскоре после Пасхи, уже второй для Егорки в этом доме, у подъезда аптеки остановилась знакомая коляска доктора, запряженная парой серо яблочных лошадок. В коляске осталась жена доктора, вся в черном, красивая и молодая дама, а доктор быстро взбежал по лестнице в аптеку. Егорка встретил его, как и многих посетителей, широко распахнувши дверь в аптеку. Доктор прошел за перегородку к стоявшему там Ансееву и о чем-то с минуту-две с ним пошептался. Они оба громко рассмеялись, и вдруг очки доктора Краснопольского блеснули прямо на Егорку:

— Ну-ка, парень, собирай свои пожитки. Хозяин тебя мне просватал. В больницу со мной поедешь.

Егорка сперва не понял. Посмотрел на Ансеева. Тот так же лениво, как и всегда, как будто нехотя, промямлил:

— Иди, иди. Не задерживай доктора. Там, — он взглянул через окно на коляску у подъезда, — там барыня ждет.

Егорка растерялся. Не то плакать, не то радоваться. Побежал в кухню, сказать Герасиму Иванычу и Ксюше, а по дороге увидел кучера, друга своего верного, Тютюбайку и крикнул ему:

— В больницу меня везут!

Тютюбай как раз чихнул от понюшки табаку, не мог сразу сообразить и поковылял на низких, калачиками, ногах вслед за Егоркой, в кухню. Там маленький, годовалый Гришка как раз капризничал, и Герасим Иваныч и мать не могли его утешить. А Егорка спешил, метался, рассказывая новость, надо, чтобы Герасим объяснил Рафаилу Марковичу. Нехорошо выходит, даже проститься не придется. А там ждут... Он побежал в свою каморку, а оттуда пулей опять на кухню. Сообразил:

— Герасим Иваныч! Там меня доктор ждет. Пожалуйста, соберите все мои пожитки, там ящичек. Неловко мне его тащить в коляску. Там сидит барыня. Пришлите все с Тютюбаем в больницу.

Тютюбай испуганно схватил Егора за плечо:

— Джогор! Какой больница? Чему хвораишь?

— Да не хвораю я. Меня в больницу берут... — Он хотел сказать: «На должность», да воздержался, сам еще ничего не знал. Главное, надо спешить. И побежал.

— А где же твои вещи? — спросил доктор.

— Дак их уж мне кучер привезет.

— Ну, молодец! — одобрил доктор. И коляска покатила.

Егорка сидел на козлах, рядом с кучером и не смел повернуться назад. Смотрел вперед со страхом. Что там будет? Или Ансеев им недоволен? Но Рафаил же Маркович никогда его даже не выругал. Слезы подступили к его горлу, а доктор говорит ему:

— Ты мне больничную аптеку приведешь в порядок.

Егорка повернулся лицом к доктору, а встретил смеющееся, красивое лицо его жены, и не посмел ответить. «Аптеку

привести в порядок? — мелькнуло у него в голове — Это еще страшнее. А вдруг не сумею? Ведь Рафаила Марковича там не будет.»

И вот он в больнице проработал год. Нет, не один год, а сто лет прошло с тех пор, как он разливал душистое репейное масло и развешивал порошочки в аптеке. Сто лет опыта, микстур, промывки резиновою трубкой желудков больных, кровавых и гнойных бинтов после операций, впрыскивания морфия умирающим и меряния температур больным, их стон, предсмертный хрип... И эта еврейка, мать четверых детей, которой четыре раза отрезáли ногу: сперва только ступню, потом гангрена пошла выше, отрезали ниже колена, а потом еще раз, выше и, наконец, почти у самого бедра. По субботам приходили дети и муж, молодой еще, а с длинной бородой, торговец старой мебелью. А старший сын оказался тем самым... Да, тем самым!

Как-то прошлою весной мимо аптеки — шум и гам. Толпа евреев, окружившая небольшого паренька, идут из городского училища, все радостно говорят, понять ничего нельзя. А у паренька в руках бумага трубкой. Потом Герасим, выбежавший на шум, объяснил: первым выдержал экзамен! Теперь он где-то учится в другом городе, но эти четверо, что навещают мать? Старшенькая, зовут Раей, смуглая, с большими темными ресницами, четырнадцати лет, а обо всех заботится, как старушка. Все остальные, три мальчика, лесенкой, от четырех до девяти, точь-в-точь такие же серые глаза и длинные ресницы. Полгода пролежала женщина в больнице, подружился с ними. Даже к себе пригласили. Угощали фаршированною щукой. Отца дома не было. И показалось Егору скучно в доме. Все опрятно и все старое, но нигде, ни в одном углу нет икон, а когда сели за стол, все мальчики надели на головы шапочки... И когда потом Егор будет думать о евреях, он прежде всего вспомнит эту ногу, долго не заживавший обрубок у самого бедра. Он же подавал инструменты, он держал бинты, он потом следил за температурой. Зажили, увезли еврейку-мать домой. (Лет десять позже он встретит Раю в городском театре, в Барнауле. Красавица, и рядом — муж, в военной форме: капельмейстер батальонного оркестра. Узнала, обрадовалась. Мать жива. Родила еще двоих.)

Да, сто лет за один год здесь вытерпел Егор. В больнице ухаживал за Егорушкой Щербаковым. Мальчик-одногодок из фотографии. Он и устроил первый снимок с Егора. В черной курточке, под городское училище и с ременным поясом, на пряжке которого вышли: «Г. У.» Читай, как хочется: городское или горное училище. Учиться не пришлось в хорошей, настоящей школе, но пусть хоть на поясе знак, что учился. Выздоровел Егорушка Щербаков, стали неразлучными друзьями. Вместе бегали, в дни отпуска, купаться на Иртыш. Вместе книжки вслух друг другу читали. Только не было хороших книжек, а все больше про любовь. Егорушка любил такие, а Егору не нравились. Почти все кончаются самоубийством от любви. Какая такая любовь, если надо жизнь молодую кончать? И были еще причины не любить такую любовь. В больнице отвратился от любви.

Да, уже год миновал в больнице. Опять пришла весна, уже третья вне родительского дома, и никто из родных за это время не навестил его. Только сам навещал два раза крестного, Василия Лукича. Все еще в пожарной. Игренюха сдохла. Акулина Ильинична постарела, почернела еще больше, зато Яша так же избалован, ходит в городское училище, а учится плохо.

Но вот на страстной неделе навестил его Михайла Василич Вялков. Не узнал он Егорку, когда тот, в белом халатике, с белым же, продолговатым эмалированным тазиком сбежал с высокого крыльца главного корпуса больницы в широкую песчаную ограду. В тазике были блестящие металлические инструменты.

Егорка вырос, сапожки начищены ваксой до блеска, волосы волнистыми прядками причесаны как-то на сторонку, на розовом лице серебристый пушок, но нос не дорос. Такой же вздернутый, по этому носу и угадал его Вялков.

— Егорша, это ты, што ли?

Егор задержал свой бег. Разглядел, узнал. И как не узнать любимого пахаря-богатыря? Как забыть, как он, один, вытащил из трясины, на пашне в Крутом Логу, их Булапуху? Такой же широкий, в сером, опрятном крестьянском зипуне, шапка еще зимняя, но в длинной бороде еще ни одной сединки. Егорка поставил белый тазик прямо на песок и бросился Вялкову на шею. Целуя гостя в обе щеки, он чуял, как борода пощекотала его нос и подбородок и сразу не нашелся, что сказать.

— Это что там у тебя?

— Хирургические инструменты, — ответил Егор, но понял, что Вялков мог не знать, что это такое, и разъяснил: — Покойницу мне надо для вскрытия приготовить.

— Как это... для вскрытия? Резать что ли ее будешь? — Глаза у Вялкова, и без того большие, сделались еще больше и белки их стрельнули в сторону каменного здания в отдалении от главного корпуса.

— Да нет, не я буду, фельдшер будет ее вскрывать, а мне надо эти инструменты прокипятить и потом покойницу раздеть, помыть...

Вялков был явно поражен, отступил от мальчугана, смерил его взглядом, как будто не веря ни своим глазам, ни ушам, что перед ним тот самый соплячек Егорка, которого он еще недавно подкармливал на пашне куском говядины, ломтем хлеба с медом.

— Дак ты, значит, торопишься? — спросил он, наконец. — А я тебе от отца-матери поклон привез. Живы они и здоровы. Печалуется мать, что ты ей редко пишешь...

— Да, этот год у нас тут очень много больных. Вот там в заразных бараках — Егорка показал рукою на новые, глаголем, длинные деревянные постройки — больше сотни заразных лежит. Три раза приходится температуру мерять... Понятно, я тут не один. У нас сиделки есть, три фельдшера, служители. Но мне дают работу теперь в остроге.

Через крыши заразных бараков в простор широкой больничной ограды смотрели черные квадратные окна с решетками, второго этажа большого, огороженного высокой каменной стеной острога. Вялков долго молча всматривался в розовое, чистенькое лицо парнишки, потом опять на бараки, на острог и, прищуривши глаза, покачал головою!

— Да ты, парень, тут, видать и сам, гляди, не заразись!

— Дак нет, я уже привык. Меня иногда запирают с заразными... На днях киргиз от сибирской язвы умер у меня на дежурстве. Большой такой и молодой еще. Не мог я с ним отводиться. Смертельная эта болезнь. А в тюрьме арестантов лечит наш фельдшер, а разные перевязки и лекарства раздавать арестантам меня посылает. — И, чтобы перевести разговор на менее страшную тему, Егорка прибавил: — Мне нынче даже в церковь за весь Великий Пост не удалось пойти. Но в остроге тут есть церковь, я там нынче буду Христовскую Заутреню встречать.

Вялков почуял, что парню некогда с ним даже поговорить. Он потрепал по плечу Егорку и мягко сказал:

— Ну, ну. Иди с Богом. Что матери-то в поклоне от тебя сказать?

— Ах, да! — совсем по городскому выразился Егор. — Ради Бога не говорите ей, что меня с заразными на дежурство запирают. Она будет беспокоиться.

— Да как же тут не беспокоиться? —совсем недовольно произнес Вялков, и его широкие плечи передернулись от удивления: — Я бы тут ни в жисть не остался.

В это время с того же высокого крыльца сбежал щупленький, прыщеватый молодой человек с нависшими над глазами темными волосами и закричал Егору:

— Что ж ты тут стоишь? И как ты смеешь инструменты на землю ставить?

Вялков спокойно смерял читающими глазами молодчика и спросил:

— Это он что ли фершал?

— Нет, это старший фельдшерский ученик, — почти шопотом ответил Егор и схвативши инструменты, сказал Вялкову виновато: — Вы извините, Михайло Василич. — И побежал к анатомическому покою, в котором только что скрылся прыщеватый молодчик. А Вялков еще долго стоял, как вкопанный и зорко и недружелюбно осматривал всю ограду, большое двухэтажное здание больницы, повара в белом колпаке, показавшегося возле кухни, деревянные бараки, а потом повернулся в сторону острога и пошел в ворота, покачивая головою и забирая в большой кулак свою пушистую, длинную бороду. Он был не на шутку озабочен тем, что он скажет Егоркиным родителям после этого свидания?

Он даже не успел сказать Егорке, что в селе о нем идет хорошая молва: сельчане удивляются — парень учится на фельдшера, а отцу-матери деньги посылает. Теперь своими глазами видел, в каком разгоне тут Егорка. И Егорке было стыдно, что не догадался пригласить Вялкова на кухню. Там у него друзья: повар, рыжий, веснущатый, шутливый малорос, его жена, полная, чернобровая Оксана, когда говорит с мужем, все время поправляет его: «Та не малорос ты, вкринець!» И голос у нее распевистый, приятный, с припрыжкой: начнет тонким, как бы взвизгнет, а закончит басом, медленно растянет. И у них сын

Прокоп, одногодок Егорки, всегда в белом фартуке, как мать и отец. Трое и управляются на кухне. Только Прокоп, такой же чернобровый и красивый, как мать, ленив и неповоротлив, а выше и полнее Егора. Грамотный и говорит по русски правильно, только с гаком.

Вот несчастье — не пригласил такого гостя! Оксана бы его задержала, после вскрытия можно бы поговорить, расспросить о домашних. Но надо было спешить, в анатомическом покое ждет Виктор.

Этот Виктор самый неприятный человек в больнице. Низенький, сухой и прыщеватый, с прямыми космами, падающими на его глаза, он ходит, склонивши голову и смотрит на людей не прямо, а как-то сбоку и сквозь космы черных, падающих на глаза, волос. То одною, то другою рукою, он все время подбрасывает волосы назад, а они тотчас же падают и, повидимому, щекочут ему нос. К нему по праздникам изредка приходит сестра, высокая, хорошо одетая молодая полька. Егорка знает, что родители их ссыльные, отец умер, мать уже старушка. Однажды Егорка слышал, как сестра Виктора строжилась над братом, показывала на его сальные волосы и учила его манерам. Не все Егорка понял, но в польском языке есть русские слова, и повторение слов: «Матка Бозка, Матка Бозка!» — выражало явное недовольство братом.

Вот этот самый Виктор уже раздел покойницу, разорвавши сверху донизу вместе с сорочкой ее цветное платье. В момент, когда вошел Егорка с инструментами, он рассматривал обнаженный тоненький, желтоватый труп и прощупывал его тонкими, крючковатыми руками... Егорка отвернулся и занялся приготовлением спиртовки, на которой нужно было прокипятить инструменты в растворе сулемы. Егорка не смотрел, но чувствовал, как Виктор недостойно издевался над мертвой девушкой.

Но не мог же он не видеть и не слышать всего, что тут происходило. Он должен помогать, стоять на инструментах, подавать их, принимать, обтирать ватой, класть в другой тазик в карболовый раствор, промыть и снова класть в кипящий раствор сулемы.

Фельдшер вошел с одним из служителей. Этот, кроме помощи, будет подписывать протокол, как понятой; вторым подпишет, кроме фельдшера, Виктор. Это значит, что он старше двадцати одного года. Егорке подписывать не позволят. Он не-

совершеннолетний. Печатная форма протокола лежала с пером в чернильнице на маленьком столике.

С аккуратно подстриженной, рыжеватою бородкой, с усами, закрученными винтиком, фельдшер был одет щеголевато. Он имел частную практику и считался вроде доктора. Свой белый халат он внес в руках, надел его, подставил рукава для завязки к рукам Егора. Взял один из острых ланцетов из тазика.

— Приготовь сосуд для жидкости, — приказал фельдшер Виктору. — Возни тут особенной не будет. Запиши: «Знаков насильственной смерти на теле не обнаружено.» Сердце трогать не будем. Оно и так уже загублено. Нам важно знать: каким зельем упилась красавица.

Много видел Егор страшного за этот год в больнице. Не одного умирающего сам оплакал. Особенно он не забудет десятилетнего Мишеньку, горбунчика, приемного сына богатого купца. На личико хорошенький, розовый от воспаления, нежный ангелочек, любил Егорку и давал ему сладости, что приносил ему бездетный, одинокий купец. И такой был умненький: когда что-нибудь расскажет и спросит самое близкое Егоркиной душе. Друзьями они стали, и только за два часа до смерти потерял сознание, и эти два часа Егор как будто и сам с ним мучительно умирал. И вот теперь перед ним эта мертвая... Он видал ее не раз. Она, в коричневом платьице, в белом фартучке еще в прошлом году пробегала из гимназии; жила где-то поблизости от госпиталя. В собор ходила мимо, веселая, красивая.

Фельдшер провел ножем по животу вдоль и сразу же внизу живота — поперек. Крови не было, только желтая вода. А фельдшер не то говорил с собою, не то напевал:

— Смейся, паяц, смейся, негодяй! Хотел бы я видеть морду твоего, девица, соблазнителя!

Виктор, как бы помогая фельдшеру, как бы напоминая ему, где еще надо вскрыть, стал манипулировать руками ниже живота. Фельдшер спокойно остановил его:

— Да не-ет, там трогать ничего не надо! Мы это узнаем отсюда, через полость живота... Смейся, паяччио, смейся, мерзавец! — уже не голосом, а только тяжелыми вздохами произносил анатомист. Обычно он вскрывал мертвые тела с песенкой, как будто делал нечто обычное и скучное и хотел развеселить себя и других, а тут, вместо песенки, вздыхал все тя-

желее и тише, до шепота, и, наконец, после усиленного напряжения, вынул и приподнял над раскрытым животом маленькое нечто, все еще в одной головке: — А вот и он, плод любви несчастной. — Задержал в руке, определил: — запиши, Виктор, примерно трехнедельный удалец... А впрочем, положи, Егор, это в банку, в спирт. Покажем доктору. Он лучше пусть сам определяет...

Но самое страшное было впереди. Когда, подписавши протокол вскрытия, ушли фельдшер и служитель, Виктор еще долго продолжал непристойности над трупом, потом все куски плоти им отрезанные, под видом изучения анатомии, он побросал в открытую полость живота и, ощерившись желтые, кривые зубы, приказал Егору:

— Теперь зашивай все! — И вымывши руки, ушел.

Зашивал Егорка труп, слезы ручейком катились в ту же полость живота и не могли остановиться. На всю жизнь запомнит он этот страшный полдень.

Но и это еще не все. На следующий день, как раз в Великий Четверг, Виктор устроил для него бесстыдную ловушку.

Как раз по четвергам приезжали на извозчиках, шумной, крикливой и разнаряженной толпой девицы под предводительством их содержательницы для медицинского осмотра. Когда они сходили с экипажей, они, придерживая свои подолы, обнаруживали много юбок. Особый шик благополучия. Егор знал, кто они такие, потому что Виктор, после осмотра их врачем, приносил в аптеку подписанные доктором бумаги; это были желтые листки, и часть их Виктор оставлял при аптеке: эти девицы оставлялись на излечение. И вот он приказал Егору:

— Иди в палату номер восемь. Там надо одной больной смерять температуру. А эта палата была под наблюдением старушки-няни, строгой и никого в палату не пускавшей, кроме доктора. Но няньки как раз в палате не было. Егор даже не сообразил, почему Виктор сам не может смерять температуру, тем более, что и сам он вошел следом. Перед ним стояла совсем раздетая девица, только одна — остальные смотрели и гыгыкали. Но когда она увидела Егоркино лицо и его строгое, но невинное выражение, какого ей, видимо никогда, нигде не приходилось видеть, она прикрылась платьем и бросилась на Виктора разъяренной львицей:

— Убирайся отсюда, ты, холуй!

Егорка понял, что это была бесстыдная выдумка Виктора и, красный от стыда и обиды, выбежал из палаты. Он помнит, что и остальные девицы перестали смеяться, отвернулись и молча пошли к своим кроватям. Но это событие хуже, нежели от мертвого трупа девушки, отвратило его от живой женской плоти.

Но Виктор не успокоился и не устыдился. Он стал добиваться, чтобы Егор заменял его при осмотре доктором этих девиц, а их приезжало около двадцати. Но старший врач в присутствии Егора накричал на Виктора:

— Оставь ты Егора в покое! У него довольно дела при аптеке, а ты как-то мне умудрился намешать сулемы вместо соды!

Но был еще у Егора друг и покровитель, отставной и пожилой солдат-гренадер. Высокий, тонкий, с бритой бородой и молодецкими усами, он всегда был в фартуке служителя и привязал к себе Егорку своей лаской. Никак его не звал, а просто: либо сынок, либо еще проще: милачок. Вместе с гренадером, за ширмой в коридоре, они и жили. Когда есть минутка, один без другого никуда. А как начнет рассказывать про свои походы, да про полки, про генералов, смешное и строгое, — заслушаешься.

Этот гренадер иногда ходил с Егором и в тюрьму: бутылки, склянки и тяжелые бутыли для дезинфекции отнести. И там он арестантам шутку расскажет, развеселит, всем улыбнется по отечески, а то и спину разотрет. За это его особенно любили, и когда он долго не приходил, какой-нибудь из несчастных сморщит и без того сморщенное старостью лицо и просит:

— Приведи-и нам гренадера... Он прошлый раз мне спину так прогладил — легше стало. — Да и Егорку ждали и встречали, как родного, и каждый, даже ничем не больной, что-нибудь выдумает, просит полечить, а когда приходил к ним гренадер, это был для всех прямо праздник. Отпустить не хотят.

Вот с этим гренадером и пошел Егор к Христовской Заутрене в тюремную церковь. Церковь небольшая, но, как все церкви на Руси, для праздника украшена, вся в цветах и зелени. Приходят сюда с воли, не только простолюдины, но и генералы в звездах и раздушенные дамы в белых платьях. Заранее уговариваются с тюремным начальством, чтобы избежать

жары и духоты в переполненном соборе или в других церквах. Все переполнено и здесь еще задолго до заутрени. Служат два священника, один в алтаре, другой исповедует.

Гренадер надел свой черный мундир с красными кантами и красными нашивками на рукавах, на груди его медали и Георгиевский крест. Егор в новой своей темно-серой курточке, брючки навыпуск. Он ведь получает теперь шесть рублей и шестьдесят шесть копеек в месяц. До плеча высокого гвардейца он далеко еще не дорос, но нравится он гренадеру, тот ведет, тот тут командует. Они становятся позади всех, в уголку, пока идут приготовления и уносят Плащаницу. Все знакомо, все известно, все, как везде, но здесь особенно все трогает и волнует. Ведь сюда, вот вот придет Христос Сам, к обремененным и отверженным.

Вот начал освещаться темный храм. Все больше, все светлее. У каждого лица горит свеча. Поднимаются хоругви, разбираются иконы людьми с воли. Крестный ход будет в тюрьме, но арестантов не введут, пока крестный ход опять войдет в церковь, уже под радостные возгласы: «Христос воскресе!»

И вот тут... Тут будет то, чего нигде, ни в каких храмах на воле не бывает. В церкви радостное, почти непрерывное пение, а откуда-то из глубины, как будто из под земли наверх, слышатся и нарастают размеренные шумы. Все ближе, громче. И хотя ручные кандалы в эту ночь даже с самых отчаянных каторжан сняли, а ножные подвязаны так, чтобы не гремели, все же в твердой, гулкой поступи семидесяти арестантов нарастает и приближается странная сила вот в этом!

— Тр-ах, тр-рах, трах, трах!

Дверь в отгороженное от частной публики место широко распахивает стражник, загородка заполняется людьми во всем сером, многие с бритыми наполовину головами.

— Тр-ах, тр-рах, тр-рах! — и все затихает по команде, которой даже не слышно.

И вдруг, в ответ на слова священника: «Христос воскресе», раздается потрясающее стены каменного острога: «Воистину воскресе!»

Нет, тут радоваться нету сил. Егорка не читал еще Достоевского, а когда будет читать его «Мертвый Дом», он увидит многое, чего он здесь не видел, но не найдет у Достоевского многого, что не только глазами, сколько сердцем он здесь почуял.

Впереди длинной полуроты арестантов, стоявших рядами по пяти человек, выделился один, повернулся лицом к остальным, в руке его что-то блеснуло. Все начальство на чеку. Сегодня из тюремной стражи ни один не имеет права молиться. В руке арестанта камертон, он подал тон, и как огнем полоснуло по сердцам и душам всех затихших в храме:

— На божественной страже! Богоглаголивый Аввакум!..

Никогда, ни раньше, ни после, — да и где ему, Егорке, это слышать? — не слыхал и не услышит он такого божественного хора! Как, значит, они там у себя по камерам, готовили, как и когда так разучили?

— Да станет с нами и покажет светоносна Ангела, ясно глаголюща: Днесь спасение миру! Яко воскресе Христос! Яко всесилен.

Егорка уткнулся в самый уголок и прячет слезы. Он не знает, почему ему плачется, но он не может забыть растерзанной на куски девушки... Нет, нельзя, это грешно вспоминать!

Позади всех молящихся толкотня: толстая женщина, вся в черном, спорит со стражником. И слышно, как она громким шопотом что-то доказывает.

— А куда же я их больше поведу? Их нигде больше не пускают...

Егорка вытянул шею, женщина повернулась лицом к свету. В глазах ее покаянная дрожит слеза. За нею вереница ее девиц, все в черном. Вот это кто!.. Вереница в черном упорно пробивается вперед и там, вдоль арестантской перегороди, все падают на колени. Этого на Пасхе не полагается, но они стоят на коленях и не встают, а их водительница пробивается еще дальше. Она хочет видеть священника, и вот он выходит в одной эпитрахили. Значит... Значит все они пришли сюда исповедаться!..

— Снизшел еси в преисподняя земли!.. — Хор арестантов будто понял лучше всех и глубже всех то, что тут происходит. И звучит он хором ангелов, победным, которого никогда, никогда забыть нельзя!

Нет, не умел еще Егорка радоваться даже Пасхе Христовой! Печаль он понесет отсюда, тяжкую неизлечимую рану скорби в жизнь.

XXI

ЗИГЗАГИ ЮНЫХ ЛЕТ

ЕГОРКА был оторван из сельской школы как раз в половине четвертого, последнего отделения. Никакого аттестата об окончании даже сельской школы у него не было. А в больнице, через год, полюбивший его фельдшер нашел, что Егор может сам стать фельдшером. По иному забилось Егоркино сердце: невероятно, но мечта обжигающая. Ведь это и значит, как мечтала его мать, «стать человеком».

Сам же фельдшер написал и прошение в Омскую фельдшерскую школу, где он сам с успехом выучился медицинскому искусству, и получил ответ: можно и на казенный счет, но надо представить следующие документы: приговор сельского схода о бедности и хорошем поведении с тем, что все село ручается за «кандидата» — слово-то какое, — что, по окончании школы, он из своего жалования выплатит хотя бы половину школьных на него затрат. Свидетельство врача о здоровье и аттестат об окончании четырех классов уездного училища.

Начались хлопоты. В селе Егора все уже знали, особенно священник, отец Петр; купец Зырянов замолвил доброе слово. С волненим размахивал руками на сходе отец Егора, доказывал: парнишка не окончил школу потому, что сам он взял его и погнал с артелью в леса еще одиннадцатилетнего. Потому он и сидел в школе еще ползимы. А вот помогает уже и деньгами. Да он сам себя выведет на дорогу, не придется обществу ни копейки за него тратить Все-таки шумели долго. Нашлись и супротивники:

— Да эдак я бы и своих ребят на казенный счет восподами сделал, — кричит один.

— Правильно, — кричали враз несколько голосов. — Еще тут и доктором кто-нибудь захочет быть, а мы отвечай.

Но писарь Филипп Антоныч Лапшин составил приговор несмотря на все протесты. Он же сам и печать приложил, староста только подышал на нее и покоптил над свечкой. Прислал Митрий общественную отпускную. Теперь учебники, бессонные над ними ночи. Переписка с Шемонаевским четырехклассным училищем, главным учителем которого был замечательный человек, впоследствии монах, а потом и епископ. Принял близко к сердцу Егоркино дело. Написал инструкции. Надо не меньше года готовиться, а потом приехать в Шемонаиху, он сам будет еще подготавливать.

Можно понять, с каким особым рвением учил Егор скачками трудные предметы и как он практически проходил саму медицинскую работу в больнице. Ведь фельдшер поручал ему производить в тюрьме уже свои прямые обязанности: вскрывать нарывы,промывать раны, вставлять в них подоформированную марлю: перевязывать он мог уже давно, и так красиво — залюбуешься. Составление микстур по рецептам делал как настоящий провизор.

«Будешь фельдшером», уверенно внушал ему фельдшер.

Егор уже давно опередил в опыте, знаниях и терпении с больными своего строгого соратника Виктора, который оставил надежду быть фельдшером, но также околачивался в больнице и уже завидовал Егору. Всего не перескажешь, что произошло за целый год, но об одном случае необходимо рассказать.

Тою же весною, перед Троицей, в ограде больницы появились две простые женщины. Егор их не узнал, но обе они были с котомками богомолок за плечами. Оказались из села Николаевский Рудник.

— Мы зашли тебе сказать, что твоя мать идет на богомолье к Абалацкой Божьей Матери. Они отстали, потому что ноги стерли, а сюда им заходить по пескам будет большой крюк. А мы зашли тебе сказать, чтобы ты ее встретил завтра утром, они будут проходить мимо татарского кладбища.

Егор стоял и ушам своим не верил и ничего не мог ответить, так его поразила эта новость. На этот раз он пригласил обеих женщин в кухню, и добрая Оксана стала хлопотать с угощением, а они в голос:

— Родимая, ты не трудись. Мы постуем. У Абалацкой мы исповедываться, и если Бог допустит, причащаться будем.

— Та то ж не гоже... — заспорила, было, Оксана. — Та вы ж голодни...

— Ну нет, у нас сухарики в котомке и водичка. А сегодня мы с утра не принимаем пищи. Завтра доберемся до обители. Тут уж недалеко.

А когда Оксана узнала, что следом за этими богомолицами идет и мать Егора, она уставила на него свои большие, красивые глаза и взвизгнула:

— Хлопэць. — И тут же басом протянула: — Та ты ж бежи-и, бо то ж твоя маты...

Побежать, не побежал Егор, а спать всю ночь не мог, и утром, чуть свет, передавши все свои дела Виктору и гренадеру, приготовил все, что нужно для перевязки стертых ног, уложил и бинтики, и присыпки и надел через плечо свою фельдшерскую сумку, с которой ходил в тюрьму. Оделся чистенько и пошел песчаными, немощеными, загородными улицами далеко на самую окраину города, к татарскому кладбищу, которое мимо не пройдешь и не проедешь, если ехать вверх по берегу Иртыша. На татарском кладбище, возле своеобразных памятников с полумесяцами вместо креста и с арабскими надписями на камнях, он долго ждал, потом не выдержал и пошел по тракту дальше. И долго шел опять, пока, наконец, вдали показались четыре женщины с котомками за плечами. Егор остановился и стал искать местечка, где бы спрятаться. Мальчишеская мысль ударила ему в голову: спрятаться и выскочить, когда они подойдут совсем близко. Около дороги был небольшой зеленый бугорок вокруг телеграфного столба, возле него он и припал на землю. И изредка выглядывал, вся его радость перешла в смешок. Он даже снял фуражку, чтобы блеском козырька не выдать себя в засаде. Пусть подойдут совсем близко, тогда... И все-таки не может утерпеть, выглядывает, видит: двое прихрамывают... Ну, ничего, дойдут тут он их и удивит своим появлением. И вот дошли, он выскочил. Остановились. Не узнала его мать, и он с трудом узнал в худой, постаревшей, загорелой, сгорбленной под котомкой страннице свою мать. Трудно описать эту встречу. Мать присела тут же на бугорок, смотрела на сына, плакала и говорила, вытирая слезы:

— Нет, милый сын, я тебя увидела. Давно увидела, когда ты еще шел. Только потом, когда тебя не стало, подумала: привиделся ты мне...

Когда же Егор помог ей снять пыльные башмаки и когда он развернул фельдшерскую сумку, остальные спутницы Елены

охали и ахали, а одна из них даже и заплакала, как и Елена и, крестясь, делилась своей радостью со всеми:

— Это за молитвы тебе, Еленушка, послал Господь такого сыночка... Ну, поглядите, он уж прямо, как наш лекарь, Иван Никифорыч, дай Бог царство небесное.

— Как, он умер? — Егор даже задержал в руках развернутый бинтик и смотрел на богомолиц поочередно, как бы ожидая, что кто-нибудь скажет: «нет, он жив-здоров».

— Да, преставился, — грустно сказала Елена и перекрестилась. — Дай Бог свято почивать. Он Николаю зренье, да и жизнь спас.

Перевязал Егор растертые песком, набившимся в дырявые обутки, ноги другой женщине. Остальные две отстали за компанию с захромавшими: нельзя же бросить их одних по дороге в святое место.

— А я даже не знал, — признался Егор, — что тут есть монастырь.

— Не монастырь это, сыночек, — разъяснила одна из богомолиц. — Это новое явление Пресвятой нашей Владычицы, названной Абалацкой, в двадцати верстах от Семипалатинска. А явилась Она, Пречистая, в облике чудотворной иконы некрещеному татарину, в чистом роднике ликом к небу всплыла. Как же, как же, уже лет тому пятнадцать, а теперь там уже и церквица построена, и татарин этот там крестился и прислуживает нашей нищей братии. Была я там, два года тому назад, а нынче опять меня туда ведет Благодатная. И будет там обитель женская. Уж будет. Может быть, сподобит Господь, я там и останусь. Никого у меня нету, — продолжала говорить женщина, уже как бы сама с собою, но Егор заметил по лицам остальных, что все благоговейно слушали и то и дело крестились.

Не мог удержаться Егор. Не вернулся в тот же день в лазарет, а пошел вместе с матерью и богомолками прямо к Абалацкой Божьей Матери. И дошел с фельдшерскою сумкой на плече и там, в обители, где кроме церквицы уже построены одноэтажные странноприимные домики. Ключ живой, прозрачною струею привлекает сотни паломниц и паломников, все один другого беднее и все такие мирные, толпой приходят к загороженному легкой деревянной оградой роднику, толпою молятся в переполненной церквице, все в нее и войти не могут. Толпою ходят следом за монашком, в котором уже не узнать былого

бритого татарина. Старенький, седой, в ряске, в камилавке, всем служит, а говорит по русски все еще с трудом. Он и на ночлег устраивает всех, и еду варит, и в церкви кадило подает священнику. Только когда кто-либо из паломников спросит его, как ему явилась Пресвятая, он подымет обе руки и скажет коротко:

— Том чудо Боже. Язык шоловеки сказать нелзя.

Да, он понял, и люди стали понимать: нельзя человеческим языком говорить о чудесах Господних.

Провел в обители Егор весь следующий день, истратил все свои лекарства, не хватило ни бинтиков, ни присыпок. Матери хотел оставить, не позволила. Сказала:

— Ты иди, сыночек, там тебя теперь потеряли. А я тут побуду еще с недельку, домой вернусь со всеми. Иди со Христом, поторопись, от моего имени попроси простить тебя за отлучку. А мы с тобой наговорились, слава Тебе Господи.

И не ушел, а уехал с попутчиками Егор. И никакого выговора ему не было, только рассказал доктору Краснопольскому все, как было. Посмеялся, золотые очки протер. Запотели они у него от набежавших слез, но ловко скрыл он слезы от Егора, платочком протирал очки и глаза. Может быть, свою мать в Киеве вспомнил, может быть там, в далеком Киеве, имя которого звучит так вкрадчиво и напевно, есть тоже святые обители. Сам Егор еще не знает, но мать сказывала не раз о том, что от Киева вся Русь пошла. И покорил сердце Егора доктор Краснопольский тем, что наказал:

— А ты пошли ей, своей матери, все лекарства, какие ей там нужно: и бинты и вату и иодоформ. Я скажу смотрителю, чтобы сам посылочку на почту отвез.

И не было конца усердию Егора в этот год. Трудно было и ему, и доктору, и особенно гренадеру с ним расстаться следующим летом, после Троицы, но надо было ехать держать экзамен. Мечта теперь яснее: больных и страждущих много не только в больницах но и при святых обителях. Вот бы только выдержать экзамены да выйти в люди фельдшером... Но это трудная мечта...

Не узнал ни дома, ни родных, когда вернулся он домой через три с половиной года. Рядом с еще покосившейся избой стоял пятистенный, новый домик, с тесовой, на четыре стороны «шатровой» крышей, с крылечком под особой крышей на круглых столбиках. И первою выпорхнула с этого крылечка красивая девица, бросилась ему на шею — нет, это не Оничка. Она стоит позади, уже большая и действительно красавица... Но кто же эта, как родная обнимает, целует и, отшатнувшись, рассматривает его и говорит:

— Так вот он какой, Егорушка.

И только когда позади Онички появился высокий, стройный и красивый брат Николай Митрич, догадался Егор, что брат уже женат.

— Да как же, — напевала Оничка, не отпуская его из своих объятий — только что перед Троицей отгуляли свадьбу.

— Без шума и грома, — прибавил и сам Николай. — На постройку затратились, я сказал: никаких колокольцев. Под венец, да прямо в новый дом...

Ну, как тут было не расплакаться, как было не вспомнить опять же из запаса материных песен:

«Его заныло ретивое, когда увидел отчий дом.»

Так оно почти и вышло, если бы не видела его родная мать год тому назад. Тогда бы так и пропелось:

«Его родные не узнали, и от сердечной простоты
Все окружили, вопрошали: скажи, служивый, кто же ты?»

Ну, не совсем это подходит, и не служивый он солдат, вернувшийся домой красавчиком-гвардейцем, а песня вспомнилась до слез: соседи прибежали, не узнали. Отец вышел из старой избы. Он уже с проседью, а с ним Андрюшка, в чистенькой рубашке, кучерявый, белокурый. Смеется во всю рожицу, а не подходит. Сам к нему склонился гость. А отец подал сыну твердую рабочую руку. Стесняется обнять. Егор обнял его сам и удивился: отец вдруг обращается к нему на «вы»:

— Видите наш новый дом? — и с гордостью показал на светлый в солнце домик. — Это вам спасибо, помогли достроить.

А много ли посылал он им денег? Не каждый месяц и не всегда по пять рублей, бывало, пошлет три рубля. Значит,

копеечка здесь так же дорога, как прежде. А он там был на всем готовом и на себя тратил больше половины всего, что получал. Даже стыдно, а вот оно как вышло: здесь сумели тратить деньги с пользой.

Ввела его молодица в новый дом. Ну, как же хорошо, все чисто и светло! Во весь пол половики, на окнах цветные занавески, кровать горой от перины и подушек. Видать, что из богатого дома выбрал Николай себе жену.

Вдруг, запыхавшись вбегает в горницу Фенька, выросла, ей тоже уж двенадцать, а на руках у нее ребенок. Она сует его матери и бросается на шею брату.

— Я в огороде с ним была, — говорит она в свое оправдание, что пришла последней. Смотрит, не насмотрится на Егора, говорит: — Ни за что бы не узнала. Вырос-то как. Вон, видишь, где твоя аптечка, в углу стоит в шкапчике. Я маме читаю все надписи на бутылочках.

Егор смущен, а спросить не смеет: чей же был на руках у нее ребенок. Но Фенька обратилась к матери:

— Ты покорми его, мама, он там базлал, не дал мне ни одной грядки прополоть.

А маленькому года полтора, еще не ходит, толстенький. Значит мать, когда ходила на богомолье, он уже родился. Правда, по дороге к Абалацкой говорили мало. Богомолки то и дело пели молитвы и псалмы, и в самой обители она с ним говорила, расспрашивала, слушала, а о ребенке не сказала. Почему? Стыдилась запоздалого греха.

От матери ребенка взял отец, и видно было, с какою нежностью он назвал «заскрёбыша»:

— Ваничка, Ванечик, не плачь, не реви. — И вышел вслед за матерью в другую избу.

Но то был праздник, все были дома, был ясный летний день, но наступают будни, страда в разгаре: покос. Когда же тут учится? Как не поехать на покос со всеми? А всех теперь много, и даже мать поехала, обед варить. Николай и Марья работники наудалую, на показ кому угодно. Видно, как они счастливы, а обоим одинаково по девятнадцати годов. Оничке семнадцать, косит, как хороший косарь, только косу сама не точит. Отец ей то и дело точит, чтобы почаще отдыхала. А Егору, как малому, и косу дали малую, а лучшей нету. И все его щадят, ласкают, обидно быт малюткой. И правда, смозо-

лил непривычные руки, обжег лицо солнцем до пузырей. Но сдаться не хочет. Были еще деньги, сам себе выбрал новую косу у Зырянова, а тот ему:

— А напрасно это ты, Егорушка. Напрасно, милый сын. Иди своей дорогою, учись. Но не сдавался Егор. Так заматывался за неделю, что за книжку и в праздник сесть не может. А надо же и в церковь сходить. Не для богомолья, нечего греха таить, а посмотреть людей и себя показать. И показал. Однажды слышит: отец Петр говорит проповедь об отцах и детях. Не назвал имена, чтобы соблазна не было, но все поняли, говорит он о труде и поведении родителей примерных и о примере их детей.

— И пошла благочестивая жена в обитель Божию, воздать благодарение Пречистой Деве за то, что разрешил ее Господь от бремени здравой и невредимой, и встретила на пути в обитель одного из старших сыновей...

— И что же бы вы думали? Господь ей посылает через сына Свою помощь. И раны на ногах ее перевязал и сам пошел в обитель, там отроческими руками немощные исцелял и домой, матери своей аптечку для исцеления ближних оборудовал. Ну разве это, возлюбленные мои, не чудо Божие? Разве это не награда за благочестие и труд родительский?

Многие плакали в храме. Плакал сам Егор, не мог спрятать слез, знал, что недостоин, а главное боялся и стыдился: не учился больше месяца. Самая страшная книжка: алгебра. Не может он понять ее без руководителя. А все-таки ушел опять со всем усердием в науку. Замотал отца с поездками. Повез его отец к учителю, а тот был уже на даче. Хороший, образованый человек. Пробыл с ним две недели, ничего учитель не взял с него ни за ученье, ни за содержание. Только тем и заплатил, что от отца привез ему полмешка муки. Николай не вмешивался, не скупился. Назначил учитель экзамены перед началом сентября, чтобы успеть подать рапорт в Омск. На все вопросы отвечал Егор плавно, легко. Но если бы его он спрашивал по медицине, забил бы он всех «кандидатов», а тот начал его спрашивать по алгебре. Не мог Егор ответить даже на три вопроса. Ничего не сказал учитель, только все записывал. Потом сказал: напишет рапорт и ответ сам же получит.

Долго ждал ответа Егор. Не дождался. А оказалось, что учитель получил ответ, только пожалел Егора написать ему

правду, все откладывал, а началась его школа. позабыл. Не хорошо было дома. Ни кандидат, ни работник, а кушать надо из отцовского и братского котла.

Вдруг новость: последняя сестра Елены, Варенька Столярова, уже без матери, засиделась в девках, выходит замуж, да за старика. Он не очень стар, лет ему под тридцать, да борода большая, так двумя крылами по плечам и развевается, когда он браво мчится по селу в хорошем седле на прекрасном скакуне. Федор Гаврилович Аносов, лесообъездчик. Женившись, купил он легкую тележку, чтобы вне служебных обязанностей можно было с молодой, красивою женой вместе прокатиться к родным или знакомым. Приехали, сестры вместе поплакали: шестую дочь, Марию, мать ее, чуя приближенье смерти, выдала за крещеного киргиза, своего работника. Выдала уже давно, еще молоденькой. Та не посмела ослушаться матери, теперь уже два черномазых мальчика, совсем киргизятки, подрастают.

Увидел бородатый муж тетки Егора, заинтересовался. Тот ему признался, что ждет и не дождется ответа на прошение в фельдшерскую школу. Федор Гаврилович вскипел:

— Со мной поедешь в Шемонаиху. Посмотрим. — И повидавши учителя, узнал от него, что Егор провалился. Приехал Федор Гаврилович домой скучный, но тоже правды не сказал. Только на утро запрег опять своего иноходца в коляску и повез Егора к лесничему. Не знал Егор, что Шемонаиха была уже административным центром. Да и проезжал он только через это село всего два или три раза в детстве с отцом: в деревню рудовозов да в леса и горы. А тут была и большая четырехклассная школа, и каменное здание лазарета, и резиденция станового пристава, и лесничество на всю Убинскую долину и ее верховья, и даже камера мирового судьи, он же и судебный следователь и нотариус.

Подождал в коляске перед двухэтажным деревянным домом Егор, пока Аносов долго сам дожидался в канцелярии. Лесничий и его нарядная жена ходили в палисаднике с гостями. Как раз был у них сын Ивана Никифорыча Горкунова, лекаря, по имени Коронат Иванович, горный инженер, высокий, в мундире с блестящими пуговицами, красавец. А дети лесничего, мальчик и девочка, семи и трех лет, играли в палисаднике. Но терпелив был Федор Гаврилович. Дождался когда Горкунов нашел свою фуражку с кокардой и вышел к своему кучеру. Ушел лесничий

в дом, а барыня его осталась с детьми в садике. Егор вышел из коляски и ждал: если взглянет в его сторону, надо стоя поклониться, сняв фуражку. Может быть это и решило судьбу Егора. Лесничему не нужен был писец, выписывать лесорубочные билеты и объездчики приучены. Но Федор Гаврилович, прощаясь с лесничим, подошел и к барыне. Что он ей сказал, Егор не слышал, но Аносов из вежливости снимал и снова надевал на себя форменную фуражку, пока та не позвала мужа и тоже, смеясь, что-то ему наказывала. Поманил Егора сам лесничий белым пальчиком. Егор подпрыгнул и построился во фронт перед невысоким, усатым господином в форменном белом кителе. Так делали перед начальством избранные арестанты в остроге в Семипалатинске.

— Ну, хорошо, — коротко сказал лесничий, не Егору, а Аносову — три рубля в месяц на всем готовом спать будет в канцелярии. — А барыня прибавила без улыбки, глаза у нее были голубые, лицо белое, носик чуть вздернутый, на шее крестик:

— И будешь с детьми играть, когда не будешь занят в канцелярии.

Говорить ли обо всем, что и как он жил ровно год? Домой почти не ездил. Авторитет его там пал. Денег едва хватало самому одеться. Но тут он стал читать. Устроился Егор не завидно никому, а с отцовских плеч долой. Читал, выписывал билеты на порубку леса, забавлял детей лесничего. Мальчика звали Нестером, а девочку Люлей. Лесничий Соколов и его жена гордились тем, что они были назначены сюда прямо Кабинетом Его Величества из Петербурга, и был он не лесничий, а один из помощников лесничего. Главный лесничий на весь Змеёвский округ был в Змеёве. Но жизнь они вели барскую. То и дело у них гости, карты, выпивка. Подписывать билеты на право лесорубки Соколов приходил покачиваясь. Когда же узнал, что Егор может хорошо писать, он поручил ему составлять и месячные отчеты. Но тут Егору помогал другой лесообъездчик-сокол, Андрей Саватеевич Зоркальцев *).

Питался Егор вместе с кучером Зиновием и его женой, кухаркой, на кухне. Барыня отвешивала каждому два фунта сахару на месяц. В еде отказу или скупости не было. Среди гостей изредка стал появляться невысокий, молодой, но уже

*) Под именем Колобова описан в 3-м томе эпопеи «Чураевы».

толстенький, новый мировой судья, по имени Петр Евстафьевич Цвилинский. Имя это часто упоминалось еще в аптеке Ансеева в Семипалатинске, потому что отец Петра Евстафьевича был председателем окружного суда. Генерал. С небольшими, черными усиками и бородкой, мировой судья, как-то проходя мимо Егорки, вдруг с такой хорошею улыбкой скажет:

— Ау, Жоржик. — И пройдет.

Хороший, такой приятный мировой судья, а не женатый. При нем тетка, вдвое его старше, но держит его в строгости, и квартира у них барская. Говорили на кухне, что она его и держит холостым. Но это все равно: судью Егор заочно полюбил. А потом узналось. Ровно через год лесничий разыграл Егора в карты. Да, да. Приехал сам исправник, нравилась ему жена лесничего. Заезжал, оставался на карты и однажды, точно также, как когда-то доктор Краснопольский увез его сам из аптеки Ансеева, исправник просто, видимо вперед сговорившись с лесничим, приказал Егору собирать свои пожитки, усадил его с собою рядом в богатый проходной, значит собственный тарантас и на переменных тройках, — там две земских станции, — увез его в Змеёво, писцом в полицию.

Тут можно бы еще полкнижки написать: Змеево не настоящий город, но и не Шемонаиха. О, там много было нового, но так писать, так красиво заносить во входящие и исходящие реестры, как это делал его предшественник, чахоточный Павел Серебров, так Егор не мог, и научиться не надеялся, как ни старался. И не понадобилось. Всего через три месяца, в мороз и снежную бурю, вошел из кабинета исправника его помощник, деликатный и приятный подполковник Кочергин, а вместе с ним... а вместе с ним, кто бы вы думали? Егор встал с места, чтобы поклониться, а тот подает ему руку, как равному, и говорит:

— Ну, Джорджи! Собирайся, я тебя вчера у исправника в карты выиграл.

Это была самая радостная шутка. Так оно и было: не хотел брать Егора мировой судья Цвилинский прямо от лесничего. Живут в одном селе, пойдут сплетни, дескать сманивают «прислугу». Был в гостях у исправника и спросил — очень ли большой потерей будет, если он возьмет Егора к себе в канцелярию? — Да никакой потери. Сделайте ваше одолжение.

И опять на тройке, в теплом зимнем собственном возке увез его Цвилинский в Шемонаиху. А это уже не случай, а судьба. Это уже школа. Еще один наставник на новом поле, теперь уже в делах закона. Не без волнения прочел Егор на столе судьи в его судебной камере, на трехгранном зерцале с гербом наверху этого зерцала:

«Правда и милость да царствуют в судах».

С еще большим волнением впервые услыхал Егор первые слова судебного приговора по какому-то совсем не важному делу о нарушении тишины и общественного порядка:

«По указу Его Императорского Величества».

Жалование было на первое время пятнадцать рублей в месяц, разумеется на своем содержании. За четыре рубля в месяц Егору дали комнату и стол в хорошей крестьянской семье. Престиж его в родном селе сразу вырос, и батюшка, уже в отсутствии Егора, проповедывал, что и испытания и неудачи посылает Бог тем, кого Он любит. И вот вам пример, в нашем же богоспасаемом селе...

Егору следующей весной исполнится семнадцать лет.

XXII

КРОВЬ НА СНЕГУ

ЕЩЕ год, опять длинный, полный приключений год из четырех времен — зимы, весны, лета и осени, проведенный Егором у мирового судьи, был годом его роста, равным курсу хорошей школы, тренировки, полировки и испытания юной души. Только-только, у лесничего, он начал чтение книг, разных, случайных. Но были приложения к журналу «Нива», который выписывала жена лесничего, и приложения классиков. А сам он выписал журнал «Родина» и не успевал прочитывать всего, что присылалось. Но думать по порядку он не мог. Недоставало постепенного, систематического школьного развития. Думал он скачками и подчас противоречиво, в зависимости от того, кто из писателей или что из прочитанного волновало или даже потрясало, а также от того, что видел, слышал и сам испытал.

Рядом с молодым, хорошо начитанным, вполне культурным и законченным юристом, он должен был учиться, прежде всего, как себя вести. Мировой судья брал его с собой в длительные поездки по уезду, из конца в конец, в дожди и снежные метели, зимой и летом и, видя как Егор, сидя в тарантасе, несмотря на тряску по дорогам, доглатывал начатую книжку, Петр Евстафьевич выхватывал у него эту книжку, просматривал бегло, иногда шутя прятал за свою спину:

— Глаза испортишь, читаешь во время такой тряски. Да и книжка эта — чепуха. Я тебе дам другую. — И не забудет, с тетушкой посоветуется. Та сама принесет в канцелярию книжку, проэкзаменует. Строгая, в пенсне на шнурочке, возраста неопределенного — не то ей под сорок, не то еще старше. В поясе затянута осой и как оса жужжит:

— Читай, но хорошо служи. Жалованье не за чтенье получаешь. А ну-ка, руки покажи... То-то, книгу не испачкай!

Егор любил судью, но боялся «тетушки». Слушался обоих, и это было ему на пользу. Судья не сделает замечанья, как надо сидеть за столом, а тетушка не церемонилась, учила, как держать нож и вилку, как есть и пить. При людях за столом, надо и одетым быть подобающе. Судья сам чувствовал, что тетушке не нравится, когда, изредка, он сажал Егора с собою рядом за стол, а Егор не знал, можно ли отказываться, когда сам судья не просит, а приказывает:

— Садись, садись, сейчас ты мне будешь нужен.

И приучился, даже в доме у своих хозяев-крестьян, больше слушать, а говорить сдержанно: стоять, пока старшие не попросят сесть. Руками все время оправляет подол своей рубашки; под поясом, спереди, было бы гладко, а все складочки должны быть позади, так и рукам есть место и работа. А во время вопросов, на которые не сразу сообразишь, как ответить, надо помолчать, подумать. Но в канцелярии удивлял Егор делопроизводителя, придирчивого усатого малоросса Свириденко: какое дело ни потребует, Егор через минуту разыскал и подал. А дел на полках сотни, по трем отделам: подсудных мировому судье и неподсудных, значит следственных, а есть еще отдел нотариальный. Все дела запоминает по номерам. На фельдшерского «кандидата» по математике и по алгебре да еще по геометрии не выдержал экзамена, а задачи в школе решал лучше всех. Тут же любое дело помнит, где лежит, за каким номером. Не даром, по вечерам, когда камера судьи, она же и канцелярия, закрыта, он строчит повестки и, оторвавшись, увлекается делами, особенно крупными, с оранжевым листом под обложкой. Это значит — «арестантское». По этим каждую неделю представляются товарищу прокурора в Змеиногорск отрезные маленькие купоны о движении дела. Егор уже знает, что товарищ прокурора строго следит, не просидел бы в предварительном заключении подсудимый лишний день. Это хорошо, порядок. Устав Александра Второго. И знал Егор, по какой статье какое преступление наказуется. А когда переписывал начисто постановление о предании суду, неразборчиво набросанное судьей или делопроизводителем, соскакивал с места и робко показывал на одну из важных бумаг в деле, или на важное свидетельское показание в предварительном дознании. Делопроизводитель, куря папироску и морща один ус, недовольно

ворчал, и все таки включал еще одно обстоятельство в постановление. И не из зависти, а по мотивам справедливости Свириденко распекал Егора и наваливал на него свои работы и, когда тот с ними справлялся, он должен был признать, что через год-полтора ему придется искать новую должность. Судья из экономии заменит его Егором. Но судья и сам работал по ночам, писал размашисто и много, а дела все прибавлялись, разъезды по участку, пространством больше Франции, отнимали много времени, делопроизводитель нужен и дома и в разъездах. Свириденко был женат, у него двое детей. Ясно, тридцати рублей в месяц ему мало, а судья взял еще ученика, местного крестьянского подростка, на десять рублей в месяц. Свириденко понял, что о прибавке ему жалованья не может быть и речи и попросил рекомендации в окружной суд. Судья не возражал, помог ему получить лучшую должность, а Егора стал еще усиленнее подготовлять на должность старшего письмоводителя. Совпало это с двумя памятными датами: Егор вступил в начало восемнадцатого года жизни, а год в начало двадцатого века.

Но не один, а уже два было помощника у Егора. Один — подросток, а второй — бывший учитель, не писец, а мастер по чистописанию. Каждую буковку выведет на удивление, но, как взрослый человек, не мог же он «гнать» дела с мальчишеским рвением и подчиняться несовершеннолетнему. И ничего не понимал в вопросах судоговорения. И сам судья, из деликатности, давал ему распоряжения непосредственно, самые несложные: главное — писать повестки, сотни и тысячи повесток по расписанию, за пол года вперед, о явке в суд в разных, близких и далеких местах горного края. Но жалованья писцу не прибавил — очень медлителен — а Егору стал платить двадцать За то сам сидел по вечерам в камере еще дольше, и все важные бумаги летели с его стола Егору. Писец обиделся. Ушел. На повестки еще взяли подростка. Егор теперь мог уже смелее сам распоряжаться обоими, и канцелярия пришла в порядок. В разъездах по уезду, во временной судебной камере, чаще всего в пятистенной земской квартире, в отдельной комнате, Егор самостоятельно записывает показания по предварительным следствиям в то время, как судья разбирает мелкие, подсудные ему дела. В Сибири мировому судье подсудны уголовные дела с приговорами до полутора лет тюрьмы, тогда как в центральной России эти дела подсудны окружному суду. А следственные дела,

как кражи со взломом, грабежи и убийства, в Сибири поручались мировым судьям как «предварительные следствия». И эти дела нередко доверялись Егору для допроса сторон и свидетелей. По закону — это недопустимо. Но судья закона не нарушал: после того, как показания были записаны Егором, судья вызывал всех допрошенных, прочитывал им показания, кое-что исправлял, отбирал «подписку о присяге» и сам подписывал протокол допроса.

Но вот однажды товарищ прокурора неожиданно прискакал по следам судьи Цвилинского и, что называется, «накрыл» судью на месте преступления. Судья в этот час разбирал какое-то путаное семейное дело, с массою свидетелей, когда возле земской квартиры прозвучали и остановились колокольчики. Егор только что закончил допрос по делу сложному и совершенно необычному.

Товарищ прокурора вышел из повозки и, не раздеваясь, вошел прямо в эту комнату, где на протоколе допроса чернила Егорового рукописания еще не высохли. Егор испугался. Он понял положение и не хотел предать судью, а товарищ прокурора сел на его место и начал читать то, что было написано на нескольких страницах. Егор не растерялся, выбежал, протолкался в судебную камеру, подошел к Петру Евстафьевичу и доложил о приезде нежданного ревизора. Судья, не снимая цепи, прервал заседание и с улыбкою, какую только могло выразить его лицо, вошел в другую комнату. Егор не отставал. Товарищ прокурора, тонкий, вышколенный чиновник, встал навстречу судье, вежливо раскланялся, но руки не подал и снова сел за чтение протокола. Судья, человек культурный, но горячий, не стерпел и немедленно ушел в камеру заседания, взволнованный, но уже увлеченный этим чисто бытовым делом, продолжал суд. Егор, видя, как товарищ прокурора увлекся чтением, тоже вышел вслед за судьею. Он растерялся и боялся оставаться наедине с ревизором. Судья взглянул на него и понял — мальчик в затруднении. Он поманил его ближе к столу и шепнул:

— Иди и, если спросит, говори, как есть.

Но говорить Егору не пришлось. Товарищ прокурора продолжал читать одно из показаний, самое длинное. Читал и опять перечитывал. Потом мановением двух пальцев подозвал Егора:

— Это ты записывал?

— Так точно, — по солдатски отвечал Егор. Руки назад, одергивают курточку.

— И сам допрашивал?

— Так точно. Но господин судья все равно будет передопрашивать.

— И ты не врешь? — резко уставились на Егора серые глаза из под запотевших очков.

— Никак нет, — твердо и с правом на такой ответ ответил Егор.

— Забавное дело! — сказал товарищ прокурора и встал с места.

Из камеры заседания в промежуточную комнату повалил народ. На улице ждала толпа, и сельский писарь, заменявший судебного пристава в деревне, вызывал по корешкам повесток людей в судебную «залу». Судья вошел без цепи, но с папиросою в руках. Он никогда во время заседаний на народе не курил, а тут демонстративно вошел с папиросой к ревизору. Но ревизор рассыпался в любезностях, пожал судье руку и начал так:

— Вы знаете, господин судебный следователь, когда я был мировым судьею, я никогда не применял... — он замялся, подыскивая подходящее слово. — Не применял, так сказать, беллетристической формы. А у вас тут я вижу, целый роман записан. Все в диалогах. И я узнаю почерк... Вот этот юнец, да? — Он указал на Егора.

Ожидая более красноречивого подхода к нарушению рутины предварительного следствия и, значит, указания на кассационный повод, судья решил предупредить событие. Он простер руку с папироской по направлению улицы и сказал:

— Господин прокурор! Вы только взгляните на эту толпу. У меня еще не менее десяти дел сегодня, да завтра дел до двадцати...

Но и товарищ прокурора не дал ему говорить.

— Да, да, перегрузка у всех у нас ужасная!.. Но я, конечно, верю вашему писцу что вы потом сами передопрашиваете всех этих лиц... Я, собственно, и не по этому делу заехал. — Он снял очки, протер их, снова надел и взглянул в лицо судьи с улыбкой доверия и даже как бы сочувствия: — Тут старшина один... Волостной старшина подал на вас жалобу. Я хотел бы, чтобы дело это не доходило до высшей инстанции. Знаете, оскорбление действием... Я не хочу от вас требовать письменного объяснения. Поэтому удовлетворюсь простым вашим

словесным ответом: имело ли место это оскорбление действием волостного старшины при исполнении им служебных обязанностей?

Петр Евстафьевич Цвилинский, сын известного крупного судебнаго деятеля, сам судья и блюститель закона, вспыхнул до ушей. Егор не знал, стоять ему здесь или уйти. Судья заметил его движение и сказал:

— Ты никуда не уходи. Стой тут! — Потом он бросил на пол папиросу, чего бы никогда не сделал дома, в присутствии других, смело посмотрел в глаза ревизора и сказал: — Если вы считаете предложение мне взятки и вход в судебную камеру с заднего крыльца служебными обязанностями, то я, конечно, виноват. Но толпа, в которую я выгнал в шею этого старшину, была побольше этой. Я, конечно, виноват, погорячился и действительно толкнул его, чтобы все видели, что он меня купить не может... Мне думалось, что я защищаю честь нашей юстиции... Во всяком случае, люди во всей моей округе знают, что со взятками ко мне ни старшина, ни купец и никто другой прийти не посмеют...

— Это обстоятельство для меня ново... Но, знаете ли вы, в газете, в Томске, об этом деле целый фельетон был напечатан... Получается большая неприятность. Сам прокурор и председатель окружного суда весьма встревожены...

Судья Цвилинский учтиво поклонился и ничего не мог сказать. Наступило молчание. За дверьми раздавались голоса народа, кричала женщина, бубнили голоса мужиков. Судью ждал народ. Товарищ прокурора после паузы сказал, надевая одну из перчаток на руку:

— Я сделаю все, что от меня зависит. Конечно, в интересах престижа наших судебных установлений. — И вдруг он широко улыбнулся Егорке и сказал судье: — А применение диалогов при допросе сторон, это, признаться, мне понравилось. Я тут прочел, и мне ясна полная картина. Тут у вас материалу на целый роман...

Он мило простился, тронул мимоходом рукой в перчатке по волосам Егора и уехал. Судья нахмуренно склонился к протоколу допроса, на котором так долго задержался товарищ прокурора, и спросил:

— Какие у тебя тут диалоги? — Егор не мог ответить. Он не знал, что это слово значит. А над протоколом теперь задер-

жался и сам судья. И вполне понятно. Дело это оказалось исключительным, и при том — ни одного свидетеля. Только потерпевший и подсудимый. Расскажем о нем своими словами, без прикрас.

Рассылались тысячи повесток во всех направлениях уезда. Сотни разноликого народа проходили мимо судьи, и с каждым из этих лиц происходила встреча перед лицом закона. Судья всматривался в каждое лицо — глупое и хитрое, бабье, мужицкое, старое и молодое, красивое и безобразное. Не всякий судья — премудрый Соломон, но всякий должен всматриваться и угадывать, где правда, где неправда, где хитреца и запирательство, где открытая невинная простота. И эти же лица стояли каждый день перед Егором, который, поневоле, должен был быть взрослым и серьезным, не уронить себя, не подвести судью, не струсить перед строгими, читающими глазами возмужалой мудрости почтенных старцев, не поддаться лукавой улыбке молодой деревенской красавицы.

Но вот перед ним только двое: потерпевший и обвиняемый, разных сословий, разных расс и разных вер, и ни одного свидетеля. А в деле два преступления, одно вытекает из другого. И вот что выяснено подробностями их допроса.

Случилось это зимой, в канун Рождества Христова.

В живописных и диких горах Алтая, в южных горных ущельях, разбросаны русские села и деревни, починки которых возникли еще в те времена, когда Алтай был во владениях Китая, и когда русские староверы, убегая из родных пределов, чтобы сохранить неповрежденным старое благочестие, тайно заселяли самые недоступные места в потаенных долинах горных рек.

В одной из таких деревень жил простой многосемейный и бедный крестьянин, труженик и безупречный семьянин.

Накануне Рождества, спозаранку, запрег он свою лошадку в простые дровни и поехал в лес за дровами. День был ясный, солнечный, но снегу в горах было много, дорога узкая, не протоптанная, и не близко удалось ему найти сухостойные деревья на дрова. На все это потребовалось ровно пол дня. Но вот он нарубил дров, наложил на дровни, попутно срубил елочку, небольшую, но зеленую, для праздничного украшения избы, хотя

никаких украшений для самой елочки не предвиделось. Елочку спрятал под сухими деревьями на случай встречи с лесным объездчиком, так как билета на рубку елочки не брал. Оно может статься, что лесообъездчик за елочку и не станет писать протокол, а все таки — не колоть глаза ему беззаконием. Воткнул топор острием в верхнее бревешко на возу и двинулся домой.

Воз был тяжелый, дорога пошла в гору, лошадка худая, несколько раз останавливалась для передышки. Сам мужик шел пешком возле воза.

Вдруг видит, с горы навстречу ему едет подвода. Лошадь жирная, кошева обита войлоком, дуга крашеная, сбруя на лошади украшена медным набором. Мужик сразу узнал татарина, разъезжавшего по деревням с мелочным товаром. Воз татарина был тяжело нагружен. Видно, что татарин на Рождество расчитывал бойко торговать среди зажиточных крестьян.

Когда оба воза съехались, мужик и татарин мирно поздоровались и стали обсуждать вопрос: кто кому должен уступить дорогу. Хотя татарин ехал под гору, и лошадь его была крепче, всеже он не хотел свернуть в глубокий снег, боясь, что воз его загрузнет в снегу, а товар его — не все шурум-бурум, есть и красный товар, ситцы и всякие ткани — легко попортить в снегу. Дрова же, в случае воз увязнет, можно сложить на снег, а потом опять наложить на дровни. Но мужик уперся и уговаривал татарина уступить ему дорогу и даже предложил помочь татарину вытащить его кошеву из снега на дорогу. Татарин уступил, и так они и сделали. Но лошадь татарина так увязла в глубоком снегу, что ее пришлось выпрягать, а может быть, и самый товар выгружать.

И вот в то самое время, когда татарин, занятый распряжкой лошади, отвернулся от мужика, в глазах миужика сверкнул воткнутый в бревешко его топор. С такой же быстротой, как топор блеснул в глаза, в душу его стрельнул соблазн:

«Вот этим самым топором!.. Да поскорее, пока татарин на тебя не смотрит. Повернется к тебе лицом, ты раздумаешь и не ударишь. А татарин богатый. Твоей семье добычи от него на всю жизнь хватит... Ну, скорее!»

И выхватил мужик топор, и только об одном испуг: не оглянулся бы татарин. И не успел оглянуться татарин и упал под ударом топора в белый снег. В глазах мужика на момент остановилась слепота: снег уж очень ярко-белый под полуденным

солнышком. Но не белизна снега остановила поднятый для второго удара топор — а мужик знал, что топор тупой, а зимняя шапка на голове татарина довольно толстая и мягкая. — нет, не снег, а брызнувшая на белизну снега кровь задержала в воздухе второй удар топора.

Кровь брызнула струей из головы татарина и окрасила белый, чистый снег, озаренный полуденным солнцем, и солнце остановилось на месте, задержалось, чтобы показать мужику то, что произошло. Он так и замер с поднятым для второго удара топором. Кровь на снегу, такая ярко-красная! Как же это? Ведь завтра Рождество Христово, а Христос тоже пролил кровь Свою. Неужто это он, мужик, так поспешил, ударил? Да, это он ударил! И выронил топор из рук и бросился к лежавшему навзничь татарину и бормотал:

«Господи! только бы не до смерти!»

И, видимо, Господь услышал молитву мужика: татарин шевелился, застонал, но не мог подняться. Кровь ручьем лилась через прорубленную меховую шапку. И мужик стал голою рукою зажимать кровавую рану и лепетал:

— Прости ты меня Христа ради!.. Это нечистый.. Нечистый меня попутал. — И стал метаться мужик, бросал и поднимал татарина, решил во что бы то ни стало спасти его от собственного преступления. Безпомощно озирался по сторонам, искал помощи и совсем по ребячьи стал всхлипывать. А солнце на середине неба остановилось, показывало все, что было на снегу. Недораспряженная лошадь тяжело вздыхала, чуяла, несчастная животина... Умела бы говорить, все бы рассказала. Нет, не расскажет, но помочь она может... Поможет, сытая, сильная.

Распрег лошадь, вывел на твердую часть дороги, протянул к возу веревку, вытащил татарский воз и стал в него тащить татарина, укладывал, уговаривал, как малое дитя. Закрыл, завязал, как мог, его голову, бросил свой воз с дровами на дороге, подпрег свою лошадь и повез татарина домой.

И солнце вдруг упало, вмиг упало на закат, и только поздно вечером, при темноте привез мужик татарина домой, сказал жене, что тот в лесу с горы свалился, изувечился. Все дети в испуге спрятались по углам, и елочка, срубленная для них, осталась в лесу, вместе с дровами. Занесет ее снегом. Вся ночь и самый Рождественский день ушли на хлопоты возле татарина, который только на третий день пришел в себя и был поражен,

когда увидел склонившееся над ним то же мужицкое лицо, которое он увидал в лесу, перед ударом. То же самое, только совсем доброе и виноватое. И тем удивительнее было слышать ласковые слова из рыжей бороденки:

— За товар ты не сумлевайся. Все будет сохранно. Лошадь тоже накормлена-напоена. И стал мужик шептать над самым ухом татарина, чтобы из домашних никто не услыхал: «Господи, прости-помилуй... Это сатана меня попутал. Это он мне нашептал: ударь, да ударь скорее...»

Татарин молчал. Молчал он все три дня. Лишь на четвертый день ответил он на вопрос: — Ты бы чего-нибудь поел? Дать тебе попить? — Мужик был вне себя от радости: татарин оживет, а иначе погубил бы свою и татарскую душу, и семью бы сиротами, нищими оставил.

Целую неделю ухаживал мужик за татарином, сам перевязывал ему рану на голове, сам кормил-поил, никого к нему не допускал. В конце второй недели снял повязку с головы татарина. Татарин мирно и беззлобно стал с ним разговаривать, как будто ничего не произошло между ними плохого. Выходил мужик татарина, стал татарин другом всей семьи. В конце третьей недели пошли они вместе запрягать татарский воз. Перед прощанием наградил татарин подарками из своих товаров всех детей и жену мужика, а самому хозяину за его спасение и уход поднес тридцать серебряных рублей. Да, да — тридцать рублей серебром. И расстались оба верными испытанными кровью друзьями.

Далеко спрятал мужик серебряные рублевики и только через год стал их по нужде расходовать. А первая нужда пришла: платить подать старосте. Достал и отнес несколько рублевиков, получил расписку. Никто не спрашивал откуда серебро, которого в те годы на Руси было довольно в руках народа. Никого это не удивило. Но дня через три зовут мужика к старосте. Спрашивает писарь, ловкий грамотея:

— Откуда у тебя, Федотыч, эти серебряные рубли?

Федотыч простодушно объяснил:

— Гостил у меня друг-татарин, торговый человек, заплатил за то, что я его привез изувеченного из леса... Три недели за ним ухаживал.

Все это правильно, и мужику поверили. Но писарь перед самым носом Федотыча взял и согнул в корытце один из рублевиков.

— Ну и сила у тебя, Петрович! Похвалил мужик, ничего не подозревая.

— Сила? — вскрикнул писарь и так же легко согнул следующий рублевик. — Понял? Это серебро тюрьмой, дружочек, пахнет.

Не сразу понял мужик, а лишь когда писарь составил протокол и стал его допрашивать по форме: Имя, фамилия, возраст, женат? Понял Федотыч, что все рубли, данные ему татарином оказались не из серебра, а из мягкого олова. Пришлось ему вынуть из подполья и остальные рубли. И дело пошло на дознание полиции. Татарина полиция разыскала без труда. Он не прятался и, когда его стали допрашивать, он возмутился тем, что мужик нарушил их договор дружбы и донес на него, как фальшивомонетчика. Он без труда доказал, что и сам не знал о том, что серебро поддельное, и не скрывал, когда и кто платил ему этими рублями. Дело о рублях пошло до доследования, а татарин рассказал всю правду, происшедшую в лесу больше года тому назад, накануне Рождества. Мужик был привлечен по обвинению в убийстве с целью грабежа. А мужик, в свою очередь, обозлился на татарина и стал запираться:

— Я и пальцем его не тронул, он сам свалился с косогора, вместе с возом. Снега были такие глубокие, я насилу его вытащил.

И трудно было что-либо доказать. Снега давно растаяли, кровь ушла в землю, глубокий шрам на голове зарос и не показывал следов острого орудия. Топор был туп и вместе с шапкой произвел рваную форму раны. А свидетелей — ни одного.

Вот в этой-то стадии это дело и попало в руки Егора, юного, неопытного, робкого письмоводителя мирового судьи.

Первым появился для допроса потерпевший, татарин. Просто и чисто одетый во все теплое, в высоких валенках, в нескольких тонких халатах, один на другом, он наголо брил голову, усы торчали вокруг губ, а бороду совсем не брил. Но голова была покрыта вышитой под золото тюбетейкой, которую он снял лишь для того, чтобы показать шрам на голове, вокруг которого волосы хорошо не выбривались. Ему было лет за сорок, женат, трое детей, дочка замужем. Держался татарин с достоинством,

говорил по русски правильно, с акцентом, и на вопросы отвечал коротко, убедительно. По всему было видно, что ничего не прибавляет, но подробности рассказывает только после повторных вопросов.

Вначале видно было, что татарин не доверял самой постановке вопросов. Слишком молод был спрашивавший. Потом, когда Егор стал добиваться подробностей, татарин точно рассказал о встрече.

— Я ему говорю: друг, ты вороти с дороги. Моя кошева — тяжелый воз. Он говорит: нет, ты вороти с дороги — моя лошадь плохая, завязнет, не вывезет.

— А был у него топор в руках? — спрашивает Егор.

— Топора в руках я не видел. Тогда может быть я сам что-нибудь подумал бы нехорошее.

— Но вы видели, как он вас ударил. Хотели вы защищаться?

— Да нет, я распрягал свою лошадь, она совсем завязла. Я не смотрел. — Все было так рассказано, что нельзя было татарину не верить. Егор отпустил татарина, сам вышел в сени, вызвал мужика.

Это был плохо одетый мужиченко, в зипунишке и старых валенках, волосы на голове и борода, как клок соломы на вилах. Глаза свирепо смотрят на Егора, и при первых же вопросах о имени, возрасте и какой веры, он начал мять в руках свою шапку и не сказал, а выкрикнул:

— Сказал, что пальцем я его не трогал!.. Он сам свалился с косогора. Повредился. А мне поддельными деньгами заплатил за добро...

— Ты садись на стул. Садись, не стой, — успокаивал его Егор. — Садись, — повторил он. Но мужик не садился. Все это дело казалось ему несерьезным, коль скоро допрашивает его такой юнец.

— «Садись, садись!» — передразнил он. — Сидеть мне некогда, у меня пятеро детей, баба нездорова. Я один работник.

— Желаешь: я попрошу самого судью тебя допрашивать, но он сейчас дела разбирает, освободится только вечером. Хочешь подождать?

— Ну, нет. Тогда уж ты спрашивай. Но только говорить мне нечего. Я все сказал.

— А ты все таки садись! — Егор даже привстал, подвинул ему табуретку.

Было в этом мужике что-то схожее с отцом Егора, когда отец, бывало, с мякиной в голове, растрепанный на ветру, придет сердитый в избу и ругается. И не то отца, не то этого мужика стало ему жалко. Должно быть, эта жалость почуялась и мужиком: он покорился, сел и сейчас же опустил глаза.

У Егора уже не было сомнения, что татарин рассказал всю правду, а мужик определенно запирается. Тогда он наклонился к мужику и тихим голосом спросил:

— Хочешь, я позову татарина? Быть может, вы помиритесь?

Мужик опять вскочиил с места.

— Чего мне с ним мириться? Он меня изобидел, перед людьми на всю жисть позорит. Вон старосте и до сегодня подать не заплачена. По судам меня таскает.

Егор снова встал с места, обошел свой стол и приблизился к мужику вплотную. В правой руке его было перо. Он переложил его в левую руку, а правую поднял в направлении висевшей в углу избы иконы и сказал:

— А ну-ка, посмотри туда. Перекрестись!

Мужик только взглянул, но тотчас же увернулся и не только не перекрестился, а еще злобнее закричал на молодого своего мучителя:

— Да что ты за наставник выискался? Душу мою выматывать?

Егор поднял голос:

— Потому что татарин, некрещеный человек, говорит правду, а ты — крещеный, а не признаешься! Слушай! — Уже приказывал Егор: — Хуже тебе будет, если не признаешься. Ты говоришь, у тебя пять человек детей и жена больная. О них подумай. Ежели не признаешься, тебе суд может дать каторгу на десять, а то и на пятнадцать лет...

— Да я ж ему что? — заколебался мужик. — Вреда ему большого нет. Как бык здоров. — И сел, опустил голову. Шапка в руках его тряслась.

— А ежели сознаешься, все по правде, как перед Богом расскажешь, тебе может пяти лет не дадут, тюрьмы, а не каторги. И тогда ты опять вернешься домой.

Мужик встал на ноги, потом опять сел. Короткий взгляд его на Егора был не то молящий, не то угрожающий. Но он опять опустил глаза на свою шапку, вяло опустился на табуретку, ткнул шапкой в сторону лежавшего на столе листа бумаги и не сказал, а захлебнулся только одним словом:

— Пиши... — И упал лохматой головой на стол, весь затрясся в глухих мужицких покаянных рыданиях.

Егор не сел за стол, не стал писать. Он подошел к мужику с другой стороны, потрогал его трясущуюся от всхлипываний голову и сказал:

— Мой отец такой же бедный человек, как ты, и нас вырастил шестерых. Ты не думай, что я тебе желаю зла... Я добра тебе желаю!

Мужик собрался с силами и встал на ноги совсем другим человеком. Но слезы теперь текли из его глаз не переставая: он даже их не смахивал, они так и катились в его рыжеватую, растрепанную бороду.

— Пиши! повторил он совсем покорно и тихо. — Мой грех ко мне пришел... Все расскажу, как было...

И он рассказал, а когда рассказывал, Егор не поспевал записывать. Записывал о жизни мужика, о праведных и покойных его родителях, о бабе и как он брал ее из хорошего дома, и как родился мальчик первенец и как последняя девчонка умирала от простуды... Это был рассказ почти что о жизни и судьбе самого Егорова отца. И рассказал Федотыч о татарине. Хороший это, редкой доброты человек. Надавал он им не только эти злополучные фальшивые рубли, а надавал всего понемногу из своих товаров. Но чорт его попутал с этими рублями... Кто-то надавал ему эти мошенские рубли... Себя и мужика под суд подвел...

К концу рассказа оба они устали, успокоились, мирно кончили. Ушел мужик, а в это время вошел в избу товарищ прокурора... Вот почему и засиделся ревизор за чтением протокола. Вот почему теперь сидит и читает его сам судья и не может оторваться. Большая драма жизни записана торопливым почерком Егора на десяти страницах. И будет вызван мужик, будет все это ему прочитано, и повторит он то же:

— Так! Так, ваша честь. Все правильно. Мой грех ко мне пришел.

И не заключил судебный следователь подсудимого в тюрьму до разбора окружным судом этого дела, а вызвал старосту и сотского и отдал им на поруки Федотыча. И так и было сказано в постановлении о предании суду:

«По обстоятельствам дела и ввиду чистосердечного признания подсудимого».

Ровно через полгода получил Федотыч ровно пять лет тюрьмы. А татарин останется его верным другом. Он позаботится, чтобы семья его никаких бедствий не терпела. И так и было. Дело это где-то в архивах окружного суда может все подробно подтвердить.

XXIII

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

ЗАТЯНУЛАСЬ наша повесть. Такая длинная история о таком маленьком человеке. Пора ее кончать. А для заключительной главы все же кратко пересмотрим прошлое Егорки, которому, быть может, суждена долгая и полная еще более пестрых приключений жизнь. Без преувеличений и без ненужных, унижающих человека преуменьшений, примем эту жизнь так, как она здесь рассказана, как жизнь одного из сынов простого и все-таки великого народа. Ведь о народе и был наш главный сказ.

Мы видели, как, еще на руках матери, впервые увидел Егорка небо, не в звездах, нет, а в весенней луже. И как он его увидел? Увидел таким, каким должно быть или оказалось Царствие Божие на земле, ни больше, ни меньше. И его первою любовью была мать с ее твердынею любви к ребенку.

Мы видели, как он увидел и всем своим малолетним существом приник к земле, босыми ногами прошел по родной пашне и как, еще бессознательно, взял от нее плодородную любовь и мудрость простоты.

Мы не можем отрицать, что из нищеты своего детства он выносит силу терпения, богатство впечатлений и познание души народной. И первая его любовь, любовь к матери, оплодотворяется любовью к Богу; любовь простая, без сомнений и мучительства вопросом: быть или не быть? Душа его, несмотря на юность, раскрылась, как простой полевой цветок, лишенный поливки и ухода садовода: раскрылась для утренней росы и для дождя и для губительного зноя, и все-таки, в грозе и буре природной стихии, цветок этот выжил, удержался корешком за землю, хотя и растерял лепестки, развеял ветер невидимые семена.

Мы видели Егорку еще до того, как его стали звать Егором, в его вольной и невольной, но неустанной борьбе с препятствиями на пути и лицом к лицу со смертью. И все это он перенес без ропота, но с благодарностью судьбе и Богу, потому, что сама жизнь оказалась его практическою школой. Но он не возненавидел и оранжерейно вскормленных и заботливо, по системам выученных современников. Но возлюбил их без зависти. Причудливыми, ничуть не для него одного приуготовленными путями, он пробивался через темные бездорожья жизни, через толпы себе подобных, простых и невежественных людей и даже не знал, куда и для чего ведет его стихия жизни? В пространстве и во времени он был потерян, как былинка среди безконечных трав и бурьяна в его родных горах и степях, или как сухое, вырванное из земли перикатиполе, силой ветра он был гоним под серым осенним небом, пока случайный кустик зацепит его и задержит до первого снегопада. Но придет весна, придавленное к земле перикатиполе прорастет зеленою травой, само врастет какимто стебельком, возникнет тонкой былинкой, поклонится соседним цветочкам. Своя жизнь и не своя — общая со всеми растущими вокруг и около.

Несмотря на свою всегдашнюю подтянутость, все же выростал неловкий, неуклюжий в робости, стыдливый, долгие годы чужой среди чужих, наивный среди циников, невежда среди знающих все искушенья. И все больше и все чаще удивлялся обнаженности просвещенного бесстыдства. Сам стыдился своей стыдливости и не умел ценить своей простой, крестьянской чистоты.

Вот исполнилось ему восемнадцать лет... Идет девятнадцатый. Как-то сами собой развернулись плечи, все рубахи вдруг стали узки, и в рукавах, и в вороте. Как ни стрижет волос, они все равно овсяною «брунью»*) вьются, и сквозь серебристый пушок на щеках пробивается нежная розовая кровь румянцем. И избрал себе забаву — из песни научился желанию: оседлать коня быстрого и помчаться, полететь в дальнюю сторону... Ну, дальность не такая дальняя, а только бы покрасоватся, соколом мимо купеческого, либо мимо поповского дома пронестись... И даже не знал, что

*) Кудри. «Брунь» овса, колос пшеницы.

люди потешаются над ним за глупые его наряды: то рубаху шелковую, цвета неба, то широкие лиловые штаны из бархата, то какой-нибудь особенный азям из верблюжьей шерсти. Думает, что все это кого-то помрачает, а оно наоборот: и Маничка поповская смеется-заливается, и та, за сорок верст в большом селе, купеческая Аннушка, рассказывает, где придется о забавном молодом цыгане...

— Кто такой? — спрашивают у нее.

— Да кажется, писцом у мирового судьи служит...

А мировой судья смешного парня все еще обтесывал. Учил, как надо одеваться, как дамам кланяться. То к батюшке проездом завезет его, то к учительницам, медвеженком позабавиться. Краснеет парень, а это всех смешит. Заехали к отцу Петру, на Маничку взглянуть. Но парень женихом себя еще не чувствует. Нет у него храбрости в глаза веселой Манички смотреть: ведь она та самая, из-за которой он когда-то в грехе перед отцом Петром каялся. А Маничка чудесная: все тоже рдеет, голосок, как колокольчик под дугой в лунную снежную ночь, улыбка — чистое, святое целомудрие. Но глупостью какой-то пристыдил себя: не то хотел сказать нечто ученое, не то какую-то обмолвку допустил, так что вышло грубо — так себя пристыдил в глазах всего застолья, что больше и сам не захотел глаза показывать...

Но вот, на Пасху выщелкнулся в черный сюртук . . . Именно в сюртук — с белою манишкой и с широким черным галстуком, а сюртук новехонький и длинный — и на этот раз не в седле, конечно, а на паре выездных судейских лошадей, — коренник-то был даже иноходцем — разлетелся в то село, которое за сорок верст, к заутрене... А Аннушка-то в церкви и не появлялась. Староверкой она оказалась.

И вот... И вот... Неописуемо было отчаяние молодого искателя... Чего он ищет? Почему куда-то рвется ретивое, и нет душе ни сна, ни покоя?.. А Аннушка все больше и невидимо волнует. Как и у Манички, он не видал еще и глаз ее. Только видал, краем глаз своих, когда проносился на коне мимо дома, что вышла из ворот и прошла к лавке со связкою ключей стройная и юная и с длинной черной косой... С тех пор вот и задумался детина. И чем больше желал повстречать и познакомиться тем сильнее брала робость...

Но как-то, видимо, сама судьба устроила совершенно невозможное событие. В купеческом доме, во второй половине, почему-то было суждено судье и, значит, его письмоводителю остановиться, как бы на квартире. Суд в этом селе длился целую неделю. И сам судья, как сердцеведец, взял и ввел юнца в купеческую семью. Ввел, познакомил, поболтал и ушел к себе, заниматься делами.

Но разве можно описать волнение восемнадцатилетнего ребенка, который просто обалдел от Аннушкиной красоты. Да разве смел он когда-нибудь мечтать, чтобы вот такая могла за него выйти замуж?.. Полюбить?.. Нет, он хотел лишь одного: чтобы она не смотрела на него, когда он на нее смотрит... А он смотрел, смотрел, без всякой совести, забывши обо всех...

Он знал, как записывать показанья свидетелей и потерпевших по самым серьезным уголовным делам. Судья поручал ему важные бумаги составлять. Но вот описать Аннушкину косу, одну только косу, как она падает за спину, то сползает на одно плечо, то перекидывается на грудь, когда Аннушка наклоняется поднять упавший платок, — описать это не хватит ни сил, ни уменья, ни смелости... Потом целое огромное показание можно написать об Аннушкином голосе, который исходит из ее губ, чуточку припухлых, чуточку смеющихся, немножко бледных но тонких таких святых, таких чистых, что оттого и голос такой баюкающий: вот так взял бы, упал к ее ногам и слушал бы, и так уснул бы до смерти. Голос этот как-то переливается от песни в плясовую: то запоет, как свирель, то застучит под самым сердцем таким мягким, быстрым, шутливым «трепака»... Нет, описать тут вообще ничего нельзя, потому что человек привыкший хорошо писать протоколы и постановления о заключении подсудимых под стражу, согласитесь, не может же причинять неприятности девушке, которая, буквально, отняла всякое желание не только писать, но и говорить... Даже дышать при ней нужно украдкой, чтоб и самому не слышать своего дыхания. И все это случилось в одночасье, пока сидел за столом и делал вид, что кушает. Какое уже там кушать? Разве можно при ней чавкать ртом?

Боже, как он потерял свой стыд в те дни! Все способы находил убежать из временной судейской канцелярии... Вдруг, ни с того ни с сего, появится в купеческой квартире... Знал,

что может все сам испортить, все сломать в себе самом, но справиться не мог. И главное, говорить не мог. Язык костенел, а если произносил два-три слова, то непременно самых глупых... Аннушка смеется с придыханием и ничуть не стесняется. Не говорит, а поет.

Но повезло ему чертовски, наконец. Судья приехал с ним в одном тарантасе. А тут перед отъездом подъехал становой пристав. Им подали первую тройку, а письмоводителю с делами подали пару отдельно, и пара эта на счастье запоздала. Судья с приставом уехали, а он остался и опять, теперь уже с целью попрощаться, вошел в купеческую квартиру. Все были на кухне, ужинали. Аннушка им подавала, а потом сказала матери:

— Мама, ты кисель сама разлей. — и повела непрошенного гостя в горницу, Там было темно. Она зажгла лампу, и слышно было, как в темноте коса ее скользнула по стеклянному абажуру и как потом при огне, сверкнули белизною ровные, мелкие Аннушкины зубы... Она повернулась к нему, шагнула ближе, и голос ее как-то хрустнул внутренним, подавленным смешком:

— Ну, чего тебе от меня надо? — Вдруг такой простою, такой доверчивою шуткой прозвучали эти слова. Это было так неожиданно, и так просто, и так по родному, что он окончательно потерялся и не знал, что ей сказать. Должно быть, он был очень жалок, очень юн, очень глуп и все-таки безконечно мил для нее сразу, что она взяла за отворот его верблюжьего, какого-то необычайного азяма и, тряхнувши, приблизила его лицо к своим глазам...

И вот... Этого невозможно рассказать словами...

Он в самом деле перестал дышать, так как взгляд ее, глаза ее и близость смеющегося лица настолько ошеломили его, что он похолодел и побледнел,.. Должно быть, это так было ей дорого и так понятно, что голос ее вдруг задрожал, и в нем, еще через улыбку, еще через шутку, звучали уже слезы...

— Ну, что ты?.. Что ты?.. Испугался?..

Потом она вдруг замолчала и долгим, долгим взглядом рассматривала это нежное и чистое, в пушку, лицо со вздернутым носом, с белокурыми кудерками на висках ..

Потом она прочла какие-то стихи, немного, может быть, лишь восьмистишие, которого он не запомнил, так как все,

что с ним происходило, было выше всякой поэзии, глубже всех трагедий.

Раньше, когда он не смел мечтать о поцелуе, он все же втайне помышлял о нем, как о предельном счастье, а теперь ему и в голову не приходило, чтобы взять ее за плечи, привлечь и спрятать свое лицо хотя бы в растрепавшейся косе. Нет, он как-то сразу был поднят на самую вершину обожания и сразу вырос, и сразу затих, и сразу понял нечто более трагическое, нежели страх когда-либо потерять это счастье. Он просто сразу, тут же, без раздумий, в одну минуту убедил себя, что он никогда не должен прикасаться к ней, потому что он ее не стоит...

Но зато сама Аннушка, не здесь, не в комнате, а около повозки, когда она проводила его к позванивавшей колокольчиками паре лошадей, опять так же за отвороты взяла, притянула его лицо к своему и, не боясь, что кто-либо увидит, медленно и несмело, как бы ожидая его поцелуя, прикоснулась к его губам, а потом толкнула его от себя и сказала:

— Ты глупый мой мальчик!.. — И ждала, когда повозка тронется... Даже привстала на приступку и со смехом заглянула еще раз в лицо его, когда он уже сел в повозку. Как девочка, которую кто-то обидел, он старался спрятать слезы, которые вдруг покатились, покатились... Она это увидела, перегнулась внутрь повозки и губами припала к его влажным глазам, выпивая его слезы и повторяла дрогнувшим, таким глубоким, задохнувшимся голосом:

— Милый мой!.. Милый!.. — И слезы их смешались вместе.

Была осень... Была ночь, дождливая и темная... Колокольцы звенели острою тоской в душе вдруг возмужалого девятнадцатилетнего парня. Он отъезжал от Аннушки, три месяца спустя, в третий и в последний раз. На этот раз она так же выходила провожать его и так же целовала, но он знал, что это был последний раз... Она выходила замуж за серьезного, за взрослого... За настоящего мужчину... За станового пристава... Теперь он увозил от нее запах ее платья, запах волос ее, ибо на этот раз она целовала его долго, в комнате, и он упивался ее поцелуями, упивался глубиной и чернотою глаз ее, а сам все-таки целовать не смел...

В душе своей он увозил под звон колокольцев еще грохотавшую первую весеннюю грозу, и было грустно, грустно на всю жизнь, что Аннушка навсегда, на всю жизнь, покрыла поцелуями его залитое слезами лицо...

Прошли года... Нет, не года, а целые тысячелетия... Глаза его увидели весь мир... Весь мир в грозе и буре, в огне великих войн и в кровавом море революций... И смерть не раз грозила погасить его глаза... Он вырос, он многое познал, он многое и многих возлюбил и испытал хмель непрочной славы. И если скоро Высший Судия предъявит к нему обвинение во многих согрешениях и, испытывая его, скажет:

— Не было у тебя ничего святого на земле! — он заспорит с Богом. Он скажет смело:

— Нет, я возлюбил Тебя, Господи, своею первою любовью! И первую любовь свою не оскорбил даже помышлением!..

И еще скажет он Судие своему:

— Возьми, Господи, мой разум, мою память, мой слух и все иные Твои блага, но оставь мне по ту сторону жизни глаза мои — дивный и извечный дар Твой. Ибо глазами возлюбил я и благословил всю мудрость творения Твоего... Глазами я увидел Твое небо на земле.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ниже помещаются воспоминания автора, дополняющие повесть о Егоркиной жизни, отчасти составленные им для этой книги, а отчасти заимствованные из изданного ранее. Чтобы не нарушать единства повести, они помещены здесь в виде послесловия.

ПОД именем Егорки здесь описаны, по силе разуменья, детство, отрочество и начало юности пишущего эти строки, уже пожилого автора этой книги, который, конечно, не мог не упустить множества подробностей и даже, в ущерб себе, некоторыми подробностями загромоздил текст книги. Но все же, есть еще отблески прошлого, не отраженные на воображаемом фильме этого повествования. Необходимо еще раз бросить взгляд из настоящего, чтобы дополнить ими заключительные главы, уже как причины некоторых последствий прошлого.

У всех нас было детство, у кого сладкое, у кого горькое, но всяк по своему вспоминает его для своих ли, или для чужих детей, особенно под старость. Особенно в зимние сумерки перед камином, если есть этот камин и если есть кому слушать.

Перед моим лесным домиком в Чураевке уже много лет стояла на поляне старая яблоня. Она была коряжиста, скривлена на сторону, и многие ее ветви высохли. Яблоки на ней не очень ровные, с пятнами, потому что яблоню давно не чистили, не обмазывали известью, не ухаживали за нею, потому что дальше много было молодых яблонь... Но эти молодые все пошли от старой яблони: либо от семян ее, либо от ушедших под землю корней. И старая яблоня сама свалилась и удобрила собою землю.

Такова и простая мудрость жизни: все либо от корней, либо от семени того же старого древа жизни. Все ново потому, что живо соками старого, прошлого, давно забытого...

Вот так случилось и со мной. Открыл кладовую своих воспоминаний и там, из убожества моей среды, нашел непочатый склад материала. Может быть, и вся наша жизнь питается этими неисчерпаемыми запасами детских впечатлений? Там корень всех утверждений.

Мой дедушка Лука Спиридонович умер в 1911 году, когда я был уже литератором. В 1910 году летом, когда я путешествовал по горам и изучал сектантство и мараловодство, я с ним виделся в живописнейшем из сел Алтая, в вершинах рек Убы и Ульбы — в селе Риддерском. Еще бодрый и румяный, низенький, но коренастый, он имел там свой домик и, живя на пенсию, кажется, в девять рублей в месяц от Горнозаводского управления кабинета Его Величества, кроме того занимался писарством. Ему было тогда девяносто шесть лет, но он отлично видел, слышал, быстро ходил, никогда не болел, изредка любил немножко выпить и при этом любил выкрикивать: «Канналья возьми! Народы!» — Этой кличкой его дразнили все, кто знал его, но все его уважали за великий опыт жизни и за незлобивый, простой, но положительный характер. Лука Спиридонович пользовался большим почетом и среди начальствующих лиц, так как пенсию выслужил тем, что пятьдесят лет беспорочно служил в разных должностях в рудниках: Сузунском, Сугатовском, Змеиногорском, Николаевском, на Чудаке и прочих, и все в должностях по конторской части.

Когда он услыхал, что я стал писать в газетах, он и умилился и опечалился. Газет он никогда не читал и вообще все новое считал непрочным. Однако, моему приезду очень обрадовался и, заглядывая на меня снизу вверх, плакал от изумления перед внуком больше его ростом.

Впрочем, погостил я у деда недолго, и поговорили мы немного. В летний июньский полдень, яркий и зеленый, когда я должен был уехать из села Риддерского вглубь гор, бабушка Соломонида Игнатьевна снаряжала дедушку на чью-то пасеку. Он только что потерял службу сельского писаря в деревне Бутачихе и нанялся сторожем к богатому крестьянину. И вот, оказывается, третий день хозяин не может его выпроводить из дома в лес на пасеку, где начали роиться пчелы и настала самая горячая пора работы. Дедушка снарядится, выедет, а по дороге

раздумает, вернется, выпьет и уснет. Так было и при мне. В четвертый раз бабушка уговорила его ехать, привязала позади зипун, подушку, мешок с запасной рубашкой, спички, чай и сахар. Дед надел красную рубашку, трогательно распрощался со мною, сел в седло и, согнувшись, скрылся за околицей. Только, смотрим, часа через два едет обратно. Бабушка так и завопила:

— Да ты, старик, рехнулся, что ли?.. Как же ты в глаза хозяину-то глядеть будешь?

— Прочь, каналья возьми! Народы! — закричал Лука Спиридоныч и потребовал обедать. За обедом выпил, закусил, прилег отдохнуть и крепко заснул. Мне вскоре надо было уезжать. Я не мог разбудить деда, поцеловал его в лысину и больше никогда его не видел.

Ровно через год, также в красивый летний денек, получивши пенсию, дедушка сходил на базар, купил мяса и, приказавши бабушке печь мясные пирожки (он называл их «пироженики»), лег уснуть. Когда румяные пирожки были на столе вместе с уютно кипящим самоваром, бабушка пошла будить дедушку, а он, оказывается, уснул навсегда. Так и умер, никогда не хворавши, девяноста шести лет от роду.

Соломонида Игнатьевна умерла годом позже деда.

Когда в июле 1920 года умерла моя мать, отец не мог перенести этой потери и, как дед, никогда серьезно не болевший, зачах, затосковал, свалился и через три месяца ушел вослед за своей испытанной и верной подругою.

Оба они умерли без меня в тяжелый для всех русских людей период, когда только что началось великое рассеяние. Писали мне, что мать умерла на посту своей постоянной добродетели. Она всегда всем помогала, чем могла. А последние годы ездила лечить и повивать по множеству окрестных сел и деревень. Слава о ее лечении была так велика, что и врачи с нею дружили. И вот, видимо, простудившись или заразившись от больных, она заболела и внезапно умерла в тридцати верстах от дома, в деревне Большой Речке. Умерла она семидесяти лет, а отец на семьдесят шестом году.

Моя встреча с ними осенью 1916 года была последней. Я был в краткосрочном отпуску из своей части, стоявшей на Карпатах, и пока доехал до Сибири, срок отпуска подходил к концу, но в родное село я все-таки заехал повидать своих ста-

риков. Оба они заметно подались, усохли, поседели, но все еще работали, и мать обильно угощала меня горячими пирожками. Новый дом у них сгорел еще в 1904 году, сын большак был в отделе, а мы, трое младших братьев, все были на войне, и старики жили в своем отдельном домике одни, рядом с зятем, тоже взятым на войну.

Я прекрасно помню эти последние минуты перед расставанием. Мне было как-то весело ехать в свою часть, к своим солдатам, к лошадям, в огромную многомиллионную семью-армию, но я чувствовал, что матушка моя все что-то хочет мне сказать большое и важное, но не может или не находит времени. Она то и знай хлопочет с подорожниками, целое утро возилась — жарила мне на дорогу шаньги, сдобные булочки, петушков. Както незаметно наступил час отъезда — я пошел в низенькую мазанку, служившую отдельной кухней на дворе, там мне захотелось что-то сказать ласковое матери, а главное побыть с ней наедине. Но ничего сказать не могли мы друг другу. Наконец, зазвенели колокольчики — ямщик мне подал лошадей. Я заспешил, надел фуражку и шинель, уложил в тележку вещи и подошел к матери, чтобы попросить у нее благословения. Вижу, руки у нее затряслись, и все лицо перекосилось от какого-то застывшего в нем не выраженного словами желания или несказанного слова. Перекрестив меня, она вдруг бросилась ко мне на грудь, и впервые в жизни я почувствовал ее, такую маленькую, сухонькую, затрепетавшую в отчаянных рыданиях последнего прощания с самым ласковым из четырех сыновей. Это был именно какой-то краткий и покорный вопль сознания, что она впоследние со мною видится.

Попрощавшись затем с отцом, я сел в тележку и вдруг увидел, что он вывел из двора старую кобылу с жеребенком, по имени Зойка, сел на нее без седла и поскакал рядом со мною. Смотрю — выехали из села, поднялись на Крещенскую горку — он все скачет рядом. Начались поля, показались с детства знакомые лиловые горы за рекой Убой, а отец все скачет, скачет, разговаривая со мной... Точно не мог расстаться, чуял, что тоже впоследние со мною расстается — версты три уехал от села, и только тут остановились, распрощались и... расстались навсегда...

И вот эти три образа: дедушки, отца и страдалицы-матери встают в моих воспоминаниях, как примеры труда, терпения и

утверждения жизни и как самые прекрасные образы той многострадальной и суровой жизни, после преодоления которой я не имею права хныкать и смотреть на Божий свет печальными глазами. Но об одном я вечно буду сожалеть — это о том, что мне не удалось побольше уделить внимания старым людям.

Как же это мог я не вспомнить о нашей сельской учительнице, Ольге Афиногеновне?

Тогда не было странным ее имя. И фамилия ее не казалась странной, как далекое эхо: Ольга Афиногеновна Чуманова.

Да, после матери, она первая дала мне свет разума, а крепость духа, наш сельский батюшка, отец Петр Викторович Серебрянников, прообраз Фирса Чураева. Об этих двух можно бы написать большие книги, а я не удосужился. Впрочем, об отце Петре написал рассказ «Отец Порфирий», вошедший в первый том книги «В Просторах Сибири». Отец Петр читал его еще в Барнауле, смеялся и плакал. А потом сказал:

— Вот когда тебе будет лет сорок, только тогда ты поймешь жизнь и зачнешь писать, как надобно...

Был тогда уже отец Петр старенький, в отставке, но служил во вновь открытом женском монастыре близь Барнаула. А Ольгу Афиногеновну видел в последний раз в Семипалатинске, года за два до Первой мировой войны. И странно было слышать, когда она впервые назвала меня на «вы», по имени и отчеству.

Я не скажу, чтобы учительница наша была к нам ласкова. Она была даже скорее строга и, помню, однажды выдрала меня за ухо. Я отличался невероятной смешливостью. Всякий пустяк вызывал во мне приступ смеха. И чем больше я крепился, тем сильнее был взрыв смеха. Вот за это однажды подошла, взяла двумя пальцами за левое ухо и слегка потеребила. Не очень было больно, так как пальцы, помню, были очень нежные и мягкие, но оба уха горели потом целый день. Стыдно было...

Но мы, школьники, очень любили Ольгу Афиногеновну. Так любили, что, бывало, не дождемся осени, когда она вернется из городка, Старого Колывана, на реке Алее. И до чего точно помню я каждый ее жест, голос, прическу, большие, глубокие, темные глаза и шаль на плечах. Она носила посто-

янно шаль, чтобы в концах ее прятать свою сведенную в кисти левую руку. В гимназические годы порезала руку в сгибе кисти, и пальцы у нее свело. Когда она чинила для нас карандаши, она с трудом скрывала эту руку, и, может быть, за это мы еще больше ее любили.

Вот и сейчас вижу всю нашу школьную обстановку: большой класс в казенном доме; когда класс пуст — голос в нем троится эхом, но когда заполнен школьниками, голос Ольги Афиногеновны звучит для нас, как колыбельная песня матери. Вот я вижу у доски Ольгу Афиногеновну с мелом в руках; вижу, как ее белые пальчики становятся еще белее от мела. Шаль сползает с плеча, левая рука ее старается поправить, но на доске появляются идеальной красоты прописные буквы. Никогда никто из нас не мог достигнуть этого каллиграфического совершенства, и за это все мы еще больше преклонялись перед нею.

Иногда, между черных, густых и дугообразных ее бровей появлялась складочка: это она молча сердилась на кого-либо из нас за шалость, или за тупость; но вот складка разгладилась, и на прекрасном лице ее улыбка, а в голосе еле сдерживаемый смех над кем-либо из нас. И так и этак она красавица для нас. Или вдруг засмотрится в большое окно на пустынные улицы села, а через них в далекие, засыпанные снегом поля и горы, и голос ее станет тоже далеким, непонятным и грустно-одиноким.

На все село она была одна, вот такая особенная, одинокая в самой себе, чужая и малодоступная всем на селе, но близкая каждому из нас. Может быть, самая красивая и самая святая во всем мире для меня. Благодаря сведенной руке, она носила пальто-доломан, без рукавов, с внутренними для рук кармашками, и белую шапочку пирожком. Она была высокая, тонкая, белолицая, и если сравнить ее с обычными учительницами всех времен и всех народов, она осталась в моей памяти прекрасней всех.

Впервые, когда мы ее увидели в школе, ей было девятнадцать лет, и мы были ее первыми учениками. Когда я ушел из школы, ей было двадцать три года. Но всегда, когда я, городским, прилично одетым подростком, появлялся в селе, я считал своим долгом навестить сначала батюшку отца Петра, а потом Ольгу Афиногеновну. Она была все та же, только

относилась ко мне мягче, угощала чаем и вела беседы, как со взрослым, хотя и называла на ты и по фамилии. Когда же я навестил ее перед войной в Семипалатинске, она заметно поседела, но все еще учительствовала.

Я знаю, что она никогда не вышла замуж, может быть из-за руки, а может быть потому, что отдала себя школе, как монастырю. И часто, когда я вспоминаю детство, я живо представляю Ольгу Афиногеновну, как нечто самое светлое в моей детской жизни: мне становится тепло, и почему-то подступают к горлу слезы... Ольга Афиногеновна, далекая, незабываемая! Луч света в темной нашей жизни, где вы, живы ли и знаете ли, что один из ваших учеников всегда с благодарностью носит ваш образ в своем сердце?

И вот что я хотел еще здесь вспомнить.

Все мы, дети, ждали какого ни на есть Рождества. Какие уж там подарки на селе? Никто о них не думал, кроме нескольких счастливчиков, у которых родители побогаче. Наш праздник хорош уж тем, что кончится полуголодный Филипповский пост. Но вот мы видим, перед самым Рождеством, наша учительница входит в класс в особенно хорошем настроении. Таинственно улыбается, отменяет некоторые уроки и выбирает несколько старших учеников и уводит их из класса в соседнюю холодную комнату. Школа помещалась в большем казенном здании, некогда служившем резиденцией горного начальника над нашими рудниками, которые давно закрыты. И вот входят наши делегаты с большими узлами...

— Тише, тише! Все сидите на местах.

Развертываются узлы, а в них... Боже! Суконные ученические куртки, такие же брюки, холщевые рубашки, нижнее белье... Каждому по паре того и другого... Правда, все старое, местами рваное, но все чистое, добротное. И все можно починить.

Оказывается, Ольга Афиногеновна всю осень хлопотала перед каким-то начальством, чтобы из Барнаульского Горного (реального?) Училища прислали нам всю эту старую казенную одежду... Многие куртки были нам не по росту, но наши матери все это быстро укоротили, и в ночь под Рождество все мы превратились почти что в настоящих реалистов. Сколько было радости, шума, хвастовства друг перед другом! И сколько после этого всякой неодетой голытьбы бросилось учиться в нашу

школу: потому что тут дают готовую одёжу. И приняла, и одела еще многих Ольга Афиногеновна. И учились, и росли мы в этих ученических суконных формах, даже пуговицы начищали, чтобы походить на реалистов...

Пишу теперь и думаю: заметены родными метелями следы почти всех из нас, моих сверстников по школе. Многие унесены революционными ветрами за моря, а многие придавлены могилами. Никого уж нет в родном селе, ибо и села уж нет... Разнесены остатки изб в колхозы... И новые тропинки в снегах протаптывают новые Егорки, Кольки и Ваньки... Да и новые учительницы теперь другие. Одно неистребимо там: белые снега в полях и на горах, морозы и метели почти что вплоть до Благовещенья. Но и там потекут опять весенние ручьи, и сама все воскрешающая весна-жизнь углубит тоску о воле и о просветах народного счастья.

ВАЖНЕЙШИЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
17	5 *сверху*	навстречи	навстречу
17	12 *сверху*	сдобней	сдобный
18	8 *снизу*	похло	пахло
20	15 *снизу*	Анимпадиста	Анемподиста
23	2 *снизу*	робят	ребят
24	11 *сверху*	Шихты	Шахты
25	5 *сверху*	сторообрядческом	старообрядческом
25	5 *сверху*	Возмежно	Возможно
26	12 *сверху*	лешади	лошади
27	17 *снизу*	снимить	снимать
27	12 *снизу*	Волнение	Волнения
35	15 *сверху*	впитывился	впитывался
39	13 *снизу*	ни стыки	на стыке
40	16 *свреху*	стихии	стихией
43	16 *сверху*	фарносте	форносте
43	4 *снизу*	в всякого	и всякого
44	18 *сверху*	Шахтор	Шахтер
44	11 *снизу*	лешадей	лошадей
46	18 *снизу*	Анимпадист	Анемподист
66	12 *сверху*	подо	надо
66	1 *снизу*	тиких	таких
67	5 *снизу*	высадили	высадила
71	11 *снизу*	и ограду	в ограду
71	5 *снизу*	бльшой	большой
73	1 *сверху*	надели	надела
75	10 *сверху*	четырнадцить	четырнадцать
78	16 *сверху*	корзнаку	корзинку
81	8 *сверху*	Никифоровича	Никифоровича
82	20 *сверху*	Еленены	Еленины
83	10 *сверху*	назади	позади
83	17 *сверху*	канца	конца
86	21 *сверху*	приезжать и	приезжать с
86	10 *снизу*	перекликаютя	перекликаются
86	6 *снизу*	душенки	душеньки
90	12 *снизу*	боскопечно	бесконечно
90	7 *снизу*	Грошно	Грешно

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
91	14 *сверху*	Аниндрюшки	Андрюшки
91	15 *снизу*	чот	что
99	7 *снизу*	тяжалы	тяжелы
101	20 *сверху*	Нсе	Все
103	18 *снизу*	нохорононый	похороненный
107	9 *сверху*	заметье	заметьте
109	14 *снизу*	менахини	монахини
110	18 *снизу*	воли	воля
111	18 *сверху*	молодьбу	молотьбу
112	11 *сверху*	потушка	петушка
113	8 *снизу*	хватей	хватай
116	1 *сверху*	робятишки	ребятишки
117	4 *сверху*	грядищие	грядущие
119	6 *снизу*	сделали	сделала
120	5 *снизу*	ездакам	ездокам
128	19 *сверху*	малова	малого
128	10 *снизу*	Федеровна	Федоровна
133	13 *сверху*	Эначит	Значит
138	15 *снизу*	распевать	распивать
138	2 *снизу*	фарпост	форпост
140	18 *сверху*	богаж	багаж
140	16 *снизу*	Кайгодарова	Кайгородова
140	15 *снизу*	могутной	могутный
141	3 *сверху*	мешкатно	мешкотно
144	14 *сверху*	Крощенской	Крещенской
145	1 *снизу*	пуіть	пусть
154	2 *снизу*	этакую	в этакую
157	3 *снизу*	Богордице	Богородице
161	13 *сверху*	приумолка	приумолкла
181	16 *снизу*	руков	рукий
190	11 *снизу*	-ипператор	-император
202	2 *снизу*	жпзн	жизнь
282	14 *сверху*	рабту	работу